

МОРРИС ДРЮОН

Такая большая любовь



Морис Дрюон

Такая большая
любовь



Санкт-Петербург, «ИД Домино»
Москва, «ЭКСМО»
2010

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)
Д 78

Maurice Druon

LE BONHEUR DES UNS...

Copyright © 1967 by Maurice Druon

Перевод с французского *О. Егоровой,*
Л. Ефимова, С. Васильевой

Оригинал-макет подготовлен Издательским домом «Домино»

Художественное оформление *С. Ляха*

Дрюон М.

Д 78 Такая большая любовь : рассказы / Морис Дрюон. —
М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2010. — 400 с.

ISBN 978-5-699-45000-8

Морис Дрюон известен отечественному читателю прежде всего как автор исторических романов. Однако первый успех ему принесли именно рассказы. Несравненный Мастер обращался к этому жанру всю свою долгую жизнь.

В сборник «Такая большая любовь» вошли все рассказы Дрюона, написанные в традициях великих французских новеллистов.

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Фра)

© Егорова О. И., Ефимов Л. Н., Васильева С. Ю.,
перевод на русский язык, 2010

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-45000-8

Повелители просторов



Сигнал «Гончие, вперед!»

Рене Жюльяру

I

С охоты ехали шагом. Мелкий осенний дождик, нудный и промозглый, усиливал терпкий запах взмокших лошадей и ароматы вечернего леса.

Кортеж возглавлял одинокий всадник. Под намокшей красной курткой угадывались костлявые, чуть покатые плечи. На поясе висел охотничий рог.

Головкой хлыста он ласково поглаживал блестящую от воды шею лошади. Высокая гнедая кобыла слегка поводила ушами и аккуратно обходила лужи.

— Давай, Дама Сердца! Давай, моя красавица, — вполголоса сказал всадник.

И вдруг, поджав тонкие губы, затрубил сигнал «Гончие, вперед!».

По времени надо было бы трубить «сбор», но рог он не трогал. Он выводил сигнал губами, с детства наловчившись подражать духовым инструментам. Он не пел, а точно передавал звук трубы, и сигнал замирал в лесной чаще.

Голоса едущих сзади псовых охотников тонули в сырой мгле, и было слышно только, как чавкают по грязи лошадиные копыта да как губы всадника до бесконечности воспроизводят один и тот же сигнал.

Неожиданно всадник насторожился и придержал Даму Сердца. Слева из леса донесся визгливый собачий лай. Собака, которая гонит дичь, так не лает. Так лает собака, которой больно. Склонив голову набок, всадник прислушался.

К нему подъехал совсем юный охотник — судя по одежде, гость.

— Месье Сермюи? — робко спросил он.

— К вашим услугам.

— Вы слышали? Говорят, что скотину...

— Зарубите себе на носу, месье, что собака — не скотина.

Тонкие губы приоткрылись, и коротко подстриженные седоватые усики чуть дернулись.

Юноша, который еще только начал ездить на охоту, залопотал, желая исправить положение:

— Прошу прощения. Хотите, я съезжу... посмотрю?

— На что посмотрите? Я уже достаточно взрослый, месье, чтобы самому заниматься своей командой.

И, бросив гостя, барон де Сермюи перепрыгнул через попавшуюся на пути канаву, пустил лошадь в галоп и усккал в чащу.

Фалды охотничьей куртки развевались на скаку, лужи вспенивались под копытами. Сжав бока

кобылы черными сапогами, он безошибочно задавал ей направление между буками, растущими в опасной близости друг от друга. Миновав вересковую поляну и спустившись по откосу вниз, барон поскакал дальше, пригнувшись, чтобы не задеть нижние ветки, поминутно окатывавшие его водой.

Волнующий, желанный простор приближался. Всадник выскочил на заваленную бревнами прогалину.

На другом ее краю, прижавшись к земле, визжала привязанная к дереву собака из лучшей гончей своры. Ее изо всех сил хлестал арапником человек в ливрее.

Сермюи ринулся через поляну и, на скаку вытащив ногу из стремени, ударил пса каблуком в плечо, да так, что тот кубарем покатился по земле.

Дама Сердца остановилась. Остолбневший от неожиданности псаре, не поднимаясь с земли, тупо глядел на свою окровавленную руку, а собака, в ярости порвав поводок, с лаем бросилась на него.

Псаре съехался, лицо его вытянулось от страха. Для собаки он был врагом и теперь лежал — поверженный, пахнущий кровью. Он понимал, что от лучшей из гончих при таких обстоятельствах пощады ждать не придется.

— Фало! Назад! — крикнул всадник. — Назад, я сказал!

Собака еще раз рывкнула, отвела налившиеся кровью глаза и упрямо забежала за круп кобылы.

Псаре, здоровенный смуглый парень с низким лбом, тяжело поднялся, дрожа от страха и гнева.

— Ваша собака меня укусила! — крикнул он и, не выпуская плетки, показал укушенную руку.

— Потому что ты мерзавец и нееряха, — ответил Сермюи.

— Укусила, и уже не в первый раз, — повторил псарь.

Он вскочил, замахнулся плеткой, и тут на миг его глаза встретились с узкими серыми глазами всадника, блестящими из-под густых бровей.

Дама Сердца отпрянула в сторону. Сермюи быстрым движением выхватил свой арапник. Плеть щелкнула возле самого лица псаря, но тот как стоял, так и остался стоять с поднятой рукой. И тогда он услышал:

— Ты заслужил хорошую порку. Это ты понимаешь? Все, с меня хватит. Вот Бог, а вот порог! Убирайся, и на этот раз никакого прощения тебе не будет!

Всадник повернулся спиной и ускорился обратно в лес занять свое место во главе охоты. Фало, с обрывком поводка на шее и со следами арапника на мокрой шкуре, трусил возле копыт Дамы Сердца.

— Эй, Залом!* — позвал Сермюи.

Первый доезжачий** рысью подъехал к нему. Несмотря на преклонный возраст, он ловко и неприужденно держался в седле.

* Залом — место прохода зверя, отмеченное сломанной веткой. Таково было прозвище доезжачего. (Здесь и далее прим. перев.)

** Доезжачий — старший псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте.

— Я, господин барон!

Доезжачий снял шапку, прижав ее к груди, и дождик принялся барабанить по его лысине.

— Надень шапку,— сказал Сермюи.— Залом, я увольняю твоего сына.

Залом заметил, как по лицу хозяина, от носа к подбородку, пробежала судорога гнева. Доезжачий бросил взгляд на собаку:

— Это из-за Фало, господин барон? Я так и подумал. Всех ваших собак можно узнать по голосу, а уж эту и подавно. Я должен был сразу поехать и вмешаться.

Сермюи не ответил. Он пристально вглядывался в клубы пара, поднимавшегося с шеи кобылы после скачки. Доезжачий так и стоял, прижав к груди шапку.

— Это должно было случиться,— снова заговорил он.— С самого начала, как только Фало появился в своре, у них с Жюлем что-то не заладилось. Я ему всегда говорил, Жюлю, что с собаками нельзя давать промашки. Жаль, потому что работник он дельный.

— Нет, я в нем больше не нуждаюсь,— отрезал Сермюи.— Тем более что он поднял на меня руку.

— Как он посмел! На хозяина!

— Мы оба вели себя как мальчишки. Я его уже не в первый раз укладываю на землю.

Оба на миг замолчали, глядя друг на друга: обитатель замка и обитатель псарни. Они провели вместе целых тридцать лет, которые для хозяина на-

чались в раннем детстве, а для слуги — в лучшую пору жизни.

— Месье всегда был так добр к Жюлю, — сказал Залом.

— Да, но на этот раз хватит. Собаку не привязывают, чтобы наказывать.

Залом вдруг резко выпрямился.

— Да, господин барон прав. Это унижение для собаки.

Его мокрые редкие волосы прилипли к голове.

Всадники подъехали к опушке. За лесом началась просторная равнина, где ливень чувствовался гораздо сильнее.

— Надень шапку, я сказал.

Залом пошевелил рукой, но шляпы не надел.

— Я так полагаю, месье больше не хочет, чтобы Жюль работал на псарне.

— Ни на псарне, ни в замке! Завтра твой сын уедет. Я его больше знать не желаю.

— Ни в замке... — повторил доезжачий. — Простите, господин барон, но Жюль, со всеми его недостатками, — единственное, что у меня осталось... Ну вот... а как же я теперь... — взволнованно закончил он.

И он увидел себя: старого, вдового, как он завтра вечером в одиночестве будет зажигать керосиновую лампу в маленьком домике рядом с псарней. Сына выгнали...

— А ты, старина Бернар, поступишь так, как захочешь.

Назвав доезжащего его настоящим именем вместо привычного охотничьего прозвища, Сермюи дал ему понять, что не держит на него зла. И тут же снова принялся наигрывать губами сигнал «Гончие, вперед!».

Залом понимал, что уже слишком стар, чтобы менять привычки и переходить в другую охотничью команду. Он подумал о том, с чем ему придется расстаться: с красной одеждой доезжащего, с собачьей сворой, с лесом... и с этим сигналом, который для него — как хлеб насущный.

— Что до меня, — сказал он, — то, если господин барон захочет, я останусь.

И глаза старого доезжащего потеплели от собственного решения и размера собственной жертвы. Как был, с непокрытой головой, он придержал лошадь на опушке леса, чтобы хозяин мог первым выехать на простор.

II

Получив приказ о мобилизации, барон де Сермюи сразу поднялся в свою комнату, где его уже ждали приготовленный мундир лейтенанта резерва и сундучок с замками.

— Позовите ко мне Залома, — велел он камердинеру.

Одеваясь и рассовывая документы по карманам офицерской куртки, барон оглядывал в зеркале, при-

чем без всякого удовольствия, свою высокую тощую фигуру.

«Не староват ли я для войны?» — подумал он.

Да нет, ему едва исполнилось тридцать шесть. Разве что седая прядь надо лбом...

Его первая любовница однажды бросила ему в сердцах: «Ты хорош для мужчин, но не для женщин».

Потом у него, конечно, были и другие женщины, но эти слова он запомнил на всю жизнь. Он понимал, что серые глаза, длинный нос и узкогубый рот не добавляли ему привлекательности. Зато в мужской компании он и вправду был хорош. Он слегка поиграл мускулами под формой, чтобы оценить себя в новом облачении и немного привыкнуть.

Когда вошел доезжачий, барон как раз поправлял ремень.

— Мое боевое седло готово?

— Все сделано, как велел господин барон.

Сермюи достал пистолет из выдвижного ящика секретера.

— Месье очень идет военная форма, — сказал Залом. — Вы в ней смотрите моложе.

— В самом деле? — обернулся барон.

От него не укрылось, как растроган доезжачий.

— Седлай Даму Сердца к одиннадцати, а к полудню скачи на ней в Алансон, в кавалерийскую часть. Если кто спросит, отвечай, что это моя боевая лошадь.

— Хорошо, господин барон.

— И распорядись также, чтобы мои вещи доставили на машине туда же.

Барон спустился по широкой белой лестнице и бросил взгляд на охотничьи трофеи, украшавшие стену. На дубовых дощечках красовались десятки оленьих и кабаньих копыт. В холле столпилась вся прислуга замка. Холостой и бездетный, Сермюи порой остро ощущал свое одиночество.

Он обошел всех, с каждым попрощавшись за руку.

— Возвращайтесь скорее, господин барон, — сказал управляющий. — Здесь все будет в порядке.

— Я на вас надеюсь, Валентен.

Сермюи вышел на крыльцо, и его встретило последнее утро августа. На лужайках уже виднелись редкие опавшие листья. В знакомом до мельчайших оттенков воздухе Нормандии хозяин замка уловил первые запахи, предвещающие осень. Этот охотничий сезон пройдет без него.

Он направился в капеллу. Сквозь цветные витражи пробивалось солнце, оставляя яркие пятна на плитках пола. Сермюи на миг преклонил колени. Здесь под известняковыми плитами покоились его предки, и он пришел поклониться их праху. А если его убьют на войне, то где похоронят?

Когда он вышел, машина была уже готова. Залом ждал его, придерживая дверцу.

— Удачи вам, друзья, — произнес барон.

Он повел машину по песчаной аллее, окаймленной апельсиновыми деревьями в кадках, но не по-

ехал к воротам, а свернул налево, в парк, и остановился перед псарней. Он вошел внутрь с арапником в руках и оглядел собак, учуявших хозяина.

— Фало! — позвал барон.

Подбежал Фало, и глаза у него были грустные, как у всякой собаки, которую бросают. Фало молча ткнулся лбом в колени Сермюи.

III

Рано утром в конюшнях первого эскадрона уже чистили лошадей. Работали нехотя: для тех, кто этим занимался, мобилизация началась с наряда.

Только капралу Жюлю Бриссе занятие это, казалось, было по душе. Он скинул новую рабочую блузу, полосатая хлопчатая рубаша крупными складками легла вокруг талии, из засученных рукавов выглядывали сильные волосатые руки. Быстрым движением он проводил щеткой один раз по лошади, один раз по скребнице, и в поднятой против ворса лошадиной шерсти сразу же была видна застрявшая грязь. Это двойное движение: лошадь — скребница, лошадь — скребница — успокаивало Жюля Бриссе, а для него признаком счастья и благополучия было полное спокойствие, то есть отсутствие вспышек гнева.

Лоб его покрылся каплями пота, вокруг лошадиного крупы клубилась белесая пыль. И было слыш-

но, как Жюль Бриссе распевает какую-то песню, в которой каждый куплет заканчивался возгласом: «Тайо-хо! Тайо-хо!»

— Ого, капрал, не похоже, чтобы вы скучали! — воскликнул тощий рыжий остроносый парень по имени Дюваль.

— Можешь говорить мне «ты», мой мальчик, — ответил капрал. — Теперь, когда на дворе война...

— Пока еще не на дворе, — заметил крестьянин, собиравший рядом с ними лошадиный навоз в тачку.

— Да уже почти что война, если меня опять призвали на военную службу! — отозвался рыжий и, облокотившись о спину своей лошади, добавил: — А чем ты занимался на гражданке?

— Я был фермером в Аржантане, — произнес с сильным местным акцентом человек с тачкой.

Он отнес вопрос на свой счет, потому что в эту минуту как раз думал о своей ферме.

Кaprал ответил не сразу.

— Я был псарем в охотничьей команде, — сказал он медленно. — Занимался гончими для псовой охоты... Хорошее ремесло, если его знать. Я служил у одного барона, был сыт, устроен и одет — дай боже каждому! Но я ушел от него.

— Почему?

— Мы поругались.

Он не решился открыться, что вот уже более года работал помощником мясника. Но в этом ремесле умение метко стрелять было ни к чему, а потому не приносило ему ни радости, ни гордости.

Запах, шедший от лошадей, напоминал ему терпкий воздух псарни, а смолистый аромат утреннего леса на мгновение вернул в детство.

«Не надо мне было тогда, с собакой, — подумал он. — Сам виноват, теперь буду жалеть. И на хозяйина не надо было замахиваться. А там ведь было мое настоящее место». И снова замурлыкал: «Тайохо! Тайохо!»

Подошел унтер-офицер, наблюдавший за чистой лошадей.

— Все трое — на представление к лейтенанту, ваша очередь.

В коридоре здания, где располагался эскадрон, уже стояли, выстроившись в шеренгу, человек десять резервистов.

Из двери, на которой мелом было написано «Второй взвод», вышел какой-то солдат. Его тут же забросали вопросами.

— Ну, что спрашивал лейтенант?

— Ой, кучу всего. Сколько лет, есть ли аттестат, где живу. И вид у него был недовольный.

— Это тот, с длинным носом? Помнишь, мы его недавно видели?

— Тот самый.

— Кажись, аристократ. Сермюи, вот как его зовут.

— Вот оно что! — протянул Жюль Бриссе.

— Следующий! — крикнул сержант. — Капрал, проходите первым.

И он втокнул Жюля в маленькую, выбеленную известью комнату. В углу за столом сидел Сермюи и что-то писал. Бывший псарь увидел знакомый суровый профиль и прядь седых волос надо лбом, и у него бешено забилося сердце.

— Капрал Бриссе, Жюль! — щелкнул он каблуками.

Сермюи остался сидеть, склонившись над бумагами.

«Наверное, мне надо сделать первый шаг, — подумал Жюль. — Я ведь должен извиниться».

Сделав над собой огромное усилие, которое уже само по себе принесло ему облегчение, он начал:

— Господин барон...

— Дата рождения?

Лейтенант не поднял головы.

— Вы что, друг мой, не знаете даты своего рождения?

— Одиннадцатого марта тысяча девятьсот шестого года, — пробормотал капрал, у которого разом пропало хорошее настроение.

— Родители?

— У меня остался только отец.

— Мать умерла, — бросил лейтенант писцу. — Назовите адрес на случай, если с вами что-нибудь произойдет.

— Бриссе Бернар, доезжащий в замке...

Жюлю хотелось крикнуть: «Вы же сами все знаете! Могли бы хоть показать, что узнали меня!» — но он взял себя в руки.

— Замок Сермюи, Орн,— произнес он, чувствуя, как закипает гнев.

Как ни в чем не бывало Сермюи занес в список собственное имя.

— Ваша профессия перед мобилизацией?

Капрал так много думал о собаках, конюшне, охоте, что машинально выпалил:

— Псарь!

Глаза цвета серого камня наконец поднялись на него.

— Я сказал: перед мобилизацией.

— Помощник мясника,— выдавил Жюль.

— Друг мой,— положил ручку Сермюи,— я должен повторить вам все, что уже говорил вашим предшественникам. Я буду требовать от вас абсолютного подчинения. Мы здесь не для развлечения, а для того, чтобы выполнить свой долг. И надеюсь, что могу на вас рассчитывать. Если в дальнейшем у вас появится нужда в чем-либо, я всегда буду готов вас выслушать и сделать все от меня зависящее. Благодарю вас. Вы можете идти. Следующий!

Жюль почувствовал себя побежденным, совсем как тогда в лесу. И, как тогда, на него накатило непреодолимое желание ударить.

— Я сказал: «Следующий!»

Когда Жюль вышел в коридор, ему показалось, что он вот-вот лопнет от злости.

— Эй, капрал, ну как он себя вел? — начали спрашивать остальные новобранцы.

— А как он может себя вести? Сами посудите! Это у него я служил псарем. Я его узнал. Он к животным относится лучше, чем к людям. Вот увидите.

И Бриссе вышел во двор.

По двору бесконечно сновали фургоны и фуражные повозки. Въезжали автомобили, из них выпрыгивали офицеры в голубых кепи, и автомобили снова уезжали. Сквозь крики, приказы и грохот колес пробивались звуки труб. В жарком воздухе клубилась пыль.

Но чувствовалось, что при всей этой неразберихе идет четкая работа: резервисты разбиваются на группы, коней подводят к поилкам, разгружают снаряжение, эскадроны строятся.

Во дворе Бриссе вдруг увидел Залома, ведущего под уздцы Даму Сердца. Но особой радости при виде отца не почувствовал.

— Это ты барону доставил Даму Сердца?

— Как видишь, мой мальчик,— ответил Залом.— Вот уж не думал тебя здесь увидеть! Вот удача-то!

— Что ж ты еще и Фало не привел? Для полного комплекта!

— Жюль, ну почему ты так?

— Ни почему!

Неожиданно раздалась команда:

— Второй взвод, стройся!

И Жюль, вместо того чтобы попрощаться с отцом, процедил сквозь зубы:

— Он заплатит! Он у меня за все заплатит!

IV

Летелье, крестьянина из Аржантана, сделали денщиком.

Летелье не отличался умом, зато обладал чувством дистанции. Но его одолевала потребность непрерывно говорить о своем хлеве, скотине и полях. Хотя он вынужден был признать, что лейтенант не слишком-то разговорчив.

Когда же он узнал, что капрал Бриссе занимался псовой охотой, а псовая охота нередко проезжала мимо родной фермы, то начал донимать воспоминаниями Жюля, и Жюль сделался для него важной персоной. А капрал не уставал повторять, что лейтенант «лучше относится к животным, чем к людям».

Он говорил об этом, когда взвод остановился на постой в деревушке на краю Арденнского леса, и Сермюи сначала занялся конюшнями, а потом уж расселением людей.

Он напоминал об этом во время полевых занятий, когда Сермюи, запретивший галоп с полной выкладкой, заставлял людей тянуть лошадей по непролазной грязи.

Те же разговоры он заводил по поводу кормежки. И солдаты, для которых утренний и вечерний суп были главными событиями дня, верили, что их «кормят хуже, чем скотину».

Так, шаг за шагом, злоба Жюля разливалась вокруг, как масло, и все благодаря силе слова.

Однажды декабрьским вечером после ужина Жюль заявил:

— Хватит с нас жратвы из холодильника. Завтра добудем свеженькую. Это говорит вам капрал Бриссе.

— Bravo, капрал! — загалдели вокруг. — Но где ты ее возьмешь?

— Ты сможешь пойти и сказать лейтенанту, что так больше нельзя? — спросил путевой обходчик Февр, здоровенный детина, весельчак и балагур.

Соображение Февра Жюлю не понравилось: пойти к лейтенанту было единственным, на что он не был способен.

— Я ничего не смогу сказать, — ответил он, напустив на себя таинственный вид. — Это должно остаться между нами. — И обернулся к Дювалю: — Ты у нас ушлый, сможешь раздобыть несколько полосок старой кожи?

— И новой смогу, — отозвался рыжий.

Лицо Летелье, который поначалу не уловил сути разговора, вдруг просветлело.

— Понял! — сказал он, подмигнув Бриссе, и пошевелил пальцами, словно завязывая узел: — Я готов пойти, потому что знаю, как это делается. Я и у себя в поле, в Аржантане...

Февр, которому хотелось обратить на себя внимание капрала, спросил:

— А можно, и я тоже?

— Нет; в другой раз, — отрезал Жюль, словно речь шла о поощрении. — Для этого полсотни чело-

век вовсе не требуется. Сегодня вечером пойдут Дюваль и Летелье.

Когда совсем стемнело, троица отправилась в деревню.

Именно в этот час офицеры эскадрона — капитан Нуайе, лейтенант Сермюи, двое младших лейтенантов и один курсант — встали из-за стола.

Все трое появились на крыльце большого кирпичного здания, которое крестьяне торжественно называли замком и которое служило одновременно командным пунктом, домовою церковью и жилищем капитана.

Внизу у лестницы ждал автомобиль. Тусклый свет, пробивающийся из холла, слабо освещал силуэты пяти офицеров.

— Спокойной ночи, господа, — с легкой иронией произнес капитан. — Само собой, я ничего не знаю. И все же, пожалуйста, не задавите полковника и не бейте слишком много бутылок.

Раздались три смешка, потом четыре щелчка каблуками, за которыми последовало «Честь имею, господин капитан», сказанное четырьмя разными голосами. Капитан вошел обратно в дом, остальные быстро сбежали с лестницы. Свет в холле погас.

Курсант, зябко кутаясь в пальто, подпрыгивал то на одной ноге, то на другой.

— Ну, Сермюи! И вам не совестно? Вы решительно не идете?

Сермюи, которому не понравилась фамильярность курсанта Дартуа, сухо ответил:

— Благодарю вас, но я уже сказал «нет».

— Но послушайте, ведь капитан обещал, что закроет глаза...

— Капитан, может, и закроет глаза, но он остался на командном пункте.

Тут в разговор вмешался младший лейтенант дезОбрейе.

— Брось, Дартуа. Если Сермюи это не нравится... — насмешливо и чуть раздраженно начал он.

Сермюи, прекрасно знавший все местные достопримечательности, заметил:

— Мой дорогой, я очень люблю хороших собак, я люблю хороших коней, и у меня нет некрасивой жены, чтобы устраивать сцены... — И, ничего больше не добавив, вошел в темную аллею.

— Наш лейтенант мог бы быть и пообщительнее, — бросил Дартуа, садясь за руль.

— Не надо было тебе его отчитывать, — ответил Обрейе, который уже успел забраться в машину.

— Этот Сермюи умеет выделять одну забавную штуку. В столовой он наигрывал губами охотничьи сигналы, — произнес Форимбер, второй младший лейтенант. — Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так здорово подражал трубе. Но кроме этого...

Автомобиль нагнал Сермюи, когда тот уже вышел из ворот. Он пересек церковную площадь и большими шагами пошел по главной улице. Холод его не беспокоил.

Обычно он любил прогуляться перед сном. Но в такие вечера, как этот, когда друзья, с молчаливого разрешения капитана, уезжали развлекаться в город, Сермюи старался не покидать расположение отряда, совершая своеобразный обход местности.

Сермюи свободно передвигался в темноте, ибо ночью видел почти так же хорошо, как днем. Он заметил, что на земле возле дома валяется подпруга, а дверь в конюшню закрыта неплотно. Сермюи тут же велел часовому законопатить щель.

— Вы что, не понимаете, что лошадям дует?! Чтобы этого больше не повторилось!

Он прекрасно знал: наутро и то, что он не пошел с остальными, и этот ночной обход будут горячо обсуждаться. И бойцы его взвода непременно скажут: «Эх, оказаться бы вместе с курсантом или с лейтенантом Обрей!»

Его уже не раз заставляло врасплох знаменитое «хуже, чем с животными»...

Он подошел к группе домов. И тут ему показалось, что в сторону леса метнулись какие-то тени. Сермюи не был фантазером. Ему не мерещились ни шпионы, ни парашютисты. Он даже не стал вынимать пистолет из кобуры, а просто пошел дальше в поле, напевая сигнал «Гончие, вперед!».

Жюль Бриссе решил расставить в лесу силки не только ради роста собственной популярности. Если Летелье было плохо, если он не чувствовал тучной

земли луга или вспаханного поля под ногами, то бывшему псарю не хватало клубящихся под ветвями запахов зимнего леса и горячих прикосновений к шкуре дичи.

Кроме того, с тех пор как он попал под начало барона, единственное, что могло доставить ему радость, было нарушить запрет.

Шедший за ним Дюваль был далеко не в таком прекрасном расположении духа. Во-первых, рыжий не видел ни зги в этой безлунной ночной тьме, и, чтобы хоть как-то ориентироваться, ему приходилось держаться за шинель Жюля. Во-вторых, ему было страшно, потому что все свободное от бахвальства место в его душе занимал страх.

— Кто его знает, — сказал он придушенным голосом, — может, и не надо завтра утром тащить кролика лейтенанту?

Он отправился с Жюлем, чтобы потом всем расстрезвонить про свой подвиг, а капрал только для того его с собой и взял: ему нужен был распространитель информации.

— Кролика еще надо поймать, — добавил Дюваль, который боялся показаться смешным в случае провала операции.

— Не бойся, — успокоил его Жюль. — Я вчера на учениях все уголки облазил. Видишь там, на пригорке возле опушки, толстый бук?

— Бук, не бук, ничего не вижу.

— Так вот, там тропа, на которой полно кроличьего помета. По ней кролики ходят в поле.

Процессию замыкал Летелье, и каждый шаг по травянистым кочкам пробуждал в нем массу воспоминаний, которые он сам себе озвучивал:

— В это время много перепелок, их ловили леской. А однажды в поле, совсем рядом с моим домом...

Они вошли в лес. Возле бука Бриссе долго принохивался к кроличьему запаху, идущему от поросших мхом краев тропы. Потом Жюль присел на корточки, Летелье примостился рядом, и они начали мастерить силок. Дюваль, глаза которого так и не привыкли к темноте, вздрагивал при каждом хрусте ветки.

— Кто-то идет, — прошептал он.

— Отстань, трус несчастный! — огрызнулся Жюль.

— А я говорю, кто-то идет. Я слышу.

Жюль обернулся. Между деревьев маячила высокая фигура в длинном плаще, чуть чернее ночной тьмы.

— Ложись, ребята! Лейтенант!

Но было поздно: Сермюи все слышал.

— Ничего не выйдет! Вылезайте все трое! — крикнул он.

Плащ застыл в нескольких шагах от них, и из-под него доносилось нервное пощелкивание: постукивание хлыста по кожаному голенищу.

— Бриссе... Летелье... Дюваль... — произносил барон, по мере того как троица поднималась с травы. — Почему вы покинули расположение части без разрешения? Отвечайте!

— Скажи ему, что мы ходили добыть еды. Ну скажи... — шепнул Дюваль на ухо капралу.

А в голове Жюль зашевелилась совсем другая идея — безумная, искушающая. Сейчас ночь, до расположения части метров пятьсот, их трое, а лейтенант один...

Лейтенант прошел мимо них и оказался на тропе. Отбрасывая силок носком сапога, он на секунду повернулся к ним спиной. Дюваль трясся от страха и холода.

«Эх, надо было взять с собой Февра, — подумал Жюль. — Февр силен как бык».

— Не мешало бы вам знать, что я не терплю браконьерства, — бросил, обернувшись, Сермюи и остановился перед капралом. — Бриссе, возлагаю ответственность на вас как на старшего по званию. Назначаю вам восемь суток ареста.

Жюль машинально вытянулся по стойке «смирно». Момент для мести был упущен.

«Ладно, в другой раз, — сказал он себе. — В долгу не останусь».

— Что же до остальных... — помедлил Сермюи.

Он уже хотел было сказать: «Остальные получают четыре дня», но вспомнил о Даме Сердца, которая так привыкла к денщику Летелье и за которой эти четыре дня, конечно же, будут плохо смотреть, и принял решение:

— Что до остальных, они получают то же наказание, но после. Возвращайтесь в часть.

V

Те восемь дней, что Жюль Бриссе провел под арестом, обернулись для Летелье сущим адом. Все обращались с ним так, словно капрала наказали именно из-за него.

— Это все ты. Из-за тебя на губу посадили одного Бриссе. Ты ведь у лейтенанта в любимчиках! Иначе сидел бы там же. Верно, ребята? — говорил Дюваль, платя Летелье черной неблагодарностью.

— Был бы я денщиком, — говорил путевой обходчик Февр, — то уж знал бы, что делать.

— А что ты хочешь, чтобы я делал? — в отчаянии отбивался Летелье. — Не убивать же его, эту скотину!

— Речь идет не о скотине, а о людях, — подначивал Дюваль, пыхтя трубкой. — Есть тут некоторые вроде тебя... У них не хватает духу даже вступить за товарища.

Бедного Летелье довели до того, что к концу недели он уже готов был пообещать что угодно.

Сидя под арестом, Жюль снова накопил в душе злобу, а когда вышел, его встретили как мученика.

— Мы тут тебя дожидались. Есть одна штука, которая без тебя никак не состоится, — сказал Февр. — Для тебя приготовили спектакль.

Взвод построился перед конюшнями, на просторном дворе фермы. Люди ждали, взяв под уздцы лошадей. Шел дождь.

Сермюи обходил всех, совершая обычный осмотр снаряжения. Приподняв крыло седла Бриссе, чтобы проверить, правильно ли затянута подпруга, он вдруг заметил, как Дюваль подмигнул капралу. Барон пригляделся, но ничего особенного не обнаружил и направился к Даме Сердца, которую держал под уздцы Летелье, стоявший во главе взвода.

Едва Сермюи поставил ногу в стремя и оттолкнулся от земли, как седло ушло из-под него, и он шлепнулся в грязь. Правда, тотчас же сумел вскочить на ноги. Шинель его была вся в глине и навозе. За спиной послышались смешки. Барон осмотрел седло и, взявшись за пряжку подпруги, обнаружил, что два толстых кожаных ремня грубо перерезаны ножом. Он сразу вспомнил, как перемигивались Дюваль с Бриссе, а Летелье даже не двинулся с места, чтобы помочь ему.

Сермюи обернулся. Смешки стихли.

— Летелье, подними седло! Живо! — скомандовал он.

Летелье подбежал.

— Сними подпругу!

Летелье быстро орудовал пальцами, не соображая, правильно ли отстегивает подпругу. «Он понял... Он все понял...» И от тоски у Летелье засосало под ложечкой.

— Поставь седло на место.

Летелье послушался. «Но в седло без подпруги никак...»

Все взгляды были прикованы к его рукам.

— А теперь вытри его!

Денщик схватился за край шинели.

— Нет! Собственной задницей! Живо в седло!

Летелье был коренастый и тяжелый, намокшая одежда сковывала движения, ноги словно укоротились от страха. Он сделал пять-шесть попыток взобраться в седло, но безуспешно. Летелье слышал, как хлыст лейтенанта постукивает по сапогу. Кобыла начала нервничать, вертеться и пятиться.

Запыхавшийся, багровый от напряжения, Летелье мешком повис где-то в области холки и взмолился:

— Господин лейтенант, это не по моей вине...

— Я сказал: в седло!

Денщик сделал последнее усилие, грудью перевалился через переднюю луку и заполз в седло. Ноги его пытались нащупать в воздухе слишком далеко висящие стремяна.

Тогда Сермюи, который впервые в жизни так грубо обошелся с лошадью, подхлестнул ее сзади по крупу. Дама Сердца пустилась в галоп.

Летелье какое-то время балансировал, вцепившись в шею лошади, потом сполз набок и, сделав немислимый кульбит, упал на землю.

— А ну вставай!

Летелье не шевелился. Дама Сердца сама вернулась и встала на место впереди других лошадей. По взводу прокатился ропот. Все тут же забыли, что сами спровоцировали лейтенанта.

— Кто-нибудь двое, помогите ему подняться.
Ни Бриссе, ни Дюваль, ни Февр не двинулись с места.

Когда подбежали к Летелье, он был весь белый, как погасшая свеча. На щеках выступила тонкая сеточка сосудов. Он лежал в грязи и дрожал, держась обеими руками за сломанную ногу.

VI

После этого за все время, пока взвод стоял на постое, не было ни одного происшествия.

Каждый раз, когда Жюлю говорили: «Все-таки надо было что-то сделать», тот отвечал: «Ладно, ничего. Вот начнется настоящая драка, тогда он за все заплатит».

К апрелю Летелье вернулся в часть и стал добросовестным денщиком.

После того как в мае отбили атаку немцев, разведгруппа, в которую входил эскадрон Нуайе, проникла в Бельгию.

Первые два дня прошли спокойно, и группа покрывала милью за милей по цветущим фламандским полям. Утром третьего дня, когда взвод Сермюи проезжал через одну из деревень, его обстреляли из пулемета. На то, чтобы обыскать деревню и выбить из нее вражеский дозор, ушло около часа. Во взводе было двое раненых, и в их числе Дюваль, получивший пулю в плечо.

— Вот видите, — говорили бойцы, — не зря он боялся: первым на пулю и нарвался.

Во время перестрелки лейтенант отдавал приказы, по обыкновению, сухо и от пуль не прятался, словно все еще находился в деревне на постое.

На следующее утро, когда Сермюи, как обычно, ехал во главе эскадрона, высланные вперед разведчики доложили, что к ним приближается броневик.

В бинокль его было очень хорошо видно. Броневик двигался без сопровождения, с открытым люком. Может, заблудился, а может, вел одиночную разведку. До него оставалось метров семьсот, когда он скрылся за деревьями.

Взвод не располагал вооружением, чтобы вступить в бой с броневиком. Оставалось только рассеяться и пропустить его.

И все же Сермюи колебался, отдавать приказ или нет. Он быстро оглядел территорию вокруг, сто метров дороги до поворота, кювет и деревья по бокам, потом подозвал Бриссе.

— Сдай лошадь, — приказал он, — возьми автомат и обойму патронов и иди за мной. — Затем крикнул: — Остальным — рассеяться по своему усмотрению! Галопом!

Он спешил и передал поводья Летелье, который отвел Даму Сердца в сторону. Дорога сразу опустела. Сермюи и его бывший псарь остались одни.

— Заляжешь здесь, — указал на кювет офицер. — Когда броневик подойдет к дорожному столбу...

Вон там, видишь, белый столбик? Сразу стреляй по дороге перед ним. Если он продолжит движение, подтянись и снова стреляй, но все время перед ним по дороге. Понял?

Бриссе подумал: «С автоматом против броневика! Да этот мерзавец либо спянул, либо хочет, чтобы меня убили».

Похожий на огромного кабана броневик появился из-за поворота и пополз за деревьями.

— Бей по дороге и никуда больше, чтобы его задержать, — повторил Сермюи. — А я попробую его добить.

И, выхватив пистолет, побежал вперед.

«Попробую его добить». При этих словах на охоте, когда звучал сигнал к травле, Сермюи обычно вынимал из ножен длинный нож. И Бриссе вдруг заметил, что барон, совсем как когда-то, обратился к нему на «ты», и, совсем как когда-то, капрал, не раздумывая, повиновался.

Метрах в пятидесяти от него Сермюи тоже затаился в кювете. Единственное, что его заботило, — это чтобы капрал открыл огонь в нужный момент. Если Жюль замешкается — пиши пропало.

Броневик приближался по прямому участку дороги. Шум мотора нарастал с каждой секундой. Глаза Сермюи были вровень с шоссе, и колеса крутились возле самого лица. В ту же секунду дорога на уровне белого столбика стала потрескивать. Перед самой машиной с земли поднялись хлопья пыли. Броневик затормозил, башенка начала поворачи-

ваться: это стрелок внутри пытался определить, откуда его атаквали.

Сермюи, с пистолетом в руке, выскочил на дорогу и бросился к броневикам. Вокруг него свистели пули. Не прекращая стрельбы, Бриссе теперь сам норовил попасть во врага.

«Идиот, он же меня подстрелит!» — подумал Сермюи и тут заметил, что хлопья пыли обогнули его и снова застрекотали у колес.

Броневики все еще двигались, но очень медленно.

Сермюи вскочил на подножку, сунул руку в открытый люк и разрядил пистолет в башенку, не дав оккупантам ни секунды, чтобы закрыть люк. Над их головами сначала сверкнули серые глаза, а потом — вспышки выстрелов.

Сермюи следил за тем, как три круглые каски осели одна за другой, и животом ощутил, как машина дернулась назад и замерла. Спрыгнув с подножки, он почувствовал, что у него подкосились ноги, а еще подумал о том, как много энергии нужно затратить, чтобы подбить броневик из пистолета.

С другой стороны дороги из кювета вылез бледный Бриссе. До него наконец дошло, что он вполне мог убить барона, когда, испугавшись, позабыл о приказе и сместил ближний прицел.

Его еще долго трясло, хотя он и мысли не допускал о том, что ненависть к бывшему хозяину чуточку поутихла.

VII

Возвращение разведгруппы обернулось самым роковым образом. Восемь дней и восемь ночей взвод, то рассыпавшись, то собравшись в кучу, как пчелиный рой, снова преодолевал уже однажды пройденный путь. Но теперь на каждой параллельной дороге его подкарауливала вражеская бронетехника. Восемь дней отчаянных боев, с огневой завесой во всю длину фронта, чтобы прикрыть безнадежное отступление, и восемь ночей фантастического маневрирования в клещах бронированных колонн.

Из четырех боевых эскадронов один был уничтожен полностью, а остальные повыбиты на треть, а то и наполовину.

В последний вечер отряду удалось собраться вместе в Аргоннском лесу. Все выходы были блокированы неприятелем.

— Что нам тут делать? Чего ждем? — спросил Сермюи капитана Нуайе.

— Полковник велел связаться с дивизией. Ждем приказа.

— Если удастся связаться... — бросил Сермюи, направляясь к своему взводу. — Можете перекусить чем бог послал, — сказал он солдатам. — Но супа не ждите, его сегодня не будет.

Походную кухню днем разворотило снарядом. Солдаты достали из сумок последние куски хлеба и последние консервы.

— Поешьте чего-нибудь, господин лейтенант? — предложил Летелье.

— Нет, спасибо, не хочется.

Он оглядел своих людей, сидевших на мху; измученных, запыленных лошадей, жадно щипавших редкую траву у корней деревьев; брошенные на землю каски и оружие, и ему вспомнился первый день мобилизации в Алансоне. Но как же та неразбериха отличалась от этой и сколько в ней было надежды!

Наконец удалось связаться с дивизией.

Полковник собрал офицеров: двенадцать из тридцати. У капитана Нуайе остались только Сермюи и курсант Дартуа. Оба младших лейтенанта были убиты.

Полковник мерил шагами лес. Он был мал ростом, его облегающие бежевые брюки были забрызганы грязью, нашивки на френче отпоролись. Ремешок каски порвался, а на подбородке виднелась ссадина: он и сам толком не помнил, где поранился. Однако в правый глаз был вставлен толстый, как доньшко бутылки, неизменный монокль.

— Друзья, — объявил он. — Мы полностью окружены... — И, немного помолчав, добавил: — И положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Дивизия выведена из строя.

Полковник снова помолчал и заложил руки за спину, чтобы никто не видел, как они дрожат.

— Я получил приказ. Кажется, наша миссия окончена.

Наступила тишина. Только шорох листьев и дыхание людей.

— Мы должны оставаться на месте, уничтожить оружие... и пристрелить лошадей. Таков приказ.

— Боже милосердный! — крикнул кто-то возле капитана Нуайе.

— Да, Сермюи, я знаю, — ответил полковник, наведя монокль на офицера, который стоял ближе всех. — Приказ слишком жесток. Но группе не прорваться. Мы можем подарить врагу только наши собственные шкуры, но не лошадей и уж тем более не оружие. К тому же, поверьте, это не мой приказ. Господа, благодарю вас за все, что вы сделали под моим командованием.

Услышав такую благодарность, больше смахивающую на отрывистую команду на маневрах, все поняли, что, выйдя из боя, группа перестала существовать.

— Миссия окончена, миссия окончена! Но мы не потерпели поражения! — выкрикнул Дартуа, который с пятью рядовыми одиннадцать часов удерживал ферму, пока не подоспело подкрепление.

— Но, господин полковник, — начал полковой ветеринар, — для лошадей мне, наверное, нужна команда?

— Для этого, Дулле, у меня нет расстрельной команды. Каждый пристрелит свою лошадь сам.

Полковник вытащил пистолет и первым пошел убивать своего коня.

Офицеры и солдаты печально расходились в разные стороны, и в лесу один за другим стали раздаваться выстрелы. Спустились сумерки, и вспышки красным светом освещали нижние ветви деревьев.

Лошади оседали на землю темными холмиками. Время от времени один из таких холмиков вдруг вскакивал, неся куда попало пьяным галопом и разбивал себе голову о первое же дерево. Остальные дергались на земле, и нужен был второй выстрел, чтобы их добить. Со всех сторон слышалось долгое агонизирующее ржание.

В воздухе пахло пылью и кровью. Убийство набирало обороты.

Мимо Сермюи, чуть не опрокинув его, проскакала слепая лошадь. За ней бежал солдат с карабином в руке. Слепая лошадь споткнулась о камень, зашаталась и обреченно рухнула на колени у откоса дороги. Солдат выстрелил в упор ей в голову, и она завалилась на бок, обрызгав мох мозгом. Лес наполнился криками ужаса и боли, которые слились в одно непрерывное ржание.

Сермюи зажал уши, чтобы только не слышать всего этого.

Жюль Бриссе пристреливал лошадей тех, у кого не доставало мужества сделать это самолично. Лошадь крепко держали за поводья, а он метко стрелял ей прямо в ухо. Животное умирало без мучений: легкое подергивание копыт — и конец. Глядя на капрала, Сермюи вдруг вспомнил: «Помощник мясника».

Солдаты никогда не видели лейтенанта таким: он был бледен, голова свесилась, плечи опустились.

Сермюи оглядел убитых лошадей. По мху растеклись черные ручейки...

— Бриссе! — позвал он.

Капрал обернулся.

— Возьми, — сказал лейтенант, протянув ему пистолет и кивком головы указав на Даму Сердца.

Потребовалась по меньшей мере катастрофа, чтобы Жюль Бриссе смог наконец-то взять верх над хозяином, который им командовал.

— Если вы про вашу кобылу, господин лейтенант, — вызывающе заявил бывший псарь, — то вы должны это сделать собственноручно. Каждый сам пристреливает свою лошадь, таково распоряжение.

Солдаты ожидали, что Сермюи сейчас взорвется гневом и отдаст какой-нибудь немислимо жестокий приказ.

Но Сермюи ничего не ответил. Он медленно двинулся к Даме Сердца. Когда он протянул руку к ее шее, чтобы приласкать в последний раз, кобыла встала на дыбы, и Сермюи увидел над собой белый от ужаса лошадиный глаз. В бою она вела себя так спокойно, а теперь вдруг потеряла голову и заметалась.

— Ты поняла, моя красавица, ты поняла, что я хочу с тобой сделать, — прошептал он.

И Дама Сердца заржала. Это ржание перекрыло все жалобные стоны остальных лошадей.

Сермюи вскочил на ноги, лицо его приняло привычное жесткое выражение, губы сжались.

Он подбежал к полковнику:

— Господин полковник, если наша миссия окончена, прошу вас вернуть мне свободу.

— Я пока еще обладаю такой властью,— ответил полковник.— Там, где вся группа неизбежно и бессмысленно погибнет, несколько человек, может быть, и сумеют прорваться. Мне хотелось бы оказаться на вашем месте, а вот вы разделять мою участь вовсе не обязаны. Я должен остаться с отрядом... Ступайте, Сермюи, и поторопитесь. Удачи вам!

Лейтенант вернулся к своему взводу. Все лошади были мертвы. Некоторые из солдат начали разбивать свои карабины о деревья.

— Я ухожу,— сказал он окрепшим голосом,— и постараюсь прорваться. Если кто хочет прорываться вместе со мной, пусть идет. Это не приказ. Поступайте, как хотите.

И он сам начал седлать Даму Сердца.

Солдаты посовещались.

— Это безумие! — воскликнул Февр.— В плен, так в плен, но это не означает, что надо подставлять себя под пули.

— И потом, мы так измотаны, мы больше не можем,— отозвался еще кто-то.

Все взгляды повернулись к Бриссе. Все знали, что в конце концов решать ему.

— Ну что, капрал, ты с нами согласен?

Жюль покивал головой и ответил:

— А я, ребята...

В этот момент под деревьями раздался охотничий сигнал. Сермюи вскочил в седло и громко затрубил своими бескровными губами, чтобы не слышать, как умирают лошади соседних эскадронов.

Бриссе, не договорив, бросил фразу на середине... Он вдохнул знакомый запах леса, и все его упорство куда-то улетучилось. Он поднял свой автомат, закинул его за плечо и повторил:

— А я, ребята...— И зашагал за лейтенантом.

За ним следом двинулся Летелье, потом Февр, а потом и все остальные.

Прислонившись к дереву, полковник смотрел, как один из его взводов уходит во тьму, а впереди едет всадник, наигрывая сигнал «Гончие, вперед!».

Дом с привидениями

Полю Фландену

Днем погода улучшилась, поманив оттепелью, зато ночью снова подморозило.

Группа след в след пробиралась по лесу между буками и пихтами, и в тишине раздавалось только непрерывное журчание талой воды и шаги тридцати человек по размокшей земле. Пропитавшаяся водой военная форма тяжело давила на плечи.

Реми Урду из Перша, парень гигантского роста, шел последним, в облаке запахов всей колонны.

— Мокрой псиной воняет, — заявил он.

Никто не отозвался. Только мерно падали капли с деревьев, мерно звучали шаги, да разлеталась из-под подошв подмерзшая грязь.

Перед Урду маячила плотная спина толстяка Бютеля, чуть подальше на тропе виднелись покатые плечи капрала Крюзе, и, наконец, впереди выступала из тумана фигура Дирьядека. Этот бретонец, из которого слова не вытянешь, был седьмым от конца.

Мокрые по пояс, с поднятыми воротниками, все шли; опустив голову. Один великан Реми Урду держался прямо, потому что устал от ходьбы внаклонку.

Примерно через полчаса они добрались до опушки леса. Внизу, в котловине, виднелась недавно разбомбленная деревня. На оголенных остовах домов стропила выглядели как ребра скелетов, одни крыши были изрешечены снарядами, на других веером торчала перевернутая черепица с оставшимися кое-где островками снега.

— Совсем как голубиное крыло, если на него снизу подуть, — заметил Реми Урду.

Уже почти ночью они вошли в деревню и двинулись мимо разбитых дверей и качающихся на петлях ставней. Когда тихо в лесу — это нормально и вполне терпимо, к тому же лесная тишина всегда относительна: то ветка хрустнет, то зверь зашевелится. Но для усталых и замерзших людей нет ничего хуже, чем тишина мертвых домов.

От попавшей в самый центр деревни бомбы осталась огромная воронка, в которой теперь стояла вода. Ее блестящая темная поверхность с бортиками снега вокруг усиливала впечатление заброшенности места.

Один из сержантов, внимательно изучивший план деревни, уверенно повел всех за собой по улицам и привел во двор какой-то фермы.

— Это здесь, — сказал он, толкнув дверь.

Сержант зажег карманный фонарик, и бойцы вошли внутрь следом за ним. Голубоватый огонек пробежал по стенам, бегло осветив углы комнаты, ножки оставшейся мебели, замерший маятник старинных часов. На полу лежало с десятков матрасов, оставленных группой, которая побывала в доме до них.

— Все здесь? — спросил сержант. — Крюзе, проверьте, чтобы ставни были плотно закрыты. Остальным — забаррикадировать все входы, и как следует!

Урду притащил огромный стол и привалил его к двери. Потом вдвоем с Дирьядеком, не проронившим ни слова, они водрузили сверху еще и сундук. Окна загородили поставленными крест-накрест скамейками.

Луч фонарика ложился круглым голубым пятном на плитки пола у ног сержанта. И все инстинктивно стали подтаскивать матрасы поближе к этому дрожащему огоньку.

Консервные ножи заклацали по алюминиевым крышкам, руки потянулись к рюкзакам, чтобы вытащить то отсыревший кусок колбасы, то растаявшую плитку шоколада.

— Нас не видно из-за разбитых крыш, поэтому мы, можно сказать, в укрытии, — прошептал Левавассер, чтобы что-то сказать.

— А почему шепотом говоришь? — спросил Урду.

— Не знаю, просто так, — ответил Левавассер.

Что за тяжесть повисла в воздухе, если самые обычные слова и звуки начали обретать особое зна-

чение? Вот чей-то каблук поскреб плитки пола, вот в чьей-то фляге булькнула жидкость. И тут послышался голос капрала Крюзе:

— А, так это тот самый дом, который называют «домом с привидениями»? Ребята, а привидения тут неплохо устроились!

По всему Лотарингскому фронту, на ничейной земле, имелись такие опустевшие деревни, где передовые отряды обычно устраивались на ночлег. Солдаты приходили туда в сумерках, занимали дом, не разжигая огня, не зажигая света, и эти брошенные дома, где от заката до рассвета хозяйничали тени, окрестили «домами с привидениями».

Боевая группа сержанта Лаланда уже много недель исполняла роль аванпоста, но в таком доме останавливалась впервые.

— Сержант, а противник здесь не появляется? — спросил Шамбрион.

— Патруль, бывает, и появляется, но очень редко, — ответил сержант, отрезая кусок хлеба от буханки. — В этой же деревне у них тоже есть «дома с привидениями».

— А я, ребята, — сказал, чуть помолчав, Левассер, — говорю, что они сегодня заявятся. У меня такое предчувствие.

— Ха! Да ты просто трусишь! — раздался чей-то голос.

Послышались смешки. Смешки усталых солдат, слегка разомлевших после еды. Вдруг смешки разом стихли, и все замерли, затаив дыхание.

— Наверху кто-то ходит,— прошептал капрал Крюзе.— Слышите, сержант?

— Слышу. Тихо!

Сержант погасил фонарик. Подняв головы к потолку, все вслушивались в тяжелые шаги. На миг шаги затихли, а потом направились к противоположной стене. И все шеи дружно повернулись, словно шагавшие наверху подметки сквозь потолок намагничивали каски.

— Вот смеху-то будет, если они облобовали этот же дом,— дрожащим голосом пробормотал Лева-вассер.

— Надо посмотреть, что там такое,— приказал сержант Лаланд.— Только тихо, и не надо ходить всем.

Маленький голубой кружок снова затанцевал по полу. Реми Урду, капрал Мартен и Дирьядек бесшумно поднялись, взяли карабины и пошли вслед за сержантом. Капрал Крюзе, стараясь не шуметь, на ощупь зарядил автомат и прошипел:

— Как только вы позовете, сержант, я стреляю в потолок.

Остальные подтянулись поближе к капралу. Лаланд вышел из комнаты и стал медленно подниматься по лестнице. Сзади шел Реми Урду, и, не смотря на все его усилия, ступеньки отчаянно скрипели под его тяжестью.

— Кто здесь? — громко крикнул сержант, поставив ногу на последнюю ступеньку.

Внизу Крюзе положил палец на гашетку.

— Это я, сержант, — отозвался кто-то сверху.

И на лестничной площадке показалась фигура толстяка Бютеля.

— Я пошел посмотреть, нет ли тут чего выпить.

— Ну, считай, что легко отделался! Гляди у меня, если еще раз придется тебя искать!

И, не в силах сдержать злость, сержант схватил Бютеля за плечо и спихнул с лестницы.

— Брысь отсюда! Ты у меня узнаешь, как в привидение играть! А ребята тебе морду набьют, это точно! А сейчас пошел спать, если не хочешь, чтобы тебе досталось!

Все улеглись на матрасах, держа каски и карабины под рукой. И сразу же со стороны Шамбриона раздалось протяжное сонное сопение. Бютель пробормотал:

— Я только хотел посмотреть, нет ли чего выпить...

И тоже уснул. Но тут же был разбужен страшным грохотом, раздавшимся где-то в комнате.

— К оружию! — рявкнул Левавассер.

Все вскочили.

— Стой! Кто идет? — подал голос Бютель.

Сержант снова зажег фонарик, и все увидели, что свалилась одна из скамеек, которой загородили окно.

— Не могла же она упасть сама собой, — заметил Урду. — Точно знаю, я ее очень хорошо закрепил.

— А может, ее столкнули снаружи? — спросил капрал Мартен.

Урду осторожно провел рукой по выбитому стеклу. Ставень был хорошо закрыт, засов цел. Оставалось признать, что скамейка свалилась сама. Он поставил ее на место и пошел укладываться.

Все снова замолчали. Слышно было только, как кто-то ворочается на матрасе. Снаружи капать перестало: подмораживало. Холодная одежда липла к телу.

— Вот интересно,— внезапно нарушил тишину Шамбрион.— Спать хочется, а не заснуть.

Все ощущали себя во власти враждебных существ, блуждающих между небом и землей, и все ждали, что еще может случиться. Вдруг от дымовой трубы отвалился камень и ухнул в очаг. Урду вскочил.

— Я больше так не могу! — заорал он.— Не могу я больше в этой халупе, где все сыплется, движется и трещит! Только попробуйте назвать меня трусом! Но это невыносимо. Сержант, можно хоть выйти пройтись?

— Нет,— отрезал сержант.— Приказываю всем оставаться на местах.

Чтобы пересилить тревогу, Урду принялся мерить шагами дом. Он ходил взад-вперед, натываясь на мебель, налетая на двери. На короткое мгновение воцарилась тишина, а потом снова послышались беспокойные шаги наверху.

— Урду! — крикнул сержант.

— Это не Урду, сержант. Это Бютель. На этот раз я нашел! Здесь водка, посмотрите сам! — И с этими словами Бютель спустился вниз: — Ребята, готовьте кружки. Пейте смело, водка хорошая.

— Бютель! Отставить! — раздался голос сержанта. — Предупреждаю, если вы надрались... Бютель!

Голубоватый луч фонарика осветил Бютеля. Тот с радостным квохтаньем пил прямо из горлышка. Сержант ловким ударом выбил у него бутылку, и она разбилась о пол. На секунду Бютель ошалело застыл.

— Ах! Сержант... сержант! С мужчинами так не поступают!

— Бютель! Эй, Бютель! Угомонись! — бросил капрал Мартен.

Из глотки Бютеля вырвалось хриплое, возмущенное «эх!». Причем в этом «эх!» было столько чувства, словно до этого оно долго зрело в недрах земли. Фонарик погас, и Бютель так и остался стоять, сжав кулаки и втягивая ноздрями запах разлившегося по полу алкоголя.

И тут на колокольне зазвонили церковные колокола. Первый удар тяжелой бронзой загудел в морозном воздухе, за ним второй, третий... И тишина.

И снова удар, второй, третий и долгий гул... Сержант опять зажег фонарик. Все переглянулись. Бютель забыл об обиде. Все тотчас же обо всем позабыли.

Послышались еще три отдельных удара, и вдруг все колокола зазвонили разом. И начался такой пе-

резвон... Казалось, что звонят прямо в соседнем доме.

— «Ангелус»...* — пролепетал Бютель упавшим голосом. — «Ангелус» в полночь. Ох, не христианская это штука!

— Говорят, колокола иногда сами звонят... — неуверенно начал Крюзе.

— Колокола не могут зазвонить сами, если нет ветра, — заявил капрал Мартен. — Но даже сильный ветер не может вызвонить «Ангелус».

— Значит, в деревне немцы.

— Ребята, к оружию! — скомандовал Лаланд.

Все начали отыскивать свои карабины. Получилась небольшая куча-мала.

— Но если они в деревне, — сказал вдруг Шамбрион, — то зачем им звонить? Сержант, как вы думаете, а может, они специально хотят нас ошеломить, а потом, когда мы выскочим из дома, всех перестрелять?

— С них станется, — ответил Лаланд. — Внимание! Выходим патрульным порядком через черный ход!

Бютель так грубо схватил сержанта за руку, словно хотел сделать ему больно.

— Нет, сержант! Дайте-ка я пойду первым.

Он хотел было добавить: «Из-за бутылки» — но не решился. Бютель распахнул дверь.

* «Ангелус» — один из видов церковного звона, собирающего прихожан на утреннюю службу.

«Ну и ну! Не могли получше забаррикадироваться!» — подумал Лаланд. Колокольный звон теперь слышался яснее и стал еще более пугающим.

— А теперь звонят к окончанию мессы, — заметил Бютель.

Он быстро перекрестился, больно ударив себя по лбу и по груди, бросился во двор и остановился, вжавшись в стену.

— Можете идти, ребята, — сообщил он мгновенные спустя. — Никого нет.

Чем ближе они подходили к церкви, тем громче становился звук. Воздух гудел, как лист железа.

Разделившись на две части, группа стала обходить площадь. Одно звено медленно двинулось налево, другое — направо. Церковь располагалась на окраине. Сквозь деревья виднелся темный вход и за оградой — кладбище с крестами. Звон замедлился и стих.

Оба звена инстинктивно остановились. Наступившая тишина не рассеяла тревогу. Наоборот, воздух, казалось, сгустился. Церковь и деревня онемели. И Дирьядек, который, как всегда, не проронил ни слова, уже готов был поверить в то, что в колокола звонит один из покойников.

По приказу сержанта оба звена продолжили движение. На углу одной из улочек капрал Крюзе обернулся, чтобы удостовериться, идут ли за ним бойцы. А когда снова посмотрел вперед, то нос к носу столкнулся с немцем. Оба отскочили. Немец от-

прянул в свой переулок, Крюзе прижался к стене, и оба сделали своим отрядам знак приготовиться.

И тут колокола снова пришли в движение, и раздался радостный и пугающий перезвон.

Оба патруля бросились вперед, стремясь застичь друг друга врасплох. И возле ратуши, вокруг огромной воронки с черной водой, завязалось сражение.

Низко, почти на уровне земли, отбрасывая прерывистые красные отсветы, застрочил пулемет.

«Но почему продолжают звонить?» — пронеслось в голове у сержанта Лаланда. Вдруг Бютель с криком выронил оружие.

— Готово дело! — сказал он, словно ему удалось совершить нечто давно задуманное.

Ему в руку попала пуля. Было больно, но не настолько, чтобы закричать. И все же рука стала трястись, а он никак не мог унять эту дрожь.

Со всех сторон началась беспорядочная стрельба. Стреляли по большей части наугад, ориентируясь по язычкам пламени из стволов. Капрал Мартен получил пулю в икру. Потрогав раненое место, он обнаружил, что крови нет, только ожог. Пуля разорвала кожу на сапоге, но до тела не добралась. «Повезло!» — подумал капрал.

Вдруг большущая тень без каски отделилась от стены и понеслась в сторону ратуши. Ее остановил выстрел, и тень свалилась в воронку с водой. И сразу же поверхность воды засверкала белизной, а ночная мгла резко поменяла цвет. Обе воюющие

стороны были настолько поражены, что даже перестали стрелять. Внезапно разлившийся молочно-белый свет и непрерывный адский набат явно были нездешней природы. Наверное, не один солдат с обеих сторон мысленно спросил себя: а вдруг это вовсе не человек — тот, кого подстрелили над воронкой? И не начало ли в деревне происходить нечто сверхъестественное?

Немецкий патруль отступил, унося двоих раненых. В темноте раздалось еще несколько выстрелов, и французы остались одни.

— Звонят непрерывно. Значит, не фрицы, — произнес Шамбрион.

Но ни у кого не хватило духа подойти к церкви и посмотреть, что же там происходит.

Проходя мимо воронки, Дирьядек, ни слова не говоря, потрогал поверхность воды прикладом. Приклад ткнулся в лед, сквозь который было видно упавшего в воронку человека. Не успело тело упасть в воду, как она мгновенно застыла. Дирьядек вспомнил, что когда-то уже видел нечто подобное у себя на родине. Зимой, когда термометр показывал всего три-четыре градуса мороза, достаточно было бросить камушек в еще не замерзшую лужу, и она сразу покрывалась льдом.

Отряд вошел в дом с черного хода и сразу же снова забаррикадировал дверь. Бютелло сделали перевязку. Он, казалось, чувствовал себя прекрасно, болтал без умолку и был единственным способным шутить.

— Нечего было выбивать у меня из рук заветную бутылочку. Она меня и спасла: мне хорошо. — Но рука все дрожала, и он не знал, как ее успокоить.

Пока ему накладывали повязку, колокола залились протяжным перезвоном и стали стихать, словно их оставили просто так качаться. Сначала замолк средний, потом малый, а звук самого большого еще долго вибрировал в воздухе.

— Ничего не понимаю, — пожал плечами сержант. — Не иначе как нынче ночью в деревне обозначился еще один «дом с привидениями». Ладно, пусть так. Но немцы никогда не нападают в такой час. Они всегда дожидаются рассвета и атакуют посты, когда те снимаются с места. Наверное, колокола и их тоже выгнали на улицу. А так они напали бы на нас на рассвете...

— Смотри-ка, больше не звонят! — воскликнул капрал Крюзе.

Кто-то отчаянно заколотил в дверь:

— Эй, ребята, откройте!

— У нас все на месте? — спросил Лаланд, вытянув руку с фонариком.

Но времени проверять не оставалось. Дверь поддалась и рухнула в комнату вместе со скамейкой, которая ее держала. На пороге возник длинный силуэт, и силуэт этот принадлежал Рене Урду, который вошел, вытянув вперед руки.

— Эх, ребята, как здорово! — крикнул он. — Но зачем вы закрыли дверь?

Сержант на секунду онемел от удивления.

— Когда же ты вышел? — спросил он наконец.

— Ну... сразу, как вы мне это запретили, сержант. А оказавшись на улице, я решил: «А устраю-ка я перезвон моим ребятам!» Лучший способ выгнать из головы дурные мысли. Я это усвоил еще в детстве, когда пел в церковном хоре. — И великан Реми Урду, первый сорвиголова в эскадроне — три судимости на гражданке и семьдесят дней ареста на военной службе, причем все не по злому умыслу, — весело расхохотался.

Солдаты переглянулись. История с бутылкой вызвала такой ажиотаж, что никто даже не заметил отсутствия Урду.

— Так это был ты, паршивец! — рявкнул сержант. — Ты что, совсем ничего не слышал, пока звонил? Ну и влеплю же я тебе сейчас, хорист!

Тут хорошо поставленным голосом вмешался бретонец Дирьядек, который за все время рта не раскрыл:

— Но ведь немцы были-таки в деревне, сержант. Без Урду мы бы того...

В этот день он слишком много говорил и все не мог наговориться.

Мурто

Арману де Дампьеру

Мурто принялся вытирать мотоцикл насухо и делал это тщательно и с достоинством, как надраивал бы свою двуколку на ферме в Бретани. К нему подошел офицер.

— Как тебя зовут?

— Мурто, господин полковник.

Мурто вытянулся по стойке «смирно», но выше ростом не стал и по-прежнему напоминал приземистую кочку.

— С завтрашнего дня будешь водителем моей машины.

На лице Мурто, хранившем печать тяжелого детства, возникло несвойственное ему выражение гордости и даже радости. Он ответил:

— Есть, господин полковник.

Не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, полковник удалился, а Мурто, не любивший лишних жестов, даже не успел поднести руку к козырьку.

Вот так он, сам не понимая почему, стал шофером полковника.

Полковник Оврей де Виньольт каждое утро лично объезжал аванпосты. В первые дни в секторе царило спокойствие, и он поехал на машине, да так и стал ездить. Этот кавалерист не любил длинных пеших переходов. Он велел Мурто отвозить его до самой линии огня, где неприятель находился метрах в двухстах от них. И вот открывалась дверца машины, оттуда высовывались пилотка, хлыст и светлая крага, потом медленно вылезал сам полковник. Если поблизости падал снаряд, полковник называл калибр, словно определял породу коня.

Громоздкий зеленый автомобиль не раз становился мишенью для неприятеля, и по возвращении Мурто говорил:

— Господин полковник, я уж думал, сегодня случится неприятность.

— Мурто! — повышал голос полковник. — Ты ведь знаешь, почему я тебя выбрал?!

И Мурто, который ничего про это не знал, но которому хватало уже того, что его выбрали, отвечал:

— Да, господин полковник!

Не проходило и дня, чтобы в штабе корпуса кто-нибудь не говорил:

— Оврей просто сумасшедший. Кончится тем, что его убьют. Надо бы запретить ему эти штучки.

Но на следующее утро зеленый автомобиль снова появлялся на линии фронта, потому что передо-

вые отряды не чувствовали себя уверенно, если из открытой дверцы не высывались пилотка, хлыст и светлая крага полковника Оврея де Виньоля.

10 мая армейский корпус во главе с группой Оврея начал выдвигаться в сторону Бельгии. На третье утро контакт с противником все еще не был установлен. Настало время некоторой передышки. Оно как раз совпало с обычным временем объезда, и полковник велел Мурто прибавить скорости, чтобы догнать передовые отряды.

Мотоэскадрон остановился в яблоневом саду, у самой дороги, и цветущие ветви накрыли стоящие под деревьями мотоциклы. Солдаты, усевшись рядком, уплетали за обе щеки у кого что было. Они расстегнули ремешки касок и сдвинули на лоб мотоциклетные очки. Уставшие от долгого сидения в машинах ноги вытянулись; обожженные солнцем, обветренные лица остывали в прохладной тени.

Все увидели пилотку и светлую крагу, но тут на небе появился маленький черный треугольник. За ним еще один и еще. Люди переглянулись, на губах застыли удивленные улыбки.

Вдруг оглушительный грохот опрокинул их на землю. Один из самолетов явно падал прямо на них. С замершим сердцем все ждали, что грохот завершится взрывом. Способность мыслить словами начисто отшибло, в головах остались только образы. Если самолет сейчас не сотрет их в порошок, то всю оставшуюся жизнь они будут видеть перед собой эту траву. Они и не подозревали, что у травы столько оттенков.

По земле пробежала дрожь. И люди еще больше вдавили головы в землю, ибо то, что происходило над их головами, не было роковой случайностью, а было явным и определенным проявлением чужой злой воли. И от этого вернулась способность мыслить словами, потому что все одновременно подумали одно и то же: «Пулемет!»

Первый самолет набрал высоту, но второй, следующая за ним с тем же грохотом, спикировал. Снова задрожала земля, потом еще и еще раз.

А затем на секунду воцарилась мертвая тишина. Затем послышался стон первого раненого. Мускулы на мгновение расслабились и опять напряглись. Те, кто приподнял голову, снова уткнулись в землю. От неба отделился второй треугольник.

Треск, который затем раздался, не подпадал ни под одно сравнение, которые обычно приводят для его описания. Его нельзя было сравнить ни с трещоткой, ни с кофейной мельницей. Он скорее походил на грохот взбесившейся молотилки. Звук был такой, словно гигантская муха билась о стекло или кто-то рвал на части огромный лист бумаги.

Третий... четвертый, пятый треугольники готовились пикировать.

Распластанному на земле Мурто было не до сравнений. Он дрожал, кусал землю и повторял: «Пришел мой конец!»

Описав в воздухе круг, первое самолетное звено вернулось, чтобы на этот раз сбросить бомбы.

Сначала раздался визг электропилы, вонзившейся в древесину, потом — взрыв, отозвавшийся у каж-

дого в утробе, потом — снова визг и снова взрыв. Ожидание следующего взрыва растягивалось до бесконечности. Треск пулемета, проявлявшийся в паузах между бомбардировками, уже воспринимался как надоедливое шелканье метронома на бешеной скорости.

Яблоневого сада зажил другой жизнью. Сто тридцать сросшихся с ним внутренних голосов, сто тридцать беззвучных криков поверяли ему: «Следующая бомба моя! Эта точно моя!»

И после каждого взрыва сто тридцать тел ждали, что их поразит осколками. Руки инстинктивно обхватывали каски, словно люди отчаянно пытались помочь этим крошечным убежищам сохранить свой мозг, свое сознание.

И вовсе не надо было быть религиозным фанатиком, чтобы молиться: «Господи, спаси и сохрани!»

Люди оказались зажаты между небом, где был враг, которого они жаждали убить, и взбесившейся землей, которая ходила под ними ходуном, не желая их принимать.

После каждого взрыва становилось все меньше тех, кто в страхе ждал следующего. А в ушах остальных между ударами бомб звенели бешеные удары собственных сердец.

Во время короткого затишья, когда звено, отбомбившись, завершало круг, до людей, словно издалека, долетел голос полковника, который командовал, как в манеже на разминке:

— Всем лечь на спину!

Но ни одно из распластанных на животе тел не пошевелилось, ибо в такой ситуации любой человеческий голос мог принадлежать только раненому.

«Так и есть! — подумал младший лейтенант Гальтье. — Полковника все-таки зацепило».

Но тут голос раздался снова:

— Ну и? Никто не желает подчиняться? Мурто! Лечь на спину!

Мурто послушно сделал над собой огромное усилие и, удивляясь, что тело все еще его слушается, повернулся на бок. В ту же секунду он открыл глаза и увидел над собой пикирующий самолет. Он вжался в землю.

— Я сказал: на спину!

Мурто перевернулся окончательно. Один самолет пролетел, другой начал пикировать. Тогда Мурто сказал себе, что вот сейчас и умрет. Но увидел, как самолет вышел из пике, и понял, что на спине помирать ничуть не хуже, чем на животе. А еще он увидел, что на дороге загорелся их автомобиль.

Тем временем его сосед Николя, опершись на локоть, тоже обрел способность видеть и бросил взгляд на Мурто, который смотрел в воздух. И Николя тоже перевернулся на спину. А за ним — и его сосед.

— Друзья, всем перевернуться на спину!

И сразу — кто нерешительно, кто резкими конвульсивными движениями — все в этом вихре огня и металла начали поворачиваться лицом к небу. Ничком остались лежать лишь те, кто уже никогда

не сможет пошевелиться. Это было похоже на круговую волну, медленно расползавшуюся от Мурто. И поле сражения потихоньку привыкало смотреть аду в глаза.

Бойцы увидели подполковника, который стоял очень прямо и нервно постукивал хлыстом по сапогу. Рядом с ним капитан де Навей наблюдал за бомбардировщиками в бинокль. Чуть поодаль, прислонившись к дереву, палил из пистолета адъютант Куэрик, и ни у кого даже мысли не возникло, что старина Куэрик не в себе, раз решил из пистолета подбить самолет.

Младший лейтенант Гальтье поднялся на ноги.

Над деревьями пятнадцать самолетов продолжали свою пляску смерти.

Гальтье, недавно окончивший Школу*, вдруг вспомнил правила и побежал к мотоциклу. Схватив автомат, он судорожно напряг память: «Когда на вас пикирует самолет, стреляйте без учета угла отклонения. Когда пикирует самолет...»

Самолет пикировал. Гальтье прицелился.

«...стреляйте без учета угла отклонения».

Гальтье дал очередь. Самолет все пикировал...

Вдруг Гальтье перестал чувствовать автомат в руках. Он хотел ощупать руки, но рук не было. Страшная тяжесть навалилась на него, и он упал на бок, повторяя: «Когда самолет... без учета угла...»

* Имеется в виду Высшая школа верховой езды в Сомюре.

Мурто, который видел, как стрелял по самолету, а потом упал младший лейтенант, протянул руку и нашупал свой карабин. Николя сделал то же самое, и оба, лежа на спине, принялись стрелять в небо.

— Автоматы к бою! — скомандовал капитан де Навей.

И сразу раздались три автоматные очереди.

— Сынки! Стреляйте! Стреляйте! Только все стреляйте! Верно, Мурто? — снова послышался голос полковника.

Весь яблоневый сад разом зашевелился, начал подниматься, и все эскадронное оружие разом застрочило. Самолеты снизились и опять поднялись, явно озадаченные. Они снова отбомбились и вернулись еще пару раз, но летели уже не так низко. Затем шум моторов раздался уже где-то высоко в небе, и все пять звеньев исчезли.

— Продолжительность воздушной атаки — двадцать семь минут, — объявил полковник, поглядев на часы, словно хронометрировал заезд в конкуре.

В тишине голос его прозвучал оглушающе.

— Прекрасная мысль, господин полковник, заставить всех перевернуться, — сказал капитан де Навей и спрятал бинокль в футляр.

Люди постепенно поднимались. Страх превратил их покрытые пылью, грязью и копотью лица в трагические маски.

Земля вокруг воронок дымилась. Яблоневый сад был устлан цветами, осколками и стонущими тела-

ми. Ветви яблонь смешались на земле с кусками металла, ткани и человеческой плоти. Листья кружились в воздухе, как после бури. На расколотом стволе яблони висел искореженный мотоцикл.

Какой-то обезумевший солдатик вскочил на ноги, так и не успев понять ни того, что выбор уже сделан, ни того, что его товарищ рядом уже никогда не сможет пошевелиться. Он принялся носиться вокруг клубка бесформенного металла, который недавно был мотоциклами.

Треть эскадрона была уничтожена.

Вдруг полковник услышал, что его зовут. К нему ковылял Николя, волоча по земле раненую ногу.

— Господин полковник, господин полковник! Мурто! Там Мурто!

— Мурто? Что Мурто? — И Оврей де Виньоль направился к дереву, на которое указывал Николя.

Мурто лежал, обратив к небу свое грустное детское лицо. Автоматная очередь прочертила на его груди красную полосу, совсем как орденскую цепь.

— Так лучше, чем если бы в спину, — громко произнес полковник, а потом тихо и нежно, словно разговаривал сам с собой, добавил: — Мурто! Ты ведь знаешь, почему я тебя выбрал?

И Мурто, который еще не совсем умер, выдохнул:

— Да, господин полковник...

Ночной патруль

Клоду Дофену

Офицерам было запрещено в одиночку появляться на линии фронта после захода солнца.

Собираясь проверить свои аванпосты, лейтенант Серваль вышел с отдаленной фермы, где располагался боевой отряд сержанта Дерше.

— Черт возьми! Как быстро стемнело, — сказал Серваль.

— Я дам вам двух сопровождающих, господин лейтенант, — ответил сержант.

— Нет, Дерше. Сегодня не надо. Здесь уже три ночи никто не спал. Люди очень устали. Я пойду один.

— Господин лейтенант, это несерьезно. В том углу полно патрулей, — настаивал Дерше.

— Не беспокойтесь, дорогу я знаю. Видимость достаточная, к тому же мой кольт при мне. — И он фамильярно похлопал по кобуре.

Январское небо было черно, но путь освещал мерцающий снег. В бараньей шкуре поверх шине-

ли, Серваль шел по траншее вдоль дороги, чтобы приглушить звук шагов.

«Что такое два километра? — думал он. — Бывало, по четыре хаживали».

Его тяжелые ботинки время от времени отламывали куски обледенелой земли, и тогда он невольно вздрагивал от хруста травы под ногами. Да еще темнота и снег увеличивали расстояние.

«За буком шалаш, за шалашом белый столб, потом поворот...»

Знакомые приметы медленно выплывали из тьмы. Поворот, несомненно, был самой опасной точкой маршрута. Именно здесь не раз возникали боевые столкновения. Серваль остановился, чтобы осмотреться.

Никого.

Он двинулся дальше. На животе, как раз посередине ремня, у него висел кольт в кобуре с расстегнутой крышкой, чтобы в случае чего можно было тут же выхватить.

Серваль очень дорожил этим крупнокалиберным пистолетом, с которым еще его отец воевал в Первую мировую. Хотя, возможно, кольт был и слишком громоздким, и тяжеловатым...

— Человек, которого слегка заденет такая пуля, пусть даже в руку, упадет замертво от боли, — говорил майор Серваль, передавая пистолет сыну. — Бери! Он дважды меня спасал, и оба раза в неприятнейших ситуациях. Носи его все время с собой, как я носил. Это все, что я могу тебе пожелать.

Лейтенант на ходу провел рукой по рифленой ручьятке.

Поворот остался позади. Не было никаких причин ускорять шаг и еще меньше — чувствовать неприятный холодок под ложечкой...

Серваль различил в темноте изгородь, а за ней — полуразрушенную стену, стоявшую перпендикулярно дороге.

Однако, не дойдя до стены нескольких метров, он вдруг бросился на дно траншеи и выхватил пистолет.

Слева неожиданно возник источник света: слабый луч карманного фонарика, который светил очень низко, у самой земли, и проникал повсюду.

Сервалю этого было достаточно.

«Вражеский патруль». Он удивился, потому что услышал свой голос, прошептавший эти два слова, словно предупреждая того, кто шел следом.

Лейтенант прикинул расстояние: метров сто. Патруль его обнаружить не мог, так как после поворота он шел под прикрытием изгороди. Надо отсидеться несколько минут и идти дальше. Если только патруль не...

В темноте загорелся второй огонек, на сей раз гораздо ближе. Патруль опасно продвинулся в его сторону. Сколько же там человек?

Он с трудом различил на снегу, на уровне вырытой траншеи, три неясные тени, которые, пригнувшись, шли гуськом.

Серваль взвел курок и увидел еще один луч фонарика.

Траншея за разрушенной стеной упиралась в дорогу. В этом месте и должен был выйти патруль. Притаившись в траншее, Серваль чувствовал себя невидимкой: так, барабья шкура на снегу...

«В выигрыше будет тот, кто выстрелит первым», — сказал он себе и заранее напрягся, как зверь перед прыжком.

В передвижении теней возникла некоторая заминка, потом патруль снова двинулся вперед и скрылся за стеной.

Теперь лейтенант ждал момента, когда они выйдут на дорогу. Сердце гулко колотилось, но страха не было.

— Одним страшно уже заранее, — любил повторять он друзьям, — а другим — после события. Мне всегда страшно после.

Сейчас он был один против троих, а потому убедил себя, что его позиция выгоднее. Разве что... Разве что у него за спиной может оказаться второй патруль, который обходит стену с другой стороны. Маневр в высшей степени логичный и грамотный. У Серваля возникло острое желание посмотреть назад. Но пошевелиться означало выдать себя. Пришлось только зарыть ботинки поглубже в снег, чтобы не отсвечивали гвозди на подметках.

Метрах в тридцати впереди у дороги снова возникла тень. Серваль прекрасно видел плечи человека и круглую каску горшком.

Тень махнула рукой и скользнула за бруствер траншеи. Две другие последовали за ней.

Теперь патруль двигался по той же траншее, где, затаившись, лежал лейтенант. Ему были слышны тяжелые шаги по снегу.

«Ну все, они у меня в кармане», — подумал он.

О возможности появления второго патруля он уже не думал. Его целиком захватила игра не на жизнь, а на смерть, которая шла между ним и теньями. Серваль знал, что стрелок он отличный, а потому стал прикидывать шансы.

«Их трое. Но у меня в пистолете девять пуль плюс преимущество внезапности».

Со стороны теней послышался какой-то резкий металлический звук. Серваль вздрогнул.

«Идиот! — подумал он совершенно равнодушно, как пожимают плечами, увидев ошибку карточного партнера. — Пусть дойдут до угла стены. Но не раньше! Если выстрелю раньше, то могу их упустить, и они сбегут».

На самом деле лейтенант хорошо видел только первую тень. Остальных он воспринимал фрагментарно: каска, торс, нога...

«Эх, если бы они шли не друг за другом!»

И тут, словно выполняя его пожелание, тени сбились в кучу. Теперь две из них шли по траншее бок о бок.

«Когда дойдут до угла стены... четыре пули на удачу. Потом вскочить — и еще три пули. Вот если бы еще и пленного взять!»

Момент приближался.

«До угла стены...» — твердил себе Серваль, сдерживая нетерпение и начиная целиться из-под левого рукава.

Тиканье часов на левой руке показалось ему оглушительным. Правая, сжимавшая пистолет, судорожно напряглась. Усилием воли он заставил руку расслабиться и поудобнее устроил указательный палец на курке. Еще четыре метра... еще три...

Патруль остановился. Серваль услышал тихий шепот.

Он уже собрался было выстрелить, но тут тени выскочили на дорогу, быстро ее перебежали и прыгнули в противоположную траншею.

Лейтенант подумал, что ситуация изменилась и теперь преимущество не на его стороне. Но, приподнявшись, он понял, что ошибся: патруль молча пошел дальше по другой стороне.

Снова вспыхнул луч фонарика, потом еще раз и больше не загорался. Спины патрульных растворились в снежной мути.

На командный пост лейтенант Серваль вернулся в ярости. Рассказав эту историю, он заявил:

— Я, как идиот, слишком долго ждал, чтобы выстрелить, и упустил их.

— Прекрасное нарушение инструкции! — засмеялся младший лейтенант Дюмонтье.

Несколько дней спустя во дворе столовой офицеры прислонили к стене мишень.

— Это в вашу честь, Серваль,— сказал капитан.— Представьте себе, что вы находитесь возле угла вашей пресловутой стены.

Лейтенант отошел на пятнадцать шагов от мишени, поднял кольт на уровень плеча и начал целиться, медленно опуская пистолет. Послышалось громкое клацанье.

— Ну, дорогуша, такой шум в следующий раз вас точно выдаст,— обернулся Дюмонтье.

Серваль побледнел, рука его задрожала.

— Ну что же вы не стреляете, старина? — спросил капитан.— Что с вами?

— Что со мной, капитан? Я никогда еще не испытывал такого страха после события. У меня осечка.

Вынув нож, он принялся разбирать пистолет. Пружина курка была сломана.

Всадник

Жан-Пьеру де Мез

— Господину маркизу надо бы взять с собой сапоги.

— Вы полагаете, Альбер?

Маркиз де Бурсье де Новуазис был занят составлением завещания. Он сидел за бюро, и его короткие ножки болтались в воздухе, не доставая нескольких сантиметров до пола.

— Ах, эта мобилизация... Как некстати! — заметил он.

— Тем более, — продолжал камердинер, — что господин маркиз, несомненно, не найдет среди казенной обуви сапог своего размера. Кроме того, на плакатах о мобилизации тем, кто явится в своей обуви, обещано возмещение расходов.

— Этого следовало ожидать. А потом... Ах, да! Снимите в галерее саблю с крюка.

— Боевую, господин маркиз?

— Да. Припоминаю, что, когда я служил в полку, полковые сабли были для меня слишком тяже-

лы: И еще, Альбер, не уезжайте, пока. Мой крест... Не забудьте отправить мой крест!

Маркиз де Бурсье был очень мал ростом. Он носил высокие каблуки и взбивал надо лбом расчесанные на прямой пробор курчавые волосы, но ничего не помогало: он все равно выглядел коротышкой.

Он снова принялся редактировать завещание, которое начиналось следующими словами: «Отъезжая в Республиканскую армию, где никто не знает, что может с ним приключиться...»

Согласно завещанию холостого маркиза, все его состояние, «или точнее все, что оставят от него эти мошенники нотариусы», отходило племяннику, виконту де Новуазису. Но можно было предположить, что после уплаты всех долгов виконт не получит ничего.

Маленькая ручка капнула на конверт с завещанием немного сургуча и запечатала его круглой печатью.

— Ах, эта мобилизация... Как некстати! — продолжал сетовать маркиз.

Затем, в своих лучших сапогах, перепоясанный отцовской саблей, он отправился на сборный пункт кавалерийских войск Каркассона*. Маркиз числился младшим офицером резерва. Когда он прибыл,

* Каркассон — один из красивейших городов на юге Франции. В XIII веке, во времена Альбигойских войн, прославился мужественным сопротивлением войску крестоносцев.

его попросили заполнить личную карточку. В графе «фамилия» он написал свою фамилию, в графе «имя» — Урбен Луи Мари, а в графе «вероисповедание» как ни в чем не бывало начертил: «рыцарь Мальтийского ордена».

Это было все, что от него потребовалось в первый день.

Никто не собирался компенсировать ему стоимость сапог, да он особо и не рассчитывал. Однако сделал замечание чисто из принципа: ведь нетрудно догадаться, что все армейские интенданты — мошенники.

В отместку, хотя он и заявил, что обеспечит себя оружием, ему навязали тяжелую, неудобную саблю.

Спустя два дня его остановил во дворе казармы краснолицый комендант:

— Скажите, друг мой, вы принадлежали к «Кадр нуар»?*

— Нет, господин комендант.

— Вы бывший спаги?**

— Нет, господин комендант.

— Тогда почему вы носите золотые шпоры?

— Я имею право, господин комендант. Я рыцарь Мальтийского ордена.

— А, так это вы написали в графе «вероисповедание»: «рыцарь Мальтийского ордена»? Сожа-

* «Кадр нуар» — элитное подразделение кавалерийских войск, выпускники знаменитой на весь мир Высшей школы верховой езды в Сомюре.

** Спаги — солдат французской конной или танковой части в Африке.

лею, месье, но Мальтийский орден не принадлежит к военным орденам.

— Прошу прощения, господин комендант, но Мальтийский орден, напротив, принадлежит к военным религиозным орденам...

— Да, если вам угодно. Может, он когда-то и был военным, но теперь, по-моему, все-таки стал гражданским. Не хочу вникать во все эти тонкости, но будьте так любезны надеть никелированные шпоры. Как все.

Маркиз де Бурсье не стал объяснять этому тупице, который был выше его по званию, что, когда его производили в рыцари «именем недреманного миротворца святого Георгия и в честь рыцарства», ему вручили золотые шпоры, поскольку золото является «тем металлом, коий способен символизировать собой честь».

Маркиз мог бы процитировать еще строк пятьдесят из старинных текстов, но посчитал это неуместным для человека, стоящего по стойке «смирно».

Шпоры он поменял, но в доказательство того, что остался верен ордену, прицепил к гимнастерке мальтийский крест.

Крест этот вызвал в гарнизоне некоторое смущение. В первый раз, когда сержант де Бурсье проходил через караульное помещение, караул ему отсалютовал. И потом неоднократно, когда он появлялся в городе, особенно в вечернее время, старшие офицеры, увидев белый крест на его груди, на всякий случай отдавали ему честь.

На сборном пункте ходили слухи, что он когда-то служил в иностранной армии, и офицеры избегали к нему обращаться, ибо неловко делать замечания человеку, у которого на груди приколот символ дворянства в шестнадцатом поколении.

Тем не менее однажды его вызвал к себе капитан д'Акенвиль:

— Послушайте, Бурсье, а не могли бы вы носить просто ленту... для декора... Как все мы носим?

— Господин капитан, — ответил маркиз. — Я рыцарь по рождению и по призванию, и только мой крест...

— Да, понимаю, — перебил его капитан, — но уверяю вас, Бурсье, здесь это довольно-таки нелепо.

— Господин капитан, мне удивительно слышать подобные слова из ваших уст!

— Бурсье, делайте, что вам говорят. Видите ли, сейчас мальтийские рыцари... несколько устарели.

— Месье, обижая меня, вы оскорбляете орден Святого Иоанна Иерусалимского.

— О, если вы позволяете себе такой тон... то должен вам напомнить, что здесь вы не в командорстве, а в казарме!

— Месье, здесь я среди сброда!

— Месье, вы получите пятнадцать суток ареста!

— Месье, я пришлю вам секундантов!

Дело уладил полковник. Ни до дуэли, ни до ареста не дошло, и маркиза определили в канцелярию. По прошествии некоторого времени он заявил, что

приехал воевать, а не возиться с никчемными бумажками.

Тогда его внесли в список первого же отбывающего на фронт эскадрона.

«Да, похоже, я выбрал не лучшее время для подачи рапорта», — подумал Бурсье, узнав, что попал под начало капитана д'Акенвиля.

Капитан воздержался от замечаний по поводу мальтийского креста. Он ограничился тем, что выделил сержанту Бурсье самую крупную лошадь в эскадроне.

Маркиз был отличным наездником, но всякий раз, как он садился на коня, его надо было подсаживать, как даму, что неизменно вызывало улыбки. Но он не обращал на это никакого внимания, ибо такой способ посадки в седло считался для аристократа в порядке вещей.

В первых же сражениях сержант Бурсье де Новуазис поразил весь эскадрон. Он всегда последним слезал с лошади, на случай если сразу дадут команду «В седло!»: ему не хотелось всякий раз испытывать трудности при посадке. Когда же он наконец оказывался на земле, то немедленно начинал отцеплять от седла саблю, с которой никогда не расставался.

— Бурсье, что вы там возитесь со своей зубочисткой? — кричал капитан, а взводы тем временем занимали позиции, и слышалось клацанье автоматов.

Бурсье не отвечал и продолжал не спеша заниматься своим делом — с высоко поднятой головой, в сдвинутой назад каске, с белым мальтийским крестом на груди и саблей, эфес которой доходил ему до подмышки. Он никогда не снимал перчаток, обращался к однополчанам только на «вы» и никогда не выполнял команды «Ложись!», даже при самых жесточайших бомбардировках. Только однажды он пригнулся, сделав вид, что счищает грязь с сапога. Но он был на удивление везучим. Когда ему об этом говорили, он только плечами пожимал. В сущности, война его мало интересовала.

— Никогда не знаешь, кого убьешь, и никогда не знаешь, кто убьет тебя, — говорил он. — Снаряды получают от дьявола. Враг может быть сверху, сбоку или сзади, и мне очень хотелось бы знать, кто нынче сможет умереть, оказавшись лицом к лицу с врагом.

Однажды вечером уже изрядно потрепанный отступающий эскадрон занял позицию в заброшенной деревне. Все двери и окна в домах были распахнуты. Солнце садилось, и красные закатные лучи отражались в стеклах и освещали беспорядок внутри. Мебель валялась как попало. Видно, ее не смогли вывезти. Наверное, чем бедней были дома, тем позже покидали их хозяева. Посланные вперед разведчики ничего подозрительного не обнаружили.

Когда же капитан с группой командиров выехали на главную деревенскую площадь, их обстре-

ляли из пулемета, и двое всадников были тяжело ранены. Сразу же прочесали всю деревню, обследовав каждую улочку. На всякий случай дали очередь по подвалам, но ответных выстрелов не последовало. Везде было пусто. Капитан снова выехал на главную площадь возле церкви. Никого. И капитан отдал приказ обустраиваться в деревне.

— Не будем терять время из-за одного мерзавца, который наверняка уже убрался.

В этот момент по мостовой снова полоснула пулеметная очередь, едва не задев одного из старших офицеров. Капитан и те, кто его окружал, прижались к стене церкви под козырьком бокового входа.

— Не стойте там, капитан! — крикнул кто-то из бойцов. — Похоже, стреляют из дома священника!

Дом священника окружили, оцепили и обшарили от подвала до чердака. В окнах появились те, кто проверял дом, и просигналили, что там никого нет. Однако третья пулеметная очередь покрыла фасад дома звездочками сколов.

— Не слишком умно! — снова крикнули из рядов. — Непонятно, где прячется этот тип, но он еще тот наглец! Нужно его обязательно найти!

И бойцы, и капитан уже начали нервничать: опорный пункт могли атаковать с минуты на минуту. Разведка засекла вражеский мотоцикл, который вскоре исчез. Видимо, стычка была неизбежна. И во время боя не хватало только этого загадочного стрелка посреди деревни, как раз на пересечении трех главных дорог! Он не позволит нала-

дить связь, создаст кучу проблем и будет вносить сумятицу там, где необходимо спокойствие.

— Ах ты, негодяй! — вскричал вдруг сержант де Бурсье, который, объезжая церковь, тоже попал под пулеметный огонь.

Он галопом пересек площадь и все не мог успокоиться.

— Вот негодяй! — повторял он.

— Как вы, Бурсье? Вас не задело? — спросил капитан.

— Нет, господин капитан, спасибо. Но я вычислил нашего стрелка. Он засел в церкви и стреляет с клироса!

— Вы уверены? Трудно же будет его снять!

Капитан д'Акенвиль внимательно разглядывал старую приземистую деревенскую церковь с готическими абсидами и темными узкими окнами. Окна разделяли мощные каменные контрфорсы.

Стрелок обнаруживал себя то справа, то слева за этими амбразурами, видимо скрываясь в бесчисленных церковных закутках. Если его удастся оттуда выкурить, он наверняка залезет на колокольню.

Капитану д'Акенвилю не хотел понапрасну рисковать людьми, но, с другой стороны, патронов, чтобы палить по камням наугад, у него тоже не было.

— Эх, сюда бы пару гранат! — воскликнул он.

Надо наконец решиться и войти в церковь. Всадники переглянулись. Смелости им было не зани-

мать, и они не раз это доказывали. Но сражаться в храме, стрелять среди свечей, распятий и скамеек для молитвы... Наверное, стрелок, прятавшийся на клиросе, располагал целым ящиком патронов.

— Господин капитан, позвольте мне уладить это дело, — выступил вперед Бурсье.

— Что вы намерены предпринять?

— Я мальтийский рыцарь, господин капитан.

— Ну и что?

— Что? Я имею право въезжать в церковь на лошади, господин капитан!

И, не дожидаясь ответа, маркиз подозвал двоих людей, поставил их у створок церковных ворот и велел открыть их по его команде. Потом, гарцуя перед оторопевшим эскадроном, застегнул перчатки и вытащил саблю из ножен.

Низко висящее у горизонта красное солнце светило ему в спину, озаряя ворота и вспыхивая на лезвии сабли.

— Открывайте! — крикнул Бурсье и пустил лошадь в галоп.

На стороне маркиза были внезапность и яркое солнце. И потом, ему всегда везло...

Человек с автоматом ожидал чего угодно, только не всадника, несущегося на него с саблей наголо в лучах ослепительного света. От страха он метнулся за алтарь, растянулся на ступеньках и выронил оружие.

Фактор внезапности действует секунды три. За эти три секунды лежащий на ступеньках стрелок

успел налюбоваться огромным красным солнцем между конскими копытами, топтавшими плиты пола. Он успел даже подняться, подхватить автомат и положить палец на спусковой крючок. А вот выстрелить не успел, потому что сабля вонзилась ему в самую середину груди.

Маркиз поднял глаза и увидел перед собой в нише каменного святого Георгия — при шпорах, с копьем, нацеленным на змея.

И тогда он понял, откуда шла к нему удача. Он спешился и преклонил колена.

На коня Бурсье сел сам, с церковной скамьи.

Выехал он шагом, и на груди у него красновато поблескивал в лучах закатного сердца мальтийский крест.

Сержант де Бурсье де Новуазис, рыцарь по рождению и по призванию, отсалютовав капитану, вытер клинок о листву растущего рядом вяза.

Белокурая девушка

Антуану де Таверносту

Когда их выгрузили из санитарной машины, уже наступила ночь. Гортанный язык, который звучал вокруг и из которого они не понимали ни слова, поддерживал чувство нереальности происходящего. Оно возникло, когда горячие полосы пуль прощипали их бедра, земля ринулась им навстречу и они разом погрузились во тьму, едва успев подумать: «Ну все, крышка!»

А потом несвязные образы начали складываться в смутные картины, словно нанесенные пунктиром, как дороги на военных картах: это было их далекое прошлое, прошлое тех, кто стал бесплотным, а когда-то был крепким и здоровым. Всех раненых роднит чувство надежды, не исчезающее даже при виде палача. Перед ними проплывали неприветливые лица военных санитаров во вражеской форме, агонизирующие тела, привезенные с передовой, загипсованные руки и ноги. Странно холодили смоченные эфиром маски, странно безболез-

ненно орудовал над человеческой плотью хирургический скальпель. В передвижных медпунктах они ничего не могли разглядеть, кроме лампочек на потолке. От покрытых клеенкой тряских каталок болели затылки. Кругом царил запах формалина, эфира и грязного белья. Полумрак медицинского грузовичка пронизывали только вспышки боли. А в конце пути их ждали наскоро побеленная палата, где их положили рядом, и пышногрудая медсестра.

Из восьми раненых только двое были раньше знакомы друг с другом, и оказалось, что они служили в одном полку.

Они называли имена офицеров и то и дело восклицали:

— А! Этот длинный брюнет, ну и сволочью же он оказался!

И между ними крепла благотворная иллюзорная дружба. Фейеруа и Лувьель изо всех сил старались поверить, что они частенько сталкивались во дворе казармы, у стойки быстро и даже в борделе.

— Так это ты заставил меня как-то вернуться в комнату, когда я заступил в караул, потому что у меня шинель была не почищена?

— Вполне возможно. И правда, что-то припоминаю...

— Ну просто умора!

Фейеруа подорвался на mine, и ему оторвало ногу. Кость на ноге раскрылась, как цветок лилии. Он занимал первую койку у окна, занавешенного черной шторой.

Толстяк Лувьель лежал неподвижно, вытянувшись: его грудь, шея и голова были закованы в гипс, и он очень досадовал, что от Фейеруа его отделяет еще один раненый — Ренодье. У того взрывом бомбы снесло всю верхнюю часть лица. Ренодье пока не догадывался, что ослеп, и ему все казалось, что волосы по недосмотру попали под повязку и лезут в глаза.

— Да уж, куда как смешно: оказаться в палате, которая непонятно где, — сказал Мазаргэ, занимавший шестую койку.

Как называется город, какой формы здание, где они находятся, да и вообще: в городе они или в замке, оборудованном под госпиталь, с красным крестом над крышей? Похоже, так и было, ибо городской шум долетал до них словно издалека.

— Как бы там ни было, ребята, а сестричку вы видели? Грудь как балюстрада, а сама страшная... Я бы...

И он завершил фразу хлестким похабным словом. Мазаргэ был южанином с блестящими глазами и оттопыренными ушами. Из его бедер и ягодиц извлекли с поддюжины осколков, и это ранение вызвало у него постоянный невыносимый приапизм.

Свет приглушили, и те, кто мог, уснули. Остальные же качались на волнах мучительного полусна.

Фейеруа долго разглядывал оконную штору из плотной черной ткани, похожую на занавеску в церковной исповедальне. В молочно-белом обводе ра-

мы штора казалась замаскированным входом в царство мертвых. Фейеруа мучили фантомные боли в оторванной части ноги, а Мазаргэ с трудом сдерживал стоны при малейшем прикосновении к рубашке.

На следующее утро та же медсестра, с грудями как дыни, вошла в палату и подняла штору.

Комнату сразу залил солнечный свет, и раненые тут же почувствовали, какой скверный запах у них в палате.

Опершись на ладони, Фейеруа попытался приподняться на койке и скорчил благодетную физиономию.

— Эй, Фейеруа, как там снаружи? — раздался голос Лувьеля из гипсовой кирасы.

— Снаружи? — протер глаза Фейеруа.

— Ох уж эти волосы, все время волосы на лице, — пробормотал Ренодье, у которого из-под повязки виднелся только рот. — Тому, кто может смотреть, повезло: его поместили возле окна. Но надеюсь, что через несколько дней тоже смогу...

В палате повисло тягостное молчание, и Фейеруа, повернув голову к окну, сказал:

— Снаружи не так уж плохо. Грех жаловаться: мы не в самом захудалом углу. Тут есть маленький садик, за ним улица, а потом еще дома.

Он продолжил описывать пейзаж: дома низкие, кирпичные. По улице идет старик и на ходу читает журнал. Служащие расходятся по конторам.

Раненые, притихнув, внимательно слушали Фейеруа.

Стекла задрожали от шума мотора.

— Это проехал большой военный грузовик, а на нем парни с ружьями, — пояснил Фейеруа.

— А женщины, какие женщины на улице? — спросил Мазаргэ.

Фейеруа коротко рассмеялся, обнажив красивые белые зубы.

— Абсолютно не из-за чего переживать, мой мальчик, — ответил он. — Уверю тебя, ни одной хорошенькой мордашки.

— Да мне наплевать, хорошенькие они или нет, — отозвался Мазаргэ. — Мне не мордашку, а попку надо. Задницу мне, слышишь, задницу!

— Это ты за неимением своей... в порядке компенсации, — сказал Лувель.

— Знаешь, ты тут не один такой, кому хочется, — прозвучал низкий бас с последней койки, — только мы из этого не делаем истории.

Фейеруа завернулся в одеяло, потом снова сел, посмотрел в окно и вдруг крикнул:

— Ого! Наконец-то красивая девушка!

— Правда? — удивился Мозаргэ. — А какая она?

— Блондинка, с косой, закрученной сзади в узел. И... ух, какая хорошенькая!

В этот момент вошел врач с обходом. Языковой барьер не давал ему возможности общаться с ранеными, и он был похож на ветеринара, который спрашивает пальцами и от пальцев же получает ответ. Медсестра, слушая его указания, кивала головой. Когда врач обследовал рану обитателя последней койки, у которого из живота торчала двенадцать

тисантиметровая дренажная трубка, тот глухо застонал сквозь сжатые зубы.

— Не хотелось орать перед этими гадами, — проворчал раненый, когда ему сменили повязку.

— Гады или не гады, но надо признать, что нас-то они все-таки лечат, — отозвался другой.

— Ну что за паскудство! — воскликнул Лувьель. — Они сделали все, чтобы разорвать нас на куски, а потом, после всего...

— Вот уж действительно: человечество — сборище идиотов! — назидательно пробасил парень с дренажом.

Утро прошло без приключений, но после полудня Фейеруа снова сообщил:

— Глядите-ка, опять та самая утренняя блондинка! Смотрит в нашу сторону.

И он приветственно махнул рукой и улыбнулся.

— Вот шалава, она нарочно повернула голову, — бросил Фейеруа, растягиваясь на койке.

Еще часа через два он снова объявил, что блондинка прошла мимо, но глаз не подняла.

— Думаю, это машинистка, — доверительно шепнул Фейеруа Лувьелю.

В шесть часов она появилась снова, и на этот раз Фейеруа торжествующе всех уверял, что она долго смотрела на их окно.

У него потребовали более детального описания: какова грудь, бока, бедра?

— Щиколотки? А вот на щиколотки я как-то внимания не обратил.

— Хорошие места в палате всегда достаются одним и тем же, — с досадой бросил Лувель.

Ночь погружала обитателей палаты в тревожное оцепенение, а по утрам открывалась штора, и они опять обретали надежду. Шли дни, и постепенно на ритм больничной жизни, с ее измерением температуры, обходами, перевязками и кормежками, наложился совсем иной ритм, словно установилось другое время, в котором стрелка на циферблате подчинялась четырем ежедневным проходам блондинки под окнами палаты.

— Фейеруа, ты влюбился, — говорили ему.

— Да нет, вы что! Не видите, я же шучу.

Но остальные семеро тоже влюбились. Интрига, развивавшаяся за оконным стеклом, стала их достоянием. Им казалось, что они здесь уже целую вечность, и белокурая девушка проходила под окнами тысячи раз.

Их ничего больше не интересовало. Если Фейеруа случалось задремать среди дня, всегда находился кто-нибудь, кто кричал бы ему:

— Эй, Фей, скажи-ка, может, уже пора?

Все знали, что до войны Фейеруа был портным.

— Ох, и оденешь ты свою блондинку!

А Фейеруа думал: «Интересно, как же я сяду за свой портновский стол без ноги?»

Мазаргэ изнемогал. Он умирал от желания, ревности и уязвленной гордости и был готов на предательство. Он молил Бога, чтобы выйти из госпиталя раньше Фейеруа.

«И как, интересно, он будет выглядеть на своих костылях?» А у него, Мазаргэ, только бедро чуть-чуть не гнется, зато плечи — во! — и вид нахальный и победоносный. Уж он-то пройдет по городу, так пройдет!

Чтобы привлечь внимание к своей персоне, он без конца рассказывал всякие похабные небылицы. Но ему обычно бросали: «Заткнись, Мазаргэ!» — особенно если он начинал впутывать в свои приключения блондинку.

— Жаль, что ты не знаешь их чертова наречия, — заметил как-то Лувьель. — А то написал бы ей всякие нежные слова на большом листе бумаги, а потом отослал бы.

Тогда Фейеруа пришла мысль вырезать сердечко из старой увольнительной и приложить его к стеклу.

Наутро отекавшее лицо Фейеруа осветила широкая улыбка.

— Она приколола на платье брошку в форме сердечка, — заявил он.

— А какое у нее платье?

— В зеленый цветочек.

Прошло еще два дня. И утром Фейеруа, к которому начали, по обыкновению, приставать с вопросами, сказал:

— Сегодня она не проходила.

Это был тот самый день, когда врач, ощупав ногу Фейеруа над культей, покачал головой, внима-

тельно посмотрел на его температурный лист и сделал сестре знак глазами: «Ну, что я говорю!»

В тот же вечер Фейеруа, взглянув в сторону окна, прошептал:

— Ничего смешного в этом нет.

— В чем? — спросил толстяк Лувбель.

Фейеруа не ответил.

— Так что, сегодня вечером ты ее не видел? — настаивал Лувбель.

— Видел... Она проходила с другим...

— Так, может, это был ее брат!

— Да пошел ты! Все они шлюхи! — сказал Мазаргэ. — Им не сердечко в окне надо показывать, а...

— Заткнись, Мазаргэ! — крикнул парень с дремажом.

В палате воцарилось траурное настроение.

«Если у нее есть парень, это нормально, — думал Лувбель. — Но ведь могла же она хотя бы не ходить с ним так вызывающе под нашими окнами?»

Ночью Фейеруа сильно стонал, а утром так и не вышел из оцепенения, ни разу даже не посмотрев в окно. Палата с пониманием отнеслась к его печали.

А вечером, к удивлению всех, кроме врача, он взял и умер.

Тело его увезли, а койку застелили чистым бельем.

Мазаргэ подозревал медсестру с огромным бюстом и жестами объяснил ей, что хотел бы занять место Фейеруа.

Сестричка явно симпатизировала Мазаргэ, и он перебрался на другую койку.

Всю ночь он не сомкнул глаз. Волны воображения захлестывали его зелеными цветочками, белокурыми косами и розовым телом, чуть присыпанным веснушками.

И как раз, когда Мазаргэ наконец задремал, появилась сестра и подняла штору.

Он сразу проснулся и приник к окну, упершись лбом в стекло, как вопросительный знак.

— Черт! — крикнул он вдруг, упав обратно на подушку.

— Ты чего? Что случилось? Тебе плохо? — галдели раненые.

Мазаргэ изо всех сил пытался вернуть утраченное самообладание.

— Ну да, ясное дело, я с самого начала не сомневался, что Фейеруа нас просто обвел вокруг пальца, — сказал он. — Мне надо было самому убедиться.

По ту сторону окна не было ничего, кроме серой стены и нескольких мусорных куч.

И тогда Лувьель, закованный в белый гипсовый шишак, вдруг почувствовал на лице глупую сырость нежданных слез.

Апоплексический удар

Фредди Шовело

«Вас интересует, отчего умер Ла Марвиньер? — спросил наш приятель Магнан. — Не знаю. Он умер мгновенно, у меня на глазах, в тот вечер, когда объявили перемирие. Я не врач и не берусь вникать в причины, но мне кажется, он был сердечником. Он сам говорил. Необыкновенный был человек. Я и видел-то его всего два-три раза, но не забуду никогда.

Первый раз мы встретились в Нормандии, в низовьях Сены, в маленькой деревушке под названием Рейенвиль. Я приехал за донесениями связных и справился о нем. Мне ответили:

— Полковник Ла Марвиньер? Вы найдете его на генеральском командном пункте. Сами увидите. Высокий такой, худой и очень бледный.

Дивизионный командный пункт находился в доме священника. Можете себе представить: накануне его установили, а на следующий день уже сворачивают, и в саду кюре без конца трещат мотоциклетные моторы... Я вошел. Генерал был у себя: он

изучал карту, а вокруг него столпились человек шесть старших офицеров. Он обвел красным карандашом широкий круг на карте. Младший офицер быстро строчил на пишущей машинке, отбивая себе пальцы; взад-вперед сновали дневальные. В углу, прислонившись к стене, одиноко стоял высоченный, какой-то нескончаемый человек с пятью нашивками на пилотке и рассеянно смотрел в пространство. Это был Ла Марвиньер. Он опирался на высокую, как у Людовика Четырнадцатого, трость, которая оканчивалась какой-то странной кожаной насадкой, видимо предназначавшейся для измерения, а вот чего, я не знал. Вид у него был скучающий. Похоже, все, что происходило вокруг, его не интересовало.

— Приветствую вас, — сказал он, прикладывая два пальца к пилотке. — Что это вы там принесли?

Пока он читал, я успел его разглядеть. Поистине, такого необычного лица я еще не видел. Крупное, удлиненное, со сломанным, вдавленным внутрь носом и огромными, навывкате, голубыми глазами, которые выползали из глазниц, как улитки. Моранж сказал как-то: “Когда Ла Марвиньер сидит за столом, все опасаются, как бы его глаза не упали в тарелку”. Мало того, на щеках, на висках — повсюду виднелись шрамы, а цвет лица отличался неестественной бледностью. Такими бледными становятся годам к двенадцати анемичные дети.

— Вы что-нибудь ели, старина? — спросил он меня. — Нет? Тогда идемте со мной, я приглашаю.

Я больше не нужен, господин генерал? Можно идти? Мое почтение!

И он откланялся. Едва мы вышли из командного пункта, как началась бомбардировка. Над нами пикировали, поднимались и снова пикировали самолеты, дом дрожал. В деревне были брошены в беспорядке сотни две автомобилей. Метрах в тридцати от нас горел грузовик. Началась паника, и люди попадали ничком на землю. А Ла Марвиньер стоял у обвалившейся стенки, опираясь, по обыкновению, на трость, и ждал, когда все кончится. Каска так и осталась висеть у него на поясе. Очень неловко находиться рядом с полковником, который стоит во весь рост, когда тебе самому хочется вжаться в землю, распластаться, как все, и стать незаметным. Когда он слышал свист бомбы слишком близко, то слегка втягивал голову в плечи, а потом, уже после взрыва, снова принимался глядеть в небо. Вдруг сквозь грохот до меня донеслось:

— Да ложитесь же вы, старина! Я — другое дело. Я предпочитаю стоять прямо, потому что... я сердечник.

Бомбежка длилась минут десять — двенадцать. Наконец проснулась зенитная артиллерия, и самолеты убрались восвояси. Люди начали подниматься с земли. Один из них бежал мимо нас, крича как одержимый. Полковник остановил его тростью:

— Ну что? Худо пришлось? А я, как видишь, никогда не бегаю и до сих пор жив.

И кривая усмешка приподняла его редкие рыжеватые усики. А совершенно потерявший голову солдат кричал:

— Но, господин полковник! Вон, посмотрите! Это они сбросили!

В нескольких шагах от нас, за низкой стенкой, лежала неразорвавшаяся мина. Она устроилась в траве, как молодой кабанчик, разве что хвост был стальной и чуть длиннее. Трава вокруг еще дымилась. Вместо того чтобы отскочить, мой Ла Марвиньер подошел, провел рукой по стенке и начал придвигать к мине кожаный наконечник трости, приговаривая:

— Любопытно! Любопытно!

— Думаю, мы с вами еще легко отделались, господин полковник, — заметил я.

Он бросил “да!” и продолжал свое занятие. Потом, все так же улыбаясь уголком рта, спросил:

— Наверное, лучше ее не трогать, а? Кажется, бывают такие, которые взрываются с запозданием... Что вы об этом думаете?

Я с удивлением заметил, что солдат просто остолбенел. Он, прерывисто сопя, следил за движением полковника, но больше не орал. Он успокоился».

Магнан помолчал, закурил сигарету и продолжал:

«Да, замечательный был человек. Это словами не передать, можно только почувствовать. Повели-

тель! После налета мы уселись в автомобиле. У него была превосходная машина с флажком подразделения. Сначала он объехал все свои эскадроны, чтобы оценить урон от налета. А потом мы вошли в дом, где он устроил столовую. В одном из окон вылетело стекло, но стол был тщательно сервирован, тут же находился ординарец, одетый в белую куртку метрдотеля. Я не удержался и спросил:

— Давно вы здесь, господин полковник?

— Здесь? Мы прибыли нынче утром. А, это вас, наверное, удивила куртка Топара? Я считаю, что так надо. Видите ли, дорогуша, не понимаю, почему, если война, то надо полностью отказываться от своих привычек. Если есть возможность... Как вы полагаете? И потом, это поддерживает моральные устои войска. И он такой миляга, этот Топар: он готовит мне ванну, он знает все мои причуды. Топар! Капитаны уже обедали?

— Да, господин полковник.

— Прекрасно, подавай на стол.

За обедом — а это был настоящий обед, какого я давно уже не помнил, с отменным бордо, извлеченным из багажника, — Ла Марвиньер, заметив, что я разглядываю его с нескрываемым любопытством, сказал:

— Вы думаете, у меня не все в порядке с головой?

— Вовсе нет, господин полковник!

— А вы не стесняйтесь, говорите начистоту! Видите ли, моя бедная матушка наградила меня внеш-

ностью хоть и не такой уж приятной, но вполне сносной. Если бы она сейчас с небес могла видеть, во что я превратил свою физиономию! Нос, к примеру, — результат падения в конкуре. Моя лошадь получила эмболию*, когда брала высокий барьер, и упала замертво. А это... — он показал на глубокий, как дыра, шрам на нижней челюсти, — след от пики одного улана в четырнадцатом году. Представьте себе, я-то был вооружен саблей! О, я занятный старичок! А вот это... — он потрогал розовое безволосое пятно над виском, — это меня задела пуля в Марокко. Остальное уже не так интересно, хотя я смело могу утверждать, что все воспоминания начертаны у меня на голове.

Он говорил, почти накрывая веками свои огромные глаза, нависающие над впадиной на месте носа. Обед подошел к концу...

— До свидания, господин полковник!

— До свидания, дружок!

И я уехал.

Восемью днями позже, как раз в пик сезонного спада воды в реке, меня послали с приказом к Ла Марвиньеру, занимавшему вместе с оставшимися в живых бойцами своих подразделений позицию в поле. Они стояли недалеко: километрах в пятнадцати — двадцати. Согласно приказу, полковнику

* Эмболия — мгновенное нарушение проходимости кровеносного сосуда. Чаще всего причиной эмболии становится тромб.

надлежало как можно скорее переправиться через Луару. Дорога была спокойной, машин не попадалось, только несколько маленьких заплутавших групп спешили на юг догонять своих. И больше никого, разве что мычащие в поле недоенные коровы. Но мне вовсе не хотелось, чтобы меня за первым же поворотом как кролика схватили за шиворот. Наконец слева я услышал стрельбу.

“Ага, значит, Ла Марвиньер должен быть где-то здесь”. И верно: я подъезжал к деревне.

— Полковник? Он там, на ферме.

Еду на ферму, и что же я вижу? Посреди двора в большой лохани сидит Ла Марвиньер и принимает ванну. Рядом с ним на стуле висят брюки и гимнастерка, тут же прислонена трость Людовика Четырнадцатого, а напротив стоит ординарец с зеркалом. И Ла Марвиньер спокойно бреется. Потом я понял, что это был ритуал: он каждый день обязательно принимал ванну. Поэтому первоочередная забота ординарца на новом месте состояла в том, чтобы найти емкость, в которую полковник поместился бы целиком. Задача не из легких, если учесть его немалый рост. В то утро он встретил меня такими словами:

— А! Рад вас видеть! Я всегда спрашиваю себя, что случилось с теми людьми, с которыми я обедал? Назовите-ка ваше имя. Да! Магнан! Так оно и есть. Что там у вас на этот раз?

И он протянул мне свою огромную мертвенно-бледную ручищу.

— Приказ об отступлении, господин полковник.

— Об отступлении? Но я только и делаю, что отступаю. И куда, по-вашему, я должен отступать? Нас атаковали со всех сторон и, похоже, собираются уничтожить. Куда отступать?

— За Луару, господин полковник.

— Какое же это отступление? Это уже бегство!

— Приказ срочный, господин полковник. Мосты будут взрывать.

— Ладно, это мы еще посмотрим... Но не могу же я отступать с небритой щекой!

И он снова принялся бриться, старательно подравнивая линию усов. Этот человек обладал способностью заражать своим спокойствием. Однако я слышал, что стреляют уже все ближе. В этот момент появился младший офицер.

— Господин полковник, здесь скоро будет жарко. Меня послал к вам капитан Дюшмен.

— Прекрасно! — сказал Ла Марвиньер. — Передайте капитану, чтобы он держал меня в курсе. Скоро буду.

Я думал, он сразу вылезет из своей бадьи. Ничуть не бывало!

— И велите поднести мне ящик с гранатами. Так, чтобы я мог достать рукой. — Тут он обернулся ко мне: — Меры предосторожности никогда не помешают. Я всегда остерегаюсь неожиданностей. И потом, я ведь вам уже говорил, что я...

— Сердечник, господин полковник? — улыбнулся я.

— Совершенно верно! Не смейтесь. Любопытно, что никто не желает в это поверить. Топар! Салфетку... — Он вытер руки. — Карту...

У него была только карта Мишлена, и хорошо, что была.

— Так! А теперь, Магнан, вы мне окажете небольшую услугу. Подойдите-ка!

Я наклонился к его голому плечу.

— Я буду отступать вот здесь, по мосту Б. Не будете ли вы так любезны попросить не взрывать мост до... Который теперь час? Десять? До половины первого. Идет? Езжайте тотчас же. Спасибо, старина. До скорого.

Пули уже цокали о землю совсем близко. А он снова окунулся в бадью:

— Еще минут пять. Сегодня такая жара...»

Магнан произвольно заговорил голосом полковника, потом продолжил уже своим голосом:

«Сознаюсь, я уезжал с сожалением. Я дорого бы дал, чтобы увидеть, как Ла Марвиньер, выпрямившись во весь свой огромный рост, швыряет в неприятеля гранаты.

Конечно, в половине первого он к мосту не подошел. В три часа охрана получила приказ взорвать мост. И с этого момента мы мысленно занесли Ла Марвиньера в списки погибших. Все о нем сожалели и говорили, что он хоть и был совершенно чокнутый, но...

— Если бы все вели себя так, как он!

Однако двадцать пятого июня... — Магнан слегка помолчал и тихо заговорил: — Господи, какой был прекрасный день! Вы не поверите... Итак, двадцать пятого июня, проезжая маленький городок на севере Дордони, я узнал, что Ла Марвиньер находится там. Я застал его в доме нотариуса. На дверях висела табличка “Командный пункт полковника”, с цветами его герба, стоял часовой, на месте был дневальный — словом, все, как положено. Невозмутимый Ла Марвиньер со своей неизменной тростью восседал на стуле времен Генриха Второго.

Первыми моими словами были:

— Господин полковник, что с вами тогда случилось?

— Что со мной случилось? Ничего. Мы переправились вечером на лодках, а потом... Меня словно все забыли, и вот я теперь воюю в одиночку. Но я уверен, что теперь...

— Теперь, господин полковник, дела идут не лучшим образом.

Он пожал плечами, как будто ему это было безразлично.

Мы еще несколько минут поговорили, и я уже собрался было спросить, пришлось ли ему воспользоваться теми гранатами. Вдруг влетел сияющий, запыхавшийся солдат и крикнул:

— Господин полковник, господин полковник! Объявили! Перемирие объявили!

Этот дурачок улыбался, словно перемирие означало конец войны, а полковник должен быть счастливым, услышав новость.

Ла Марвиньер никак не отреагировал. Он, правда, тихо сказал:

— Хорошо, дружок, хорошо. Спасибо, можешь идти.

На его лице тоже появилось слабое подобие улыбки. Мы остались одни, и он сказал:

— Ну вот...

Потом замолчал, глядя прямо перед собой. И вдруг я увидел, что этот человек, всегда такой бледный, стал багроветь. Сначала шея, потом подбородок, потом щеки и лоб, и с каждой секундой он багровел все сильнее. Увиденное мною зрелище описанию не поддается. Сам полковник, казалось, не замечал того, что с ним происходит. Тем временем лицо его до самого лба приобрело уже малиновый оттенок. Я сказал:

— Господин полковник, может, стакан воды?

— Да, стакан воды...

Я вышел, отыскал кухню, а когда вернулся со стаканом воды в руке, Ла Марвиньер сидел на стуле, свесив голову между колен. Я приподнял его и крикнул:

— Господин полковник, господин полковник!

Ему не хватало воздуха, и он меня уже не видел. Еле слышно он прошептал:

— О! Когда-нибудь это должно было случиться...

Я так и не понял, говорил он о перемирии или о смерти. Голова его упала, и все было кончено...»

Магнан помолчал, смял сигарету и произнес:

— Говорю вам, другого объяснения у меня нет. У него было слишком слабое сердце...

Марсель, 1941

Поезд 12 ноября, или Ночной обзор



От издателя

Эти страницы были написаны в Англии в 1943 году для английской публики. Автор, посылая их Луи Арагону по случаю годовщины основания Национального комитета писателей, сопроводил их письмом, которое мы считаем уместным привести здесь:

Дорогой Луи.

Это не рассказ, это не очерк, по-настоящему это даже не документ. Я не знаю, как это назвать. Этот текст был написан двадцать два года назад близ Лондона, в той же маленькой гостинице, где мы с Кеселем написали «Песнь партизан»; и, быть может, на той же неделе.

Эти страницы пытались донести до англичан несколько образов неизвестной им страны, откуда я прибыл: Франции в беде. Они были опубликованы только в переводе. Я вдруг вспомнил о них, когда ты позвонил мне по тому странному созвучию душ, ключами от которого ты владеешь.

Двадцать два года! Сколько сегодняшних, вполне взрослых людей тогда еще не родились и у сколь-

ких тогда лишь едва-едва зарождалась память, и есть мы, чьи воспоминания медленно распадаются. Не стало ли то время для нас самих словно другой страной?

Накануне 12 ноября Гитлер решил оккупировать южную зону; в том поезде я искал пути отхода. Национальный комитет писателей отмечает в этом году и свою историю, и Историю; и делает это под знаменем Роланда. Двадцать два года назад все ущелья Испании были Роннсевальскими; олифанты звучали там глухо, но каждый уходивший уносил с собой твою песню-отклик, твой «Нож в сердце», твою песнь Эльзе:

*А вы, что слышите ее из глубины беды,
Глаза откройте, милой Франции сыны...*

Так что по всем этим причинам, а также ради всех воспоминаний и годовицин я посылаю тебе этот забытый блокнот, чтобы ты вырвал оттуда несколько страниц.

Сегодня я, вероятно, уже не написал бы так, да и вообще все это. Но я не способен тут что-либо править. Нельзя вычеркивать бывшее.

Сегодня, например, я наверняка стыдливо написал бы «нацисты» вместо «немцы». Мне жаль, что оба эти слова неизбежно слились за те десять жестоких лет. И я хочу надеяться, что тогдашняя Германия по-настоящему и окончательно стала чуждой страной — чуждой самой себе, чуждой человеку...

Реймонду Мортимеру

Весь день 11 ноября 1942 года перевозка пассажиров и товаров на линии Бордо — Марсель была приостановлена. Это никого не удивило. Шли поезда с немецкими войсками. Было предусмотрено и известно публике, что в случае полной оккупации или высадки союзников немцы за одну неделю захватят всю сеть французских железных дорог. Для уже обескровленной и лишенной всяких запасов страны, где доставка продуктов и без того осуществлялась еле-еле, это означало верный паралич, голод в деревнях, смерть в больницах. И наверняка соответствующую реакцию всего социального организма, всеобщее защитное движение против смерти.

Должно быть, немцы это чувствовали, поскольку блокировали главную южную линию только на двадцать четыре часа.

— Движение возобновляется; немцы сажают свои войска в пассажирские поезда; для них это, конечно, гарантия, что эшелоны не будут взрывать,—

сказал мне 12-го около полудня друг, у которого я провел месяц.

Я смотрел на пейзаж за окном. В память врезаются не те пейзажи, которыми восхищался пять минут, выйдя из машины в точке обзора, указанной на карте. И не те, что бежали вдоль вагонных окон. Главные из них те, что были перед глазами и под дождем, и в лунном свете, сам вид которых изменил вам кровь. Такие пейзажи также особая пора — пора любви, книги или выздоровления.

— Думаю, что уеду сегодня вечером, — ответил я своему гостеприимцу.

Я продолжал смотреть на дорогу вдоль текущей под нами Гаронны, на воду с отблесками смазанного металла, на прибрежные луга, на линии тополей, что скрещивались в долине, на зеленые, сиреневые и рыжие оттенки необыкновенной осени. Все здесь — свет, дружелюбные изгибы холмов на горизонте, видневшиеся сквозь деревья террасы, дом, даже окно, перед которым они росли, — все здесь было чистым восемнадцатым веком, чисто французским. И все становилось еще более четким для взгляда, приобретало еще большую плотность, потому что снизу, с дороги, доносился шум проходящих немецких колонн, стук огромных подошв — такой звук издают стальные гусеницы на асфальте... Если мои намерения и события соединятся и я покину Францию в один из ближайших дней, этот пейзаж наверняка останется последним из главных пейзажей памяти.

Третий класс

— «Борделе» опаздывает на час,— сказал мне служащий, взвешивая мой багаж.

«Борделе» — название поезда, и вот уже почти час я хожу взад-вперед по перрону вокзала в темноте, столь бедно усеянной крапинками фонарей, что не различить окружающие меня лица. Наконец из глубин ночи прибывает поезд. Вырастает локомотив с притушенным прожектором. Мимо вереницей проплывают двери; кое-где шторы неплотно задернуты, стекла кажутся бледными, подслеповатыми глазами.

Почему поезд 12 ноября, именно этот, а не какой-нибудь другой, останется в моей памяти самым большим, самым длинным? Мне предстояло встретить там Францию, которую я собирался покинуть, всю Францию во время худшего ее несчастья; мне предстояло встретить там и само несчастье — в зеленой униформе, рядом с Францией, на тех же вагонных полках.

Разрозненные люди, ожидающие, дрожа от холода, на перроне, внезапно умножаются в числе и еще до остановки колес образуют вокруг дверей гроздь, словно металлические опилки, притянутые магнитом подножек.

Я обращаюсь к контролеру; я еще верю в привилегии.

— До Тулузы ни одного свободного места, нигде.

И я тотчас же прилипаю к первой попавшейся грозди, неважно какой. Я поднимусь последним.

Протягивается чья-то рука, помогает втащить чемодан.

Я вновь вижу эту руку. Белая, довольно широкая, не слишком чистая. «Решительно, самых услужливых людей находишь всегда в третьем классе».

Мой взгляд немного поднимается. Над рукой замечаю рукав зеленой униформы; мой чемодан поднимает немец.

Это мне крайне неприятно, потому что меня научили говорить спасибо, а обратиться к немцу язык не поворачивается.

Но время поджимает, я не собираюсь упустить свой поезд, чтобы устроить демонстрацию достоинства.

Я в вагоне, почти полностью забронированном для оккупационных войск. На половине купе помечено: «Nur für Wehrmacht»*. Такие же самые таб-

* Только для вермахта (нем.).

лички, что и в Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Греции, Югославии, Польше, Чехословакии, на Украине... Да уж! Они изрядно экспортировали свой язык! Навлекли изрядно ненависти на свои лица! Мой чемодан лежит поверх их багажа. В этом конце вагона их пятнадцать. Они набились в туалете, откуда через отдушину в тесное пространство между двумя дверьми проникает мерзкий запах. Стоят, сидят, упираясь руками, поставив ногу на вещмешок... Переброска войск.

Кто болтает, что немецкая армия состоит из одних только мальчишек и старых резервистов?! Эти — молодые, высокие, хорошо сложенные мужчины, все худые, но мускулистые, с лицами крестьян или рабочих; и у всех в чертах что-то резкое, жесткое, внушающее тревогу. Головы белокурые, темноволосые, подбородки круглые, длинные, но всех словно подвергли одной и той же химической реакции, которая покрыла их плоть металлической пленкой. Некоторые спят. У их усталости другой запах, не такой, как у усталых французских войск: более терпкий. Оказаться зажатым меж пятью из них, тереться пиджаком об их пояса, путаться ногами в их винтовках, упираться глазами в их кожу временами становится совершенно невыносимо. Тут мне невозможно отвести взгляд, игнорировать их. Напрасно я себе говорю: «Но они же люди, старина, люди!» Ненависть внутри меня воет сиреной тревоги. Желание убить совершенно тщетно, если

не можешь его удовлетворить. Я хватаю свой чемодан и пытаюсь пройти сквозь вагон. В коридоре их плечи, их полусапоги... На некоторых форма сильно изношена. Другие, наоборот, одеты с иголочки. Они раздвигаются, пропуская меня. Замечаю их в затемненных купе. Тут спят два унтер-офицера, вытянувшись во весь рост на вагонных полках. Там, в соседнем отделении, две женщины, пожилой человек в кепке, а остальные солдаты. Женщины дремлют, поджав ноги, чтобы не касаться ног немцев. На всем протяжении поезда я увижу тот же жест. Ноги в шелковых чулках, в хлопчатобумажных или совсем без чулок, лодыжки тонкие, лодыжки, отяжелевшие от материнства или работы, — повсюду я встречу одно и то же движение, отстранение от черного сапога с низким голенищем.

Мне понадобилось пять минут, чтобы добраться до конца вагона. Здесь снова нагромождение багажа, касок и оружия. Открытый туалет, дюжина стоящих солдат. Но вдобавок прижатые к двери два французских унтер-офицера: один из колониальных войск, другой из авиации; два отпускника, которые наверняка друг с другом не знакомы, но объединены своим изгнанием в этот вражеский вагон. Это наихудший из нынешних образов нашей призрачной армии.

Я проталкиваюсь через заслон немцев перед тамбуром. Дальше меня останавливает плотная масса

молодых людей одного возраста, лет двадцати, молодых рабочих и крестьян, которые перекликаются, стоят, скучившись, шутят, смеются. Слышу даже, как они поют в середине коридора «Рядом с моей блондинкой». Кто может петь сегодня и кто эти парни, все с чемоданчиками или вещмешками? Я приближаюсь, спрашиваю.

— Мы новобранцы, — отвечает один из них.

— Новобранцы?

— Ну да, для «Молодежных деленок».

Я и забыл... Забыл про эту пародию на военную службу, службу без оружия, когда молодых людей из свободной зоны посылают на восемь месяцев расчищать вересковые заросли или жечь древесный уголь. Я думал, что сегодня правительство тоже об этом забыло.

Я знаю, что в Виши министр труда, старец с длинными седыми волосами, часто плачет по ночам в своей квартире, поскольку немецкое правительство грозит силой забрать ребят с «Молодежных деленок» и отправить на заводы рейха. Но призыв нового контингента все-таки был поддержан, как раз в день вторжения в свободную зону, словно чтобы нарочно скучить молодежь, лучше ее подставить.

И эти дурачки, сидящие под окном, продолжают распевать «Рядом с моей блондинкой». Они хотят считать себя новобранцами, как их старшие — их отцы и братья.

Я по-прежнему ищу место; не место в купе, а просто уголок, чтобы поставить свой чемодан и воспользоваться им как сиденьем.

В следующем вагоне опять пассажиры, зеленые мундиры, ребята с «Молодежных делянок», еще больше вперемешку.

Я временно устраиваюсь возле молодой женщины с усталым лицом, тоже сидящей на своем багаже, с ребенком лет семи на коленях. Я слышу, как она шепчет время от времени:

— Спи! Попытайся заснуть, милый.

Если бы ребенок заснул, она бы тоже смогла отдохнуть. Я догадываюсь, каким был день этой женщины: сначала очередь с шести часов утра у дверей поставщиков; возвращение в одиннадцать с несколькими морковками и небольшим количеством колбасного эрзаца на дне кошелки; затем два часа стараний у плиты, потому что газовое пламя такое слабое, что продукты никак не приготовить; во второй половине дня стирка без мыла, одной щеткой; и наконец вечером, поскольку все семьи сейчас разбросаны, а какой-то родственник, брат, быть может, заболел на другом конце Франции, эта поездка в коридоре вагона. И всю ночь она будет бороться с нервным возбуждением, тревожась за своего ребенка.

«Спи! Попытайся уснуть!»

Она подтягивает спустившиеся чулки на костлявых бледных ножках.

Немцы, занявшие здесь места, в основном солдаты авиации, которых лучше других одевают и содержат в армии рейха. Почти все высокие, белокурые и красивые. Чувствуется, что они очень гордятся великолепной тканью своей униформы, своими длиннющими цементно-серыми шинелями, которые доходят им до щиколоток. Совсем рядом с нами какой-то капрал достает из кармана большой бутерброд. Между ломтями густо намазанного маслом белого хлеба виднеется, лезет через край, представляет себя напоказ толстый ломоть розового мяса.

— Мама! Я есть хочу.

Мгновенный рефлекс. Маленькие худые ножки рядом со мной зашевелились. Чулки снова сползли.

— Мама! Есть хочу.

Ребенок не сводит глаз с розового мяса. Он не спит просто потому, что голоден.

В первый раз с тех пор, как я сел в поезд, замечаю тряску вагона, этот ритм колес, в котором могут петься все трехтактные песни. На какой-то миг теряю нить своей мысли, и в моей пустой голове сама собой рождается некая музыка. Неужели я буду столь же чувствителен к ломтю розового мяса? Глупо. Я принадлежу к классу, который питается намного лучше других в стране. Иногда я даже стыжусь этого. Я запретил своему уму думать об охоте за съестным. Нам всем не хватает веществ, содержащих азот.

Я снова смотрю на немецкого капрала. Он какое-то время тянет зубами слишком жесткое мясо, которое не хочет рваться. Останавливается, смотрит на меня и говорит по-французски, с сильным акцентом, но вполне отчетливо:

— Не поддается... Наверняка английское.
Хочет.

После секундного удивления я отворачиваюсь, чтобы улыбнуться. Немец наверняка ошибся насчет смысла моей улыбки, мне кажется, что он хочет завязать разговор. Достая газету из кармана. Всего один листок. Ни одной подписанной статьи. Коммюнике вишистского правительства с предписанной жирностью заголовков. «Введение действующих войск производится в величайшем порядке. Долг населения состоит в том, чтобы принять немецкие подразделения со спокойствием и достоинством». Переворачиваю. «Продуктовые нормы на месяц». Невольно пробегаю глазами. В этом месяце мы имеем право на двести пятьдесят граммов макаронных изделий, три килограмма картошки, тридцать граммов кофе или девяносто граммов эрзаца, литр вина в неделю и т. д. в той мере, в какой будет снабжена торговля.

В купе за моей спиной разговаривают две женщины.

— Вы живете в Марселе. Похоже, там сейчас с едой труднее всего. А теперь, когда они здесь, будет еще хуже...

Недавно на перроне я слышал двух зрелых, хорошо одетых мужчин, наверняка деловых людей, которые говорили:

— Если хотите, могу вам подсказать один ресторан в Ницце. Есть там надо в подсобке за кухней. Это довольно дорого, но в прошлый раз мне подавали...

Повсюду, на всех уровнях общества одни и те же разговоры. Сначала: «Вот мерзавцы!» — и сразу же после этого о еде. Богатые говорят о ресторанах, бедные — о бакалейных лавках; дети сучат ногами при виде хлеба; у этого народа наваждение голода.

Поезд замедлил ход. Вдруг свет мигает; мы налетаем друг на друга. Это не столкновение, просто тормоза без смазки. С каждым поворотом колес разогретый механизм изнашивается все больше.

Кто-то сходит. Кто-то садится. Речь по-прежнему только о немцах. Каждый приносит новости из своего города.

— Войска с самого утра идут, без остановки...

— Да откуда они их столько берут...

— Сразу же заняли почту. Выгнали всех из Коммерческой гостиницы, вот мерзавцы...

Их уже не называют «бошами», как в ту войну, ни «фрицами», как в сороковом; весь народ называет их «мерзавцами», и этого достаточно.

Я воспользовался суматохой, чтобы найти менее переполненный вагон. Когда поезд снова тро-

гается, в купе встает какой-то человек и предлагает мне свое место.

— Посмотрю в окно,— говорит он.— Сейчас ночь, мало что увижу. Но все равно приятно — родные края. Два с половиной года прошло...

На нем берет, плохо скроенная из военной защитной ткани штатская одежда, на плече белый матерчатый крестик. Это военнопленный, вернувшийся из Германии.

В купе, где я сажусь, пятеро других репатриантов и двое рабочих, один из которых не говорит ни слова, а другой, рядом со мной, не перестает задавать вопросы.

Репатриантам есть много чего порассказать, и в течение получаса я дремлю, слушая их истории об ударах штыком, о ловушках, расставленных часовым, о неудавшихся побегах, о еде.

— И мы были еще не самыми несчастными. Работали на фермах. Та фермерша, к которой я попал, когда ее третьего сына убили, сняла со стены фото Гитлера и убрала в ящик. А когда ее пятый погиб, достала фото, разорвала и бросила в огонь...

— Ужаснее всего приходилось русским пленным. Их лагерь был рядом с нашим. Своими глазами видел тележку призраков...

Прислушиваюсь. Я уже слышал об этом от тех, кто возвращается.

— Их там мрет по сорок — пятьдесят в день; похоже, в среднем они весят двадцать семь кило —

мужчины ростом метр восемьдесят. Русские сами должны хоронить своих мертвецов. Каждый вечер грузят в большую тачку все трупы, голышом, потому что одежду забирают живые, кладут сверху тех, кто вот-вот помрет, но еще шевелится и стонет; потом сбиваются в кучу человек по тридцать, из-за слабосилия, и толкают. С наступлением ночи видно, как они проходят с другой стороны колючей проволоки. Тележка со скелетами, которую толкают другие скелеты...

Память крестьян, память интеллектуалов. Это зрелище никогда не изгладится из воспоминаний тех, кто его видел.

— Вас освободили, оттого что туда рабочие смены стали отправлять? — спрашивает сидящий рядом со мной рабочий.

— Освободили? Вот, глядите, какую бумажку нам выдают эти мерзавцы.

Бумага идет по рукам. Там написано, что пленный отправлен домой во Францию в «сельскохозяйственный отпуск»; что он по-прежнему в распоряжении военных властей рейха; что он не должен владеть оружием; что не должен ни словом, ни делом вредить Германии, а если нарушит эти запреты, то «по законам военного времени подлежит смертной казни».

— Такая вот смена, сами понимаете... — восклицает репатриант. — Один на пятьдесят, да и то вряд ли! Рабочих, которые едут в Германию, расстреливать надо.

— Э! Простите, старина,— отзывается рабочий.— Думаете, они туда по своей воле едут? Их берут силой и запихивают в поезд. А потом, может, вы и знаете, сколько уезжает, но не знаете, сколько доезжает; немало сходит по дороге. Вам ведь не говорят о тех, что недавно кричали «да здравствует Сталин!» из всех окон поезда, ни о тех, что прячутся по деревням. Вы еще увидите все это, старина!

Другой рабочий у окна, не открывавший рта с самого начала разговора, чуть поворачивается и говорит:

— Пока во Франции есть что украсть, это честнее, чем ехать в Германию.

Я вернул место крестьянину, который упрямо, мучительно смотрел через щель приподнятой занавески на свою вновь обретенную родину, родину в ночной мгле.

Люди, только что говорившие при мне, наделены большим мужеством, которое сами не признают, да и никто из нас по-настоящему не признает, так как традиционное понятие мужества необходимо в корне пересмотреть. Эпоха, враг, их системы навязывают мужеству некую степень самоотверженности, которая слишком тяжела для плеч одного человека. За исключением той вдохновенной прослойки, из которой рекрутируются герои, очень мало людей способны стойко сопротивлять-

ся от начала до конца. Это все равно что требовать от кустаря в одиночку соорудить локомотив.

Но рабочий бежит от отправки на чужбину, а крестьянин прячется. Но железнодорожник, не разгружающий вагоны, парализует пути, а это замедляет распределение продовольствия. Заложника расстреливают за саботажника, а саботажнику не хватает еды, и заложником становится железнодорожник; пленный кричит из своего лагеря: «Не приезжайте в Германию!» Каждый совершает поступок, последствия которого сказываются на всех остальных. Мужество разделяется как работа, и мужественным оказывается весь народ.

Я продолжаю свой путь по коридорам, но пока без особого успеха. Все забито. Есть, правда, почти пустое купе, но туда, однако, никто не осмеливается войти, ни женщины, ни немцы. На нем табличка: «Забронировано». Его занимают всего трое пассажиров, но пассажиров особого рода: двое жандармов и один преступник, убийца, быть может. Маленький тщедушный тип с лживым, острым лицом, еще молодой и грязно одетый.

Жандармы широкоплечи, добродушны с виду; у одного в кармане блестит пара наручников. Я открываю дверь и спрашиваю:

— Можно мне положить чемодан в сетку?

— А! Мсье, мы бы с удовольствием. Но мы только что отказали этим мерзавцам, — отвечает один из жандармов. — Не поверите, они сюда хотели свое

барахло напихать. Так я им на табличку показал. Мы тут у себя дома, в конце-то концов. У нас еще права имеются!

Я восхищаюсь почтительностью, которой общество окружает преступление. Женщины стоят, немцы стоят, все стоят, да и сами жандармы стояли бы, если бы не сопровождали этого хилого подонка, который курит как ни в чем не бывало, чуть ли не ухмыляясь, кургузый окуроч.

Единственные французы в этом поезде, которые могут ответить немцам «нет», единственные, кто еще имеет «права», — эти два жандарма, но не потому, что они жандармы, а из-за их преступника. И перед этим немцы пасуют.

Я смотрю на немцев. Почти у всех в третьей петлице гимнастерки широкая красно-черная лента за российскую кампанию. Они возвращаются оттуда, и у каждого наверняка не меньше полудюжины человеческих жизней на совести, если только они не запихивали евреев в газовые камеры в Польше или не истребляли детей в захваченных деревнях.

Не об этом ли также думает тщедушный узник? Может, у него имеется своя собственная оценка преступления, более точная шкала, чем наша? И тут я слышу слова, за которые можно простить все; я слышу, как уголовник, которого везут в тюрьму, говорит жандармам врасстяжку:

— Когда эту мразь отсюда выпвырнут?

И жандармы кивают. Все трое согласны: пусть хоть на гильотину, но среди своих, среди французов, без мрази. Я и сам не знаю точно, в чем тут дело, но мне хочется пожать им руку, всем троим...

Второй класс

Тулуза. Состав еще не остановился, а в обоих концах вагона уже раздаются крики:

— Мсье, я запрещаю вам подниматься! Нет, мсье, вы не сойдете! Мадам, отойдите назад, пожалуйста! Ну же, будем немного дисциплинированными!

Это не перебранка между пассажирами. Просто слишком усердствует полиция путей сообщения, последняя из полиций, порожденных вишистским правительством. Любопытно наблюдать, как присутствие немцев заставляет их сегодня раздуваться от собственной важности. Держиморды принимают себя всерьез; у них перед глазами образец. Впрочем, даже их черная униформа скопирована с формы полиции путей сообщения рейха. Но они напрасно суетятся, вопят, угрожают — толпа их захлестывает, топтит.

Число служб порядка на перроне столь непомерно, что парализует все. Национальная гвардия в хаки с карабином на ремне, жандармерия в синем,

прежняя государственная полиция, новая государственная полиция, контроль территории в штатском, в плащах с нарукавной повязкой, охрана путей сообщения. Здесь пять, шесть, десять полиций, поскольку есть еще и «тайная», а также личная полиция маршала и личная полиция Лавалля.

Человека, который в 1919 году прошел парадом под Триумфальной аркой, стали в конце концов называть «маршалом полиции».

И вскоре ему на самом деле только это и останется: с одной стороны — прежние служаки Республики, против желания продолжающие делать свое дело, потому что никакого иного не умеют; а с другой — полчище свеженавербованных приспешников, которые стараются оправдать свои тройные продовольственные пайки.

Поезд изрыгает необычайное количество немцев. Вижу нескольких с подушками первого класса под мышкой. Они положат их в свои грузовики или танки, чтобы сидеть было удобнее.

Шестеро вишистских полицейских безразлично смотрят на это. Собственно, раз правительство позволяет каждый день забирать локомотивы, почему бы и солдатам не уносить подушки?

Контролер пообещал посадить меня в первом классе после Монпелье, а пока нашел место во втором, но оно освободится только на следующей станции.

Коридор тут тоже битком набит, я ничего не выиграл от перемены; одно облегчение — здесь меньше зеленых мундиров.

Стоящий рядом со мной мужчина лет тридцати смотрит, как я сворачиваю себе сигарету с помощью маленькой машинки. У меня с собой только грубый табак-самосад, очень едкий, который крестьяне тайком выращивают и сами нарезают. Надо распределить табак в машинке, смочить бумагу, медленно надавить на крышечку. Сигарета лопается. Начинаю снова. Это целая наука, это хитроумно, гениально.

Мой сосед улыбается и любезно протягивает мне портсигар.

— Я вас в самом деле не обделю?

— Нет-нет, угощайтесь, пожалуйста, — отвечает он.

Беру сигарету с благодарностью. У моего соседа очень легкий акцент, фламандский или эльзасский; не могу точно определить. Меня так и подмывает спросить его, откуда он родом, но не осмеливаюсь. У стольких людей сейчас свои маленькие секреты... Мы обмениваемся несколькими банальными словами о пайковом распределении, точнее сказать, об исчезновении табака. Добыть себе курево стало наваждением, худшим, быть может. Норма дает право на четыре сигареты в день. На черном рынке пачка стоит сто франков, если найдешь. Все пускают в дело табак из окурков.

— У вас хорошие сигареты, — говорю я. — Довоенное производство.

Кто-то тихонько прикасается к моему плечу. Оборачиваюсь.

— О, Пьер! Как дела, старина?

Подошедший одобрительно смотрит на меня, словно благодаря за то, что его называли просто Пьером. Но не дурак же я называть вслух его фамилию. А Пьером могут звать кого угодно.

— Ну, что нового?

— Сами видите, разъезжаю... как обычно,— шепчет он, улыбаясь.

Я замечаю некоторую усталость в его бледных и довольно некрасивых чертах.

— Уже четвертую ночь не сплю,— объясняет он.— Но это пустяки. Впрочем, сегодня вечером весьма рассчитываю отдохнуть.

Он говорит спокойно и очень тихо. Я избегаю спрашивать, где его можно найти и где он живет. Не думаю, впрочем, что он останавливается два дня подряд в одном месте.

Пьер — мелкий безвестный журналист, вел до войны театральную хронику. За те четыре года, что я его знаю, у него все тот же плащ и та же спокойная улыбка. Несколько месяцев назад, случайно встретив меня в поезде, как сегодня, он немного смущенно попросил меня больше не называть его по фамилии.

— Меня зовут Пьер Имярек,— сказал он мне.

Я понял, что он принадлежит к той удивительной подпольной Франции, которая будет стоять Германии, да и стоит уже, целой армии в мундирах. У меня даже впечатление, что Пьер — руководитель одной из крупных организаций Сопротивления. Но это мы узнаем лишь позже. Он работает с

профсоюзными рабочими, офицерами, студентами изящных искусств, университетскими профессорами, учителями, автомеханиками, печатниками, нотариусами, инженерами, столярами, писателями из правых, коммунистами, набожными католиками, актерами, врачами, социалистами-революционерами.

Пьер внезапно перестает говорить. Вижу, как он медленно прикасается указательным пальцам к губам, словно в задумчивости. Но жест слишком медленный, слишком нарочитый, чтобы быть машинальным. Он означает: умолкни. Глаза Пьера слегка скользнули влево. Тоже смотрю туда.

К человеку, который секунду назад угостил меня сигаретой, присоединился за нашей спиной какой-то тип с эмалевым значком на лацкане пиджака — маленькая красная свастика на белом фоне. Бывший сосед перехватил мой взгляд. Выглядит смущенным. Я слышу, как он спрашивает другого, очень тихо, но резко, по-немецки... Гестапо.

Мгновенно чувствую себя испачканным воспоминанием о словах, которые обращал к этому человеку. А я еще принял его за бельгийца, который занимается контрабандой табака...

Я ничего не заметил. Но у Пьера, привыкшего за многие месяцы к подпольной жизни, острый глаз преследуемого животного.

— К счастью, среди них полно кретинов, — шепчет он, когда человек со свастикой удаляется. — Как? Бросает такой длинный окурок? Да вы бо-

гач, — добавляет он удивленно и с упреком, словно я на его глазах бросил хлеб в грязь.

Потом продолжает, мне в самое ухо:

— Их двести пятьдесят в поезде. Все до Марселя. И столько же прибывает в Ниццу и Канны. Вот, взгляните.

Пьер показывает их мне. Брюки-гольф, дорожное пальто, солидные чемоданы; четверо в соседнем купе, трое в следующем. И полно в коридорах... Гестапо... Гестапо... Гестапо... Эта пададь повсюду. Меня охватывает невыносимое ощущение, будто меня вывалили в грязь. Ручки дверей испачканы. Испачкан даже стук колес под вагоном. И я снова слышу внутри себя вой сирены ненависти.

Все это время Пьер улыбается. Он работает над уничтожением людей гестапо, он в ладу с самим собой. Само его присутствие среди них — вызов. Он рискует двадцать четыре часа в сутки. Быть может, его скоро арестуют, быть может, завтра. Он единственный, кто может улыбаться.

На первой же остановке Пьер меняет вагон.

Я вновь занял место в купе. Агент гестапо садится напротив. Время от времени поглядывает на меня. Начинаю задаваться вопросом, не следит ли он за мной. Потом, выходя из вокзала, я обернусь, чтобы посмотреть, не идет ли кто сзади..

Другие свободные места заняты немецкими офицерами и девушкой.

Вид немецких офицеров теперь мне кажется более приемлемым. Они, по крайней мере, в мунди-

рах; глядя на них, ты знаешь, что смотришь на врага.

Через какое-то время замечаю, что они не сводят глаз с девушки. Та изо всех сил старается избегать их взглядов, ее ноги слегка подобраны под сиденье.

Наконец один из двух немцев решается и спрашивает с таким тяжелым акцентом, что извращает каждое слово:

— Вы, мадемуазель... знать... где танцевать... развлекаться... Монпелье?

Девушка становится пунцовой, смотрит в пол и не отвечает.

Тогда второй немецкий офицер говорит на безупречном французском, чуть иронично:

— Мадемуазель, этот офицер только что к вам обратился. Быть может, вы не поняли. Он хочет вас спросить, не знаете ли вы в Монпелье какой-нибудь танцевальный зал.

Девушка отворачивает голову, отворачивается всем телом, комкая полу своего пальто. На ее неловкость, на ее бессильный гнев тяжело смотреть. Ответит ли она, да и что она может ответить! Вдруг, резко вскочив, она отвечает немцу, глядя ему прямо в лицо:

— В Монпелье не знаю, но, кажется, есть один отличный в Сталинграде!

Агент гестапо напротив улыбается мне.

Первый класс

Коридоры первого забиты старшими немецкими офицерами. Добравшись до вагона, в котором мне предстоит закончить свою поездку, наталкиваюсь на знакомый силуэт. В другое время я сказал бы, что это день встреч. Но за последние два года на железной дороге побывали все. Никогда еще не разъезжали так много и так плохо. В этой разрубленной, разбросанной Франции по малейшему делу мотаются из Тулузы в Лион или из Ниццы в Марсель, как вчера ездили с площади Согласия в Паси или с Елисейских Полей в Сен-Жермен-де-Пре.

Мой новый собеседник, мужчина лет сорока, очень высокий, с уверенным взглядом из-под очков в толстой черепаховой оправе, — один из первых инженеров Франции, а быть может, и Европы. За несколько лет он сделал поразительную карьеру. Строит плотины, воздвигает мосты. Я им восхищаюсь, и он это знает.

— Еду в Швейцарию, — говорит он мне. — Рабочая поездка... Надо обсудить кое-какие планы...

— Но граница со вчерашнего дня закрыта. Перейти можно только по пропуску, выданному непосредственно Лавалем.

— О! Там видно будет. Я договорюсь. Все равно проеду.

Его спокойная уверенность меня удивляет. О чем нам сегодня беседовать, если не о событиях в Северной Африке?

— О! Вы же знаете,— обращается он ко мне,— я политикой не занимаюсь. Это дело правительства.

Он уклоняется от ответа. Взвешивает каждое слово, словно боится, как бы не стали говорить, дескать, «он сказал». Может, остерегается меня? Или же делает уступку?... Англо-американская победа. Да, очевидно... Возможно, мы оставим часть наших колоний. Не сейчас, во всяком случае... Движение де Голля, движение Жиро, очень хорошо, очень героически. Все же это за пределами Франции... Организации Сопротивления, которые у всех на слуху... Это тревожит — из-за будущего...

Немного режет слух. У него нет привычки говорить, чтобы ничего не сказать.

— При нынешнем состоянии Франции,— продолжает он,— лучшее, на что мы можем надеяться,— это истощение наличных сил. Немцы еще очень организованы. И их концепция Европы в некотором смысле довольно оправданна. Победившая Россия — это открытая дверь для революции. Не стоит слишком часто менять победителей.

Я не хочу понимать, я еще надеюсь, что ошибся. Какими бы ни были его идеи, этот человек, которого я уважаю, не может не разделять боль, которую сегодня испытывает вся Франция, когда нарушено перемирие, когда захвачены территории, целых шесть веков не знавшие чужеземного присутствия... Мне кажется, что мы сойдемся в своем возмущении.

— Видеть, как массированно прибывает эта оккупационная армия...— говорю я ему.

Мой собеседник нервно пожимает плечами, словно я изрек непростительную глупость, и отвечает мне безапелляционным тоном:

— Но это вовсе не оккупационная армия, а действующая!

На сей раз, несмотря на всю свою благожелательность, я понял. Понял, что знаю отныне, какого рода личности держат рычаги управления, дергают за ниточки, манипулируя легковерными, боязливыми и глупыми. Знаю, кто рассылает по всей стране множеству честных, но слабых людей — маленькому пенсионеру, дрожащей продавщице галантереи — готовые фразы и страх революции, как рассылают фотографии Петена и боны «Национальной помощи».

«Пусть действует правительство» станет «Доведемся Петену, он старый лис». «Истощение наличных сил» будет означать: «Давайте надеяться, что последний русский убьет последнего немца».

Эти важные особы очень немногочисленны; их образец — перед моими глазами. Я знаю теперь,

что у этого человека в паспорте подпись Лавала. А быть может, и немецкая подпись. Что он собирается делать в Швейцарии? Чьи сложные интересы представляет? На чьей стороне играет в игре, затеянной захватчиками? Я этого не знаю. Но чувствую одно из самых мучительных движений души: исчезновение в несколько секунд уважения и доверия... И лицо, на которое мне прежде нравилось смотреть, превращается в пустыню...

Я отвечаю, уже держась начеку:

— Да, да... вы правы.

Поезд останавливается в городе, где я в течение осени, последовавшей за перемирием, служил в гарнизоне, пока не был демобилизован. Возникает желание сделать несколько шагов по перрону, который я так часто топтал ногами. Помню даже, что два-три раза командовал на этом вокзале дежурным взводом. Мы были изрядно взбешены, что нас заставляют делать работу путевых обходчиков. Теперь это стало воспоминанием о почти счастливой поре, и я улыбаюсь. Прохожу мимо окон кабинета, который занимал тогда. В том же кресле, за тем же столом вижу через стекло немецкого лейтенанта... С сегодняшнего дня я уже не смогу думать об этом гарнизонном городе, об этом моменте моей юности, не видя немца, сидящего на моем месте.

Возвращаюсь в вагон. В другую дверь поднимается французский офицер в мундире, мой бывший однополчанин. От одного его вида немедленно ис-

пытываю радость, хотя мы не всегда были согласны в мыслях. Но я знал его храбрым солдатом; в ту войну он получил одну из самых прекрасных благодарностей в приказе. В июне 1940 года я видел этого кавалериста, еще полного пыла, порыва и ярости, когда он, как и все мы, хотел перебраться в Англию, а нас блокировали в подразделениях, заперев перед нами на замок двери битвы, шантажируя дезертирством и «землей отчизны, которую не унести на подошвах своих башмаков». О! Дантон, сколько трусости совершено во имя твое!.. А потом, через три месяца, я слышал, как мой товарищ проповедовал в офицерском клубе верность маршалу и повиновение правительству во имя военной дисциплины, порядка, уважения к командирам и данному слову...

Пробираясь мне навстречу по коридору, он вынужден пройти мимо немцев. Я вижу на его лице такую судорогу холодной ненависти, читаю в его глазах такую глубину отвращения, такой разброд, что даже колеблюсь подойти к нему.

— Ну вот, старина, до чего мы докатились, — говорит он мне.

И в течение десяти минут только это и повторяет:

— Вот, старина, до чего мы докатились!

Потом, вдруг:

— Видишь ли, дело Петена — жульничество. В течение двух лет нас морочили воинской честью. Заставляли поверить, будто мы возобновим борьбу

в пресловутый день «Д». Так вот, этот день «Д» был вчера. А мы ничего не сделали. И они здесь. И мы вынуждены прогуливаться перед этими мерзавцами...

Я невольно смотрю на его петлицы, какие и сам носил, и, хотя я сейчас в штатском, испытываю то же чувство физического унижения.

Мой товарищ стискивает мне руку.

— Не бойся, наших боеприпасов они не получают, разве что себе в брюхо, — говорит он сквозь зубы. — Мы вчера спрятали пять тонн за городом. Я сам вел грузовик.

Ничто не вынуждало его сообщать мне это. Просто он хотел, чтобы я знал: честь полка спасена.

— А если распустят армию, как собираются, — продолжает он, — ну что ж, тем лучше! Так дольше не может продолжаться. Переберусь в Англию или Африку или же уйду в горы со своими людьми. Ну давай, старина, удачи! Увидимся.

В нашем роду войск всегда желают «удачи», особенно в плохие времена.

Семь часов. По холмам и фруктовым садам начинает разливаться сероватый свет. Я добираюсь до только что открывшегося вагона-ресторана. С большим трудом получаю место, потому что половина столиков зарезервирована для офицеров вермахта, а почти все остальные захвачены господами из гестапо. Вновь вижу своего соседа из второго класса. Он оживленно беседует с каким-то пассажиром, который ни о чем не догадывается.

Не говорю ни слова людям, сидящим за моим столом. Отныне здесь, как в Париже, да и во всей Франции, прежде чем шепнуть: «Немцы... Петен... Лаваль...» — надо будет трижды оглянуться. Большую часть времени люди станут молчать.

Нам подают гнусную черноватую жидкость без сахара и ломоть сероватого хлеба без всего.

У немецких офицеров есть сахар и масло. Агенты гестапо, как добрые французы, удовлетворяются мерзким пойлом.

Я наблюдаю за офицерами. Они смотрят, как занимается утро над страной, которая им еще не знакома. Курят с явным удовольствием. У воздуха завоеванной страны для гордости особый вкус. Среди самых молодых замечаю одного, который читает, наклонив голову. И этот становится человеком. Я чувствую, что у него есть мать, любимые авторы; наверное, он любит ходить на концерты, играть в теннис или ездить верхом. Но его смерть тоже необходима...

Идя обратно, качаясь от одной стенки к другой по коридору спального вагона, узнаю приятный голосок за моей спиной.

Молодая женщина, с которой я теперь говорю, помимо титула маркизы носит две из самых прославленных фамилий Франции. Герб на перстне, украшающем ее мизинец, прилагался некогда к военным указам и мирным договорам. Она едет из Парижа. Эта особа очень мала ростом и очень элегантна. На ней огромные деревянные башмаки,

сработанные искусно, как консоль в стиле Людовика Пятнадцатого. Она выглядит в них так, будто взобралась на две галеры. Сейчас самые умелые обувщики стали мастерами по изготовлению сабо.

Я с радостью соглашаюсь присесть ненадолго в ее купе. Это возможность немного расслабиться. По крайней мере, здесь можно будет без страха выражать свое отвращение. И мы его выражаем, стараясь, однако, не слишком отягчать себя. Я ведь имею дело с женщиной светской, и чересчур задерживаться, даже сегодня, на горьких темах — дурной тон. Она сразу же рассказывает мне парижские истории.

— Старый барон де N был приглашен на обед к одной известной актрисе... которую повесить мало, — добавляет моя собеседница. — Войдя в прихожую, первое, что он замечает, — это шинель немецкого офицера. Красивая зеленая шинель на ручке кресла. Тогда N... вновь берет свой котелок из рукава и говорит ему просто: «Соблаговолите объяснить мадам, что как только я вошел к ней, мне стало дурно». Мило, не правда ли?

В другой день я бы наверняка рассмеялся. Но сегодня мне это кажется настоящим пустяком. Но я не хочу оставаться в долгу и привожу совсем недавние слова преступника, сидевшего меж двух жандармов, и немца, решившего, что мясо «английское». Я уверен, что благодаря ей эти анекдоты быстро разнесутся. Но о печальной стороне — о голодном ребенке, о жалости, которую мне внушил уголовник, — сообщать воздерживаюсь. Мне

кажется, что это не для моей знакомой, с которой я говорю.

Она мне показывает свою последнюю выдумку: коробку для сбора окурков от лучшего сафьянщика столицы.

Я вновь вспоминаю четырех «новобранцев», распевавших сегодня ночью «Рядом с моей блондинкой». Но теперь, словно веселость этой молодой женщины что-то объяснила и прояснила, я их понимаю и почти одобряю.

Ничто и никогда не отнимет у нашего народа — ни у самой простой, ни у самой утонченной его части — способности улыбаться. Ничто не помешает парижанке быть элегантной даже в деревянных башмаках, ничто не помешает кавалерийскому офицеру сказать «удачи» наперекор любому несчастью и ничто не помешает преступнику в наручниках желать, чтобы «эту мразь выпшвырнули отсюда». Никто не склоняет головы. Никто не отказывается от своей крови.

Эта непринужденная, легкая беседа, эта улыбка, к которой я присоединяюсь, быть может, и есть то, от чего мне за всю мою поездку по-настоящему полегчало.

Стучат, дверь открывается, и я вижу на пороге Пьера.

Я изрядно удивлен. Он на мгновение колеблется.

Улыбка молодой женщины ничуть не меняется. Она самым естественным образом начинает представлять нас друг другу и изумленно восклицает:

— Как, вы знакомы?

Сам-то я гораздо больше удивлен, что она знакома с Пьером.

Мы въезжаем в Марсель, Пьер смотрит на часы. Хоть он это и скрывает, я замечаю в нем некоторую неловкость и беспокойство.

— Пожалуйста, месье, пожалуйста, вы можете быть совершенно спокойны, — говорит моя знакомая с любезным жестом.

И тут я вижу, как Пьер встает на диванчик, засовывает руку за багажную сетку и достает оттуда обычного формата довольно пухлый белый конверт и тотчас же прячет в карман своего пальто. Наверняка в этом конверте достаточно, чтобы всех нас отправить в Верхнюю Силезию.

— Быть может, я попрошу вас еще раз, мадам... — произносит Пьер.

— Все, что вам угодно, — отвечает та, словно речь идет о самой безобидной услуге и словно двести пятьдесят полицейских рейха не набились в этот поезд.

Наклонившись ко мне, чтобы сказать последнее слово, она добавляет:

— Похоже, наши старые семьи так потрепаны, что находятся вне всякого подозрения.

Марсель. Едва поезд останавливается, те же немцы, которые этой ночью так услужливо помогли мне поднять чемодан, вторгаются в вагон первого класса, куда я только что вернулся, и приказывают всем очистить места, даже пассажирам с билетом

до Ниццы и Тулона. Солдаты торопят, напирают, теснят. Кажется, еще чуть-чуть — и начнут вышвыривать багаж в окна. Вагон должен быть освобожден для офицеров «действующей» армии. Какое удовольствие испытывают эти люди, получая то приказ быть любезными и вежливыми, то — час спустя — приказ вести себя по-хамски? Не понимаю. И никогда не пойму. Я ненавижу их за это послушание, за то, что они приняли это, желали этого.

На перроне волнуется огромная толпа. Громкоговорители уже кричат: «Achtung! Achtung!», как в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Афинах, Осло, Варшаве, «Achtung! Achtung!», после чего следуют указания на немецком языке для выгружающихся войск. Летчики люфтваффе; военные моряки рейха, огромные, с ленточками, колышущимися на затылке; офицеры с кортиками на боку; длинные зеленые когорты; длинные черные когорты; гестапо, гестапо, гестапо... Вражеская армия с трудом течет сквозь толпу, которая не расступается, не смешивается с ней. И Франция тоже течет. Я вижу, как проходит молодая женщина, прятавшая секретный пакет; преступник меж двух жандармов; молодые ребята, певшие ночью; голодный, по-прежнему голодный ребенок и его еще больше измученная мать; рабочий, предпочитающий воровать, нежели ехать в Германию; офицер, спрятавший в надежном месте боеприпасы полка; Пьер, которого, быть может, арестуют сегодня вечером... И другие, тысячи других, с кем я не говорил, но каждого из которых

хотел бы узнать — с его голодом, песней, мужеством, улыбкой. Я устал от этой бессонной ночи, и на размытой усталостью границе сознания рождаются образы.

Я думаю о ружейном порохе. Все его зернышки разных оттенков. Все его зернышки обладают разными свойствами. Все его зерна перемешаны. Но они воспламеняются все вместе и вместе производят один огромный взрыв... Все это взорвется, взорвется самым ужасающим образом, когда настанет час поднести огонь.

Я позволяю толкать себя.

12 ноября, 13 ноября. Дни, которые ничто особо не отличает. Поезд, какие беспрестанно ездят через Францию. Вокзальный перрон, похожий на все прочие перроны Франции. Но чем больше я смотрю, чем больше сравниваю лица, тем сильнее крепнет мое чувство, уверенность, вопреки громкоговорителю, кричащему «Achtung!», что победители в этой толпе — отнюдь не те, у кого оружие.

Эшдаун-парк, 1943

Особняк Мондесов



Внизу хлопнули двери — служащие общества «Главный коллектор отбросов» покидали свои рабочие места.

На втором этаже каноник Огюстен де Мондес отложил перо и встал, чтобы немного размяться. Поскольку ему был семьдесят один год, основную часть его почты составляли траурные извещения, оборот которых, обрамленный черной каймой, он использовал для записок. Эти извещения, связанные резинками, шнурками от ботинок или просто рассыпанные в беспорядке, годами накапливались на трех его письменных столах, покрывали чернильницы, подставки настольных ламп, громоздились в креслах, валялись на коврах, так что кабинет в конце концов стал похож на похоронную контору в разгар эпидемии.

Тщедушный и узкоплечий, почти одинаково маленький хоть стоя, хоть сидя, Огюстен де Мондес расхаживал, наморщив бледный безбровый лоб и сунув руки в карманы, отчего его сутана растопы-

ривалась наподобие индюшачьего хвоста. Обычно этот жест сопровождал раздумья.

Повторяя последние написанные строчки, он искал продолжение.

«То было время (IV век до Рождества Христова), когда Пифей и Эвтимен, удалые сыны Мас-салии Фокейской, направили свои корабли, первый — к белым берегам Скандинавии, второй — к черному Сенегалу...»

Солнце палило крыши, перегретый воздух вскипал на черепице. Ноздри щекотали запахи масла для жарки, базилика, древесного угля.

Как большинство человеческих жизней, особняк Мондесов имел два фасада, обращенных в разные миры. Парадный выходил на платаны и загородные жилища аллеи Леона Гамбетта, некогда аллеи Капуцинов, которую марсельская аристократия упрямо называла просто Аллеей. Комнаты для приема, гостиные располагались на этой стороне. Из задней же части дома открывался вид на лабиринт грязных двориков, убогих, заселенных кустарями пристроек, на чудом сохранившиеся клочки зелени, на завешанные бельем окна и черноватые стены с решетчатыми шкафчиками для провизии, где оседала вся копоть вокзала Сен-Шарль.

Сорок два гтруда Огюстена де Мондеса, почетного каноника, родились пред этим горизонтом.

«...открывая таким образом, с самой глубокой древности, морские пути для торговли нашего пышного и предприимчивого города».

За двориками, на узкой террасе дома, казавшегося чистым среди множества облезлых поверхностей, появилась молодая смуглая женщина в пестром халате. Посмотрев на небо, она расстелила белый с оранжевыми полосами матрас и со спокойным бесстыдством улеглась голышом на живот.

«А! Уже полдень», — сказал себе каноник.

Ибо эта черноволосая незнакомка с позлащенными солнцем формами была не менее пунктуальна, чем бронзовый человечек с молоточком в башенных часах. Весь квартал проверял по ней время, и никто не возмущался.

Так что все было в порядке, день походил на все прочие.

Каноник мог быть доволен этим утром. Отслужив мессу в церкви Реформатов*, потом перекусив молочной булочкой и чашкой черного кофе, он уже исписал своим мелким размеренным почерком шесть листочков — плотными, как нотные линейки, строчками без единой помарки...

«Огюстен никогда не вычеркивает», — любила хвастаться его сестра Эме, словно для семьи это было предметом особой гордости.

Каноник удостоверился, что обе двери кабинета закрыты, хотя перед началом работы всегда запирал их на ключ, но, хорошо себя зная, не доверял своей рассеянности.

* Церковь Реформатов — церковь Сен-Венсан-де-Поль. Будучи католической, заслужила у марсельцев это прозвище, потому что построена на месте обители реформированных августинцев — одной из ветвей Августинского ордена.

Он придвинул дубовую лесенку к шедевру некоего провансальского краснодеревщика — большущему шкафу с антресолями в стиле Ренессанс, такому красивому, что с него даже сделали почтовую открытку. Подобрал сутану и обнажив фиолетовые кальсоны, настоящие кальсоны прелата, целую партию которых его сестра Эме закупила на распродаже, когда обанкротилась одна специализированная фирма — «Если бы Огюстен захотел, он бы запросто мог стать епископом; к тому же под сутаной не видно...», — каноник вскарабкался на нее и открыл дверцы верхней части шкафа.

Тяжелые тома с золотым обрезом, переплетенные в красный сафьян, недавние брошюры по пятьдесят су, буклеты, сборники, компиляции, пачки корректур, рукописи — все полное собрание его сочинений было напихано туда в величайшем беспорядке. С трудом представлялось, что одна и та же рука могла одинаково непринужденно написать этюд о рассеянии мощей святого Ферреоля, школьный учебник для молодых слепцов, детальную опись мустьерского фаянса, принадлежавшего маркизу де Пигюссу, антологию евхаристической литературы или что одна и та же мысль могла одинаково заинтересоваться арлезианскими хлебницами, традиционной постановкой пятиактных пасторалей, Дельфийским оракулом, «путем пряностей» XIV века и, наконец, сдержанными обьятиями в христианском браке.

Однако именно так обстояло дело с каноником де Мондесом, чьей специальностью было не иметь

никакой: он мог писать о чем угодно при условии, что ему дадут тему. Издатели, обосновавшиеся в различных городах провинции и совершенно неизвестные широкой публике, часто обращались к нему, никогда не встречая ни отказа, ни задержки, ни разочарования. Каноник пополнял «зависшие» серии, продолжал за собственный счет незавершенные труды слишком самонадеянных или преждевременно скончавшихся авторов. Ничто не могло его отвратить. Его шедевр, четырехтомный «Словарь сокровищ провансальских церквей» (увенчанный Французской Академией), в течение сорока лет обеспечивал ему в литературе и обществе Марселя выдающееся место, которое никто и не покушался у него оспаривать.

Взирая на столь великий труд, Огюстен де Монтес мог бы раздуться от некоторого тщеславия. Но он был лишен этого порока, как, впрочем, и всех других. Его ум никогда не задерживался на том, что было сделано, но обращался лишь к тому, что предстояло сделать завтра, и возраст ничуть не уменьшил его творческого пыла.

Стоя на третьей ступеньке лесенки, он засунул руку за свои книги и был изрядно удивлен, не обнаружив там искомый предмет. Трижды погружался он по пояс в потемки шкафа, тщетно переставлял «Сокровища соборов», даже рылся среди брошюр и наконец вынырнул — нервничая, слегка порозовев лицом, с беспокойством в душе. Его баночка с медом исчезла.

«Неужели Эме нашла тайник?» — подумал он с тревогой. В самом деле, с тех пор как мадемуазель де Мондес вбила себе в голову, что ей грозит диабет, она лишила всех домочадцев сладкого, и в первую очередь своего брата каноника...

«Огюстен всегда болеет тем же, что и я».

Однако каноник прекрасно знал, что сахар необходим интеллектуалам. Чтобы утолять свои маленькие потребности, возникавшие у него во время работы, он взял за привычку прятать баночку с медом в шкафу в стиле Ренессанс, за внушительным и почтенным бастионом своих произведений.

Из шкафа исходил сладкий запах, а обрезы томов сделались совершенно липкими.

Каноник вытер запыхавшиеся руки о внутренность карманов.

«Может, я по рассеянности сунул ее куда-то еще?» Он открыл ящики всех трех своих рабочих мест — огромного итальянского средневекового стола, секретера в стиле Людовика Четырнадцатого с круглой крышкой и игорного столика времен Наполеона Третьего с траченным молью сукном, — поскольку никогда не работал меньше чем над тремя произведениями сразу. Но напрасно он ворошил уведомления о похоронах тысячи своих современников.

«Надо же, а я и забыл, что этого бедняги уже нет», — говорил он себе порой, не слишком, впрочем, отвлекаясь от своей главной заботы.

Больше всего его донимала не сама по себе баночка с медом, а перспектива объяснения с Эме.

И еще непросто будет подыскать другой тайник... В общем, придется менять весь уклад жизни.

Он решил немедленно открыться Минни, жене своего племянника Владимира, которая была его сообщницей и регулярно обновляла ему запас. Но, подойдя к двери, которая выходила в буфетную, услышал голос Эме:

— Главное, ни слова аббату. Не будем его беспокоить, он такой впечатлительный.

Аббатом был он. Эме так и не привыкла обозначать его иначе. Хотя он стал каноником уже больше пятнадцати лет назад, для сестры он по-прежнему оставался аббатом.

«Почистите щеткой плащ аббата... Нужна коробка перьев для аббата... Не будем беспокоить аббата; он сочиняет...»

Имя Огюстен она использовала только в его присутствии и только в узком семейном кругу.

Каноник отступил. Наверняка разразилась какая-то новая домашняя драма, от которой его будут держать в стороне и куда он сам воздержится влезать. Должно быть, служанка порезала себе руку хлебным ножом или же вспыхнул топленый жир на сковородке, если только консьержка госпожа Александр опять не послала куда подальше одного из жильцов с четвертого этажа. Все это было одинаково безразлично канонику, которого вполне устраивал заговор молчания, поддерживаемый сестрой вокруг него.

Он приблизился к столу. «То было время, когда Пифей и Эвтимен...» Среди карандашей, палочек воска и перьевых ручек перед ним лежала ложечка, украшенная геральдической лилией, — подарок одной богомолки, совершившей поездку в Италию. Он утверждал, что хранит этот предмет как сувенир, хотя на самом деле пользовался им, чтобы есть мед. К чему она теперь, эта ложечка!

Каноник на цыпочках подкрался к двери и приник к ней ухом, чтобы выяснить, насчет какого происшествия ему предстоит изображать неведение. Благодарение Господу, речь шла не о баночке меда.

II

Мадемуазель де Мондес была на два года старше своего брата и еще меньше его ростом, то есть ей не хватило самой малости, чтобы стать карлицей. Впрочем, у Мондесов редко кто превосходил полтора метра... У нее были тонкие косточки и сморщенное личико. Не имея ни прошлого, ни приключений, ни воображения, она даже не поддерживала, подобно большинству старых дев, иллюзию, будто отказалась от многих предложений. С ней никогда ничего не случалось, и приходилось только удивляться, как такая плоская жизнь умудрилась избороздить морщинами ее лицо.

Некоторые рождаются на задах какой-нибудь лавки, наделенные царственной душой. Мадемуа-

зель де Мондес, появившаяся на свет в одной из лучших семей Прованса, обладала душой старушонки, сдающей стулья напрокат. Ее главной удачей, которую она недостаточно ценила, было то, что брат избрал церковную стезю. Эме де Мондес могла таким образом жить в атмосфере ризницы и вести Божье хозяйство, не выходя из дома.

Она носила слишком короткие платья, поскольку обновила свой гардероб под самый конец войны, когда юбки достигали колен. И с тех пор отказывалась покупать новые вещи под тем предлогом, что скоро умрет, а стало быть, незачем и тратить-ся попусту.

Большую часть своего времени она проводила в буфетной, пересчитывая грязные тряпки или проверяя счета. Буфетная была ее наблюдательным постом, ее капитанским мостиком, ее засадой. Из этой кишкообразной комнаты, состоящей сплошь из шкафов и дверей, мадемуазель де Мондес могла наблюдать за двором, приглядывать за служанкой, за кухней и бросаться на визитера, звонившего в дверь.

— Ты вполне уверена, Минни, что он был у тебя вчера вечером? — спросила она.

— Ну да, тетя Эме, уверена, — ответила графиня де Мондес.

— В каком часу ты легла?

— Уже не помню, тетушка. Часов около одиннадцати... Не обратила внимания. Я была у Дансельмов, играла в бридж. А когда вернулась, приготовила себе отвар.

— Тебе не давали пить у Дансельмов?

— Давали, конечно, но мне захотелось отвара.

— А где ты его готовила?

— Здесь, в буфетной. Потому-то я и зашла сюда, взглянуть, не обронила ли его тут...

Все Мондесы едва достигали графине Минни до плеча. В сорок пять лет у нее была розовая кожа и пышная грудь, которую она выставляла вперед, как это делают певицы, и обрамляла кружевами и длинными ожерельями. Будучи уже прекрасного роста, она не пренебрегала ничем, чтобы стать еще выше, словно пытаясь подавить собой семью пигмеев, в которую влилась, выйдя замуж за Владимира. Делала себе пышные прически, задирая свою и без того достаточно обильную пепельно-белокую шевелюру на подушечку из конского волоса. Обожатели утверждали, что ее лицо — «совершеннейший восемнадцатый век». Она сделала из этого свой стиль. Ее шляпки всегда щедро украшались останками какой-нибудь ценной птицы, ибиса или белой цапли, чье крыло, хохолок или нагрудник колыхались на ветру ее поступи. Все вместе придавало ей величественный вид, и ее никогда не величали иначе как «прекрасная графиня де Мондес».

— Ты хоть понимаешь, моя девочка, — продолжила Эме, — что если такой браслет покупать сегодня, это было бы настоящее разорение?

— Но кто говорит о замене, тетя Эме? — ответила Минни. — Я его просто отыщу, вот и все.

— Лучше бы ты его не теряла. Вот почему, сама видишь, я никогда не ношу драгоценностей... Впрочем, если бы мы даже и захотели, такого теперь не найти. В наши дни уже не умеют такие делать. Этот браслет нам достался от нашей бабушки, польки. Он был частью ее приданого. Когда тебе его подарили на свадьбу, то не для того, чтобы ты им разбрасывалась.

— Но в конце концов, тетушка, за двадцать пять лет я никогда не теряла...

— Я сейчас же отправлюсь к Дансельмам,— отрезала мадемуазель де Мондес.— Браслет мог заваляться за подушку какого-нибудь кресла. Такое бывает.

— О нет, тетушка,— вскричала Минни.— Я же вам говорю...

— Тсс! Аббат,— зашипела мадемуазель де Мондес, показывая на дверь каноникова кабинета.— Ты что, хочешь до болезни его довести? Только подумать, память его бабушки!

— Я вам повторяю, тетушка, он был на мне, когда я вернулась,— сказала Минни, понизив голос. И при этом задавалась вопросом: «А в самом ли деле он был на мне, когда я вернулась вчера вечером?»

— В таком случае,— продолжила мадемуазель де Мондес,— он мог пропасть только в доме. Куда ты кладешь драгоценности, когда раздеваешься? Ты меня слушаешь?

Подняв глаза к небу, Минни как раз проделывала заново свой вчерашний маршрут. Она вздрогнула.

— На туалетный столик.

— На какой туалетный столик? У тебя нет туалетного столика в спальне.

— Я хочу сказать, на столик для рукоделья, который мне служит туалетным.

— И сегодня утром, когда ты хотела его надеть, его там уже не было. Ну что ж, девочка моя, все ясно: у тебя его украл. Кто входил к тебе утром?

Единственное, что было важно в тот миг для Минни, это отвратить мадемуазель де Мондес от мысли устроить у Дансельмов скандальные поиски. «Если я и в самом деле потеряла свой браслет у них, они его и сами найдут». Так что она продолжила снисходительно терпеть расспросы своей тетки.

— Дайте подумать,— ответила она.— Лулу зашел поцеловать меня, как всегда, перед уходом в Торговую палату...

Мадемуазель де Мондес с оскорбленным видом пожала плечами.

— Бедный малыш тут совершенно ни при чем,— отрезала она.— Надеюсь, ты не будешь обвинять своего собственного сына?

— Да я никого не обвиняю, тетя Эме. Вы меня спрашиваете, кто заходил в комнату, я вам отвечаю.

И тут Минни подумала: «А если это Лулу?» Она неоднократно замечала, что в ее сумочке не хватает тысячефранковой купюры. А в прошлом месяце пропали старые запонки, сломанные, по прав-

де сказать, и стоившие не больше, чем золото, из которого были сделаны. Тем не менее Лулу не взял бы столь значительную, заметную вещь, как браслет... Среди различных представлявшихся ей гипотез, из которых самая вероятная была также самой тайной, ее мысли начали путаться.

— Однако мне кажется, что он был на мне по возвращении. Никогда, никогда со мной не случилось ничего подобного.

— А мадам Александр? У нее была почта для тебя сегодня утром...

— В самом деле, но она отдала мне ее в коридоре, только что.

— Тогда это может быть только Тереза.

Стало слышно, как каноник ходит за дверью. Мадемуазель де Мондес сделала знак своей племяннице умолкнуть. Потом, когда шаги удалились, добавила:

— А впрочем, если хочешь знать мое мнение, меня это не слишком удивляет. Вид этой девицы мне уже несколько дней не нравится. Я нахожу, что она стала гораздо небрежнее в работе, а вчера даже ответила мне совершенно неуместным тоном, что чувствует себя больной. По-моему, она что-то замышляет...

— Полно вам, тетушка, — сказала Минни снисходительным тоном.

— Хм! Я знаю, что говорю. Я этих людей хорошо знаю. Нельзя, чтобы она выскользнула у нас из рук, прихватив с собой... — Мадемуазель де Мон-

дес прервалась, потом шепнула: — Осторожно! — И сделала вид, будто перебирает чечевицу на чашках старых весов «Роберваль».

В буфетную, шаркая по полу сандалиями, вошла Тереза, молодая большегрудая корсиканка, которую можно было бы назвать красивой, если бы природа дала ей ноги подлиннее. Мылась она мало, зато душилась мимозой. У нее были тяжелые черные волосы, волнистость которых она подчеркивала разноцветными гребешками, ослепительные зубы и короткий, но хорошей формы нос. Один из ее соплеменников, сторож в церкви Реформатов, рекомендовал ее канонику. «Славная девушка из Кальви. Безупречная семья». Она хотела найти место, чтобы, откладывая жалованье, скопить себе на приданое. Тереза была у Мондесов уже два года и работала на них как лошадь. В первое время Эме заявляла, что очень довольна ею, как и всякий раз, когда нанимала новую служанку. Но потом дело немного испортилось. Тереза имела несчастье сказать однажды в присутствии мадемуазель де Мондес:

— Что нам нужно на Корсике, так это Гарибальди.

— У вас уже есть Наполеон. Вам что, этого недостаточно? — отозвалась старая дева. — В вашем положении, Тереза, своего мнения лучше не иметь. — И принялась следить за ней с пущей бдительностью.

— Слушайте, Тереза...— внезапно нарушила молчание мадемуазель де Мондес, прервав переборку чечевицы.— Убираясь в спальне госпожи графини сегодня утром, вы не заметили браслета? Большой такой, из золота, с бирюзой?

— Нет, мадемуазель, не заметила.

— Чего вы не заметили?

Тереза уставилась на нее, явно не понимая. Она, похоже, думала о чем-то другом.

— Не заметила, и все тут.

— И вы не были удивлены, не видя его?

— Нет, мадемуазель.

— Значит, он там был?

— Не знаю, мадемуазель, не обратила внимания.

— Решительно, вам и дела нет до вашей работы. Понятно теперь, почему столько вещей ломается... или пропадает,— процедила мадемуазель де Мондес, поджав губы.— И это очень досадно, видите ли, потому что госпожа графиня не может его найти.

Тереза бросила искоса черный взгляд на Минни, и та в смущении вмешалась:

— Может, вы его переложили куда-нибудь, не обратив внимания?

— Нет, мадам графиня, я к нему не прикасалась,— ответила Тереза и ушла в столовую, шаркая подошвами.

— Вы наденете чистый передник, не правда ли, поскольку у нас сегодня гостя,— бросила ей вслед мадемуазель де Мондес.

III

Трамвай 41 остановился на спуске Райской улицы. Мари-Франсуаза Асне — в Марселе это произносят «Аснаис» — выбежала из дома.

— А главное — не говори слишком много! — крикнули ей с порога.

Кондуктор подхватил Мари-Франсуазу и поднял на подножку.

Трамвай снова тронулся, раскачиваясь и дребезжа железом по похожей на коридор узкой улице, окаймленной совершенно одинаковыми и унылыми домами.

Мари-Франсуаза была взволнована, словно отправлялась в долгое путешествие на борту корабля. Она была уверена, что сегодня должна решиться ее судьба.

С тех пор как Мари-Франсуаза вступила в пору отрочества, у нее была только одна мечта: покинуть Райскую улицу. Она ненавидела эту продуваемую мистралем узкую горловину, гнушалась домом, где выросла, чувствовала омерзение к ореховой мебели, бледным акварелям и прозрачным стеклянным люстрам, украшавшим квартиру.

Она находила своего отца вульгарным. Презирала его за то, что он говорил только о ценах на арахис, слишком недавно разбогател и не думал ни о чем другом, кроме как заработать еще больше денег. Но она презирала бы его еще больше, если бы он был беден.

Между пятнадцатью и девятнадцатью годами жизнь начинает течь с приводящей в отчаяние медлительностью, и Мари-Франсуаза успела за это время перебрать все химеры. Мечтала стать по очереди актрисой, стюардессой, парашютисткой. Выдержать эти мучительные годы ей очень помогло кино. Теперь она выбрала настоящее приключение: брак. Но не абы какой. Она выбрала квартал; она хотела выйти замуж на Аллее.

Мари-Франсуаза ощупала в кармане одолженные ей матерью бусы мелкого жемчуга, которые в спешке не успела надеть на шею.

Поколебалась какое-то время, рассматривая божью коровку из стразов, которую старая гувернантка в последнюю минуту сунула ей в ладонь.

— На счастье, — шепнула мисс Нелл.

Брошка была довольно безвкусной и производила отнюдь не лучшее впечатление. Но Мари-Франсуаза из суеверия все же решила приколоть божью коровку.

«Если он пригласил меня пообедать со своей семьей, — говорила она себе, пока трамвай поворачивал на Ла Канебьер, — то уж наверняка не просто так».

Она прокручивала в памяти фразы, которые Луи де Мондес, глядя вдаль с задумчивостью на челе, сказал ей при их последней встрече, во время группового купания в Эстаке.

Это был пятый или шестой раз, что они виделись. Луи де Мондес сообщил ей о своем великом

безразличии ко всему, о своей усталости от слишком многочисленных, слишком легких приключений и о своем тщетном поиске единственной любви, которую — увы! — он так и не повстречал.

Мари-Франсуаза ответила, что она точно в таком же состоянии духа, весьма разочарована грубостью сегодняшних мужчин и вульгарностью их чувств. Позволяя соленому песку течь меж своих розовых пальчиков, она даже произнесла: «идеальный спутник»... Конечно, от нее не ускользнуло, что у Луи Мондеса впалая грудь, мышцы развиты довольно слабо и что он скорее сидел в воде, чем плавал. Но идеальный спутник не обязательно должен быть чемпионом стадиона.

С каждой остановкой — бульвар Бельзенс, бульвар Лье́то, аллея Мелан — она чувствовала, как растет ее волнение.

Достав из сумочки зеркальце, она еще раз расчесала белокурые волосы. Ее брови были удлинены карандашом, а помада подобрана в тон к лаку на ногтях.

Больше всего забот ей доставляли щеки, поскольку были круглы и румяны. Не всегда в восемнадцать лет обладаешь этими плоскостями, которые в Голливуде приносят звездам состояние. Мари-Франсуаза была вынуждена признать, что ей досталось лицо отца. На людях она исправляла это несчастье, втягивая щеки и закусывая их зубами, когда молчала.

Она сошла с трамвая на перекрестке Реформатов и свернула налево, к Аллее. Спокойствие этого сада, этой зеленой улицы, куда шум Ла Канебьера достигал уже смягченным, подводный свет, царивший под густыми платанами, прохлада и особенно видневшиеся сквозь тенистую листву большие частные особняки, порожденные концом зажиточного века, — все чаровало Мари-Франсуазу, словно заповедное королевство. Она видела стиль там, где его не было, восхищалась каждым фасадом, будто это творение Пьера Пюже. Представляла себе людей, живших за этими высокими окнами, которые вместе с коронками, выгравированными на столовом серебре, передавали из поколения в поколение уверенность в своем превосходстве над остальной Вселенной.

Дернув за звонок, она испытала такое чувство, будто совершает один из важнейших поступков в своей жизни.

Звонок издал суховатое звяканье, сопровождаемое шорохом шнурка, и дверь особняка Мондесов открылась сама собой в темный вестибюль.

— Кто там? — донесся сверху чей-то голос.

Мари-Франсуаза испытала легкое разочарование. Консьержка тут обитала под крышей, как и все остальные марсельские консьержки. То, что привратническая в частном особняке находится на четвертом этаже, немного удивляло.

— Я к господину графу де Мондесу, — ответила девушка, стараясь не слишком кричать.

— К которому? — спросила консьержка.

— К господину графу Луи де Мондесу.

— А! Значит, к господину Лулу. Тогда вам сюда, на четвертый. Лестница справа от вас. Осторожнее, там не очень светло. — И тот же голос крикнул: — Мсье Лулу, к вам какая-то барышня поднимается!

Мари-Франсуаза пошарила ногой. Лестница описывала в потемках благородную кривую.

«Это в самом деле грандиозно», — подумала она, глядя на перила из кованого железа.

Заслышав зов госпожи Александр, Лулу поспешно убрал бинокль, с помощью которого наблюдал за незнакомкой с бульвара Дюгомье, принимавшей солнечные ванны.

Этот бинокль, принадлежавший некогда его дяде Луи де Мондесу, погибшему в Дарданеллах, он обнаружил, роясь в чулане. Лулу смочил расческу в кувшине с водой, прилизал волосы, подтянул узел галстука и устремился на лестничную площадку, чтобы встретить Мари-Франсуазу.

— Мы обедаем на втором этаже, у моего дяди каноника, — сказал он ей.

Это «у моего дяди каноника» необычайно понравилось ушам Мари-Франсуазы.

— Могу я взглянуть, где вы живете? Это не будет нескромностью? — спросила она, чтобы показать, какой интерес к нему питает.

— Вовсе нет... это здесь, — ответил Лулу без воодушевления, ведя ее по темному коридору.

Четвертый этаж был не самой лестной частью особняка Мондесов, и Лулу предпочел бы начать осмотр с другой стороны.

Помещения тут были распределены между привратницкой госпожи Александр, комнатой Терезы и холостяцкой квартирой Лулу. К тому же мадемуазель де Мондес еще нашла возможность сдавать свободные комнаты отставным морякам, вдовцам или старым холостякам, которые готовили себе еду на спиртовках. Запахи держались стойко.

Лулу открыл дверь.

— О! Да тут чудесно! — воскликнула Мари-Франсуаза, еще даже не взглянув.

Медная кровать под вязаным покрывалом, трельяж красного дерева с мраморной столешницей, платяной шкаф, плохо скрытый занавеской, одноногий столик с детективными романами и иллюстрированными журналами составляли основную часть обстановки. Здесь даже не сменили выцветшие обои в цветочек, оставшиеся с тех времен, когда комната служила жилищем кучеру.

— Как видите, — сказал Лулу, — это настоящая студенческая мансарда. Но мне тут нравится, из-за свободы.

— Понимаю. Проведя день в Торговой палате, вам, наверное, хочется расслабиться, уединиться. У вас ведь, наверное, много работы?

— Да, много, но это интересно. Впрочем, нашей семье всегда была свойственна большая деловая активность.

Как эта «большая деловая активность» отличалась от цен на арахис господина Аснаиса!

— Одно время я подумывал стать офицером, — продолжил Лулу, — что также в традициях семьи. Но поскольку война кончилась, это уже не имело интереса.

Мари-Франсуаза слушала его с восхищенным вниманием, блестя глазами и закусив щеки.

— Я подумывал также поступить на какую-нибудь важную государственную службу. В полицию, например.

— Ах, вот как! — удивилась Мари-Франсуаза. — В полицию?

— Да, репрессии — это должно быть интересно!

Он не уточнил, какие именно репрессии, поскольку и сам толком не знал. Просто ему нравилось это слово. Ему хотелось бы осуществлять власть, неважно какую. К несчастью, большая карьера была ему заказана, поскольку среднюю школу он так и не закончил. Просидев три года во втором классе*, он был отчислен из лицея за неуспеваемость. Говоря о Торговой палате, он не упоминал для первого раза, что его держат там канцелярским стенографом — только к этой службе он проявил некоторые способности.

Мари-Франсуаза надеялась, что беседа примет более сентиментальный оборот, готовилась даже не отвергнуть поцелуй.

* Пятый по счету класс средней ступени образования.

— Пойдемте обедать, уже пора.

Спускаясь по лестнице, он жаловался ей, как трудно старым семьям содержать свои жилища, как их душают налогами и как совершенно невозможно найти прислугу, чтобы вести такие тяжелые дома.

Мари-Франсуаза подумала, что с деньгами ее отца этому прекрасному особняку можно было бы вернуть весь его блеск, устраивать здесь праздники и что это было бы гораздо лучшим применением для состояния выскочки, чем бесконечное строительство все новых и новых складов.

IV

Минни сидела справа от каноника, Мари-Франсуаза — слева. Мадемуазель де Мондес председательствовала, помещаясь напротив своего брата, между племянником Владимиром и внучатым племянником Лулу.

— А знаете, отыскался мой требник, — сказал каноник, разворачивая свою салфетку и тотчас же роняя ее на пол. — Да, я не говорил тебе, Эме, чтобы тебя не тревожить... но я его забыл как-то на днях в арльском поезде. Ну так человек, нашедший его, увидел мой адрес, написанный внутри, и прислал мне требник по почте. Решительно, люди гораздо честнее, чем о них думают.

— Честные, честные... да не все, — бросила мадемуазель де Мондес довольно громко, в то время

как Тереза подавала дыню.— Честность в наши дни редкая добродетель. Не так ли, Минни?

— Во всяком случае, когда я с ней встречаюсь, эта добродетель весьма сладка моему сердцу. Как говорит поэт: «*Nos juvat et melli est...*» — И каноник отчетливо повторил, слегка склонившись к своей племяннице: — «*Melli est*».

Но Минни, думавшая только о своем браслете, казалось, пропустила это мимо ушей.

Тогда, повернувшись к Мари-Франсуазе, каноник спросил:

— Вы учили латынь, мадемуазель?

— Да, монсеньор,— сказала Мари-Франсуаза, покраснев.

— Монсеньор, монсеньор... Какая милая! Это только в Италии раздают «монсеньора» направо и налево. Здесь я всего-навсего господин каноник.

— Заметь, Огюстен,— не выдержала мадемуазель де Мондес,— ты вполне мог бы стать епископом, если бы захотел.

— Да, но вот я предпочел ученые занятия... Так что вы, мадемуазель, наверняка поняли, что я только что сказал: «Это мне приятно, как мед». Слова Горация.

Столовая была обтянута зеленью. Меж толстых стволов, под сенью поблекшей листвы на битых молью лугах паслись олени и лани. В окнах отражались платаны Аллеи, поддерживая в травяной глубине комнаты аквариумное освещение.

Входя, Мари-Франсуаза твердила про себя совет матери: «Главное, не говори слишком много!»

Тщетная предосторожность. Ей и невозможно было бы вставить слово. Поскольку эта шушукавшаяся весь день семья, оказавшись за столом, переходила на крик. И каждый тут говорил о своем. Каноник рассуждал о богатствах латинского синтаксиса, Минни объявляла, что во второй половине дня у нее дела в Обане, в их имении; Лулу, чтобы добавить себе веса в глазах Мари-Франсуазы, расписывал тамошние красоты и высказывал свою точку зрения на использование земель. Мадемуазель де Мондес при случае отвечала то одному, то другому. Когда входила служанка, выражение ее физиономии делалось конфиденциальным, и она переходила на немецкий.

— Вы понимаете по-немецки, мадемуазель? — спросил каноник.

Мари-Франсуаза в смущении покачала головой.

— Всегда полезно знать язык врага, — заметила мадемуазель де Мондес. — Наш брат погиб в Дарданеллах.

И Мари-Франсуаза почувствовала себя ужасно «мелкобуржуазной» из-за того, что была воспитана всего лишь английской гувернанткой.

Поскольку приборы были с гербами, ее не удивила клеенчатая скатерть; наоборот, она в этом увидела знак простоты самого высокого тона. На щербатых тарелках замечала только золотой ободок. И едва почувствовала вкус немногочисленных и отнюдь не обильных блюд — ее восхищала обивка стен. Существа, которым в любых других обстоя-

тельстввах мы не уделили бы и минуты внимания, внезапно становятся для нас важнее всего на свете, если как-то могут повлиять на нашу любовь. Так и Мондесы для Мари-Франсуазы. Старая Эме, которой на церковной паперти подали бы два франка, маленький каноник, не стесняясь вытиравший губы своим муаровым поясом, графиня де Мондес в своем невообразимом наряде с кружевами и длинными бусами — все внушали Мари-Франсуазе величайшее почтение, потому что ее дальнейшая судьба зависела от них. «Понравилась ли я им?» — спрашивала она себя.

Но наибольшее впечатление на нее произвел граф Владимир де Мондес. А также внушил наибольшую тревогу. Желтолицый и вислоусый, с залезанными поперек узкого черепа редкими волосами, граф Владимир в течение всей трапезы тщательно собирал в блюдечки все, что представлялось зернами и орешками. Он уже собрал семечки дыни-канталупы. И сетовал, что не вынули зернышки из баклажанов, прежде чем их готовить.

— Я тебя умоляю, Влад, никаких споров в присутствии аббата, — шепнула ему тетя и пообещала примирительно: — На десерт вишневый компот, я тебе сама выну косточки... *Kirschen Compote*, — добавила она, поскольку входила Тереза.

Тут граф Владимир благодаря ходу мысли, который мог появиться только у него, опечалился о своем польском наследстве, потерянном из-за революции. Тысячи гектаров в окрестностях Крако-

ва... Леса, виденные им, впрочем, всего один раз, в тринадцатилетнем возрасте.

— До тысяча девятьсот четырнадцатого года, — сказал он, — по всей Европе, кроме России, можно было передвигаться без паспорта.

— У нас постоянно сложности на границах, с таможей, — подхватила Мари-Франсуаза. — Мы занимаемся маслом.

Это были ее единственные слова, но и они оказались лишними.

Граф Владимир прервал выковыривание семян из помидора и скользнул по ней из-под длинных век снисходительно-презрительным взглядом.

Графиня де Мондес находила Мари-Франсуазу слишком молодой и слишком накрашенной.

«Это безумие для Лулу, — говорила она себе, — жениться на малышке, у которой еще нет головы на плечах». Но все же ей приходилось признать, что, выходя за Владимира, она и сама была не старше. «Ну да, вот именно, мало что хорошего из этого вышло». На самом деле ей претила мысль стать свекровью, прийти к Дансельмам, например, в сопровождении двадцатилетней особы и сказать: «Вы знакомы с моей невесткой?» Лулу некуда торопиться.

У мадемуазель де Мондес не было мнения. Когда Лулу привел эту девушку, она отнеслась к ней скорее благосклонно. Впрочем, у Аснаисов водились деньги, а это никогда не лишне. И к тому же Мари-Франсуаза, похоже, нравилась «аббату», который вполне любил юность, когда она предоставляла ему обновление аудитории.

Тереза шаркала подошвами громче обычного, бросая на мадемуазель Аснаис недобрые взгляды, и столь регулярно обносила Лулу, что тот в конце концов рассердился.

— Ну а мне, Тереза! — воскликнул он недовольно, когда вишневый компот удалился, не будучи ему представлен.

— При нечистой совести голова забывчива, — заметила мадемуазель де Мондес, как бы ни к кому не обращаясь, и, протянув Мари-Франсуазе коробку с сахарином, добавила: — Компот без сахара... из-за аббата.

— Однако я нахожу его превосходным, моя дорогая сестрица! — воскликнул каноник. — Превосходным! *Hyblaeis apibus florem depasta salicti...* Это Вергилий, мадемуазель, как вы, без сомнения, узнали. *Hyblaeis apibus...*

На сей раз Минни слегка махнула канонику ресницами в знак того, что поняла. По их уговору дядина латинская фраза со словом «мед» или «пчела» извещала племянницу, что банка в шкафу подходит к концу. У каноника имелся для этого целый набор цитат, начиная с пресловутого стиха «Рой пчел гиблейских, налитанный цветами», который он только что произнес, до этого дерзкого образа: «*Medio flumine mella petere*», что означает: «Искать мед посреди реки», иначе говоря — гоняться за химерами.

Как только встали из-за стола, Лулу попросил извинения: он должен идти в Торговую палату. Дескать, как раз во второй половине дня состоится

важное заседание, на котором он не может не присутствовать. Он уверил машинально, что карандаши у него при себе.

— Оставляю вас со своей семьей,— сказал он Мари-Франсуазе.

Но семья в несколько мгновений рассеялась. Граф Владимир, ни с кем не попрощавшись, поднялся к себе на третий этаж, унеся свои блюда с зернышками. Эме сказала, что у нее дело на четвертом этаже... «Пока Тереза занята посудой»,— добавила она шепотом, для Минни. А та, как уже объявила за трапезой, должна была отправиться в Обань, в имение, где ей предстояло «кое-что посмотреть» с арендатором. Каноник перехватил ее на лестничной площадке.

— Банки нет на месте,— шепнул он.

— О, простите, дядюшка, это я виновата,— ответила Минни.— Я вчера ее позаимствовала, когда вернулась, чтобы подсластить отвар. А поскольку она была пустая, я ее выбросила. Забыла вам сказать.

— А, хорошо, тогда я спокоен.

— Я вам скоро принесу. Можете на меня рассчитывать.

Мари-Франсуаза, не осмеливаясь прервать эти уединенные беседы, застряла посреди прихожей, любуясь коллекцией старинных риз и распятий слоновой кости на бархатном фоне.

— Вы не торопитесь? — спросил ее каноник.— Тогда пойдемте поболтаем немного.

И Мари-Франсуаза в довершение своего визита к Мондесам получила право на один час с четвертью в кабинете с похоронными извещениями, где почетный каноник читал ей начало своего сорок третьего труда «Принципы и методы фокейской колонизации».

V

Драма разразилась ближе к концу дня, когда Тереза заметила, что ее комнату обыскали: обследовали шкаф, перетряхнули корзинку с корсиканскими сувенирами и даже развязали обувную коробку со сбережениями. Она скатилась через два этажа и, задыхаясь от гнева, влетела в буфетную, где мадемуазель де Мондес инспектировала содержимое ящиков.

— Я бы очень хотела знать! — воскликнула Тереза.

— Чуть потише, девочка моя, пожалуйста, — сухо сказала мадемуазель де Мондес.

— Я бы очень хотела знать, мадемуазель, кто копался в моих вещах.

— Это я, Тереза. У меня нет привычки таиться, — ответила старая дева. — И я сделала это в ваших же собственных интересах, прежде чем известить полицию насчет браслета мадам Минни. Так что если вы сделали глупость, еще не поздно покаяться.

— Так меня здесь держат за воровку?

— Потихе, — отрезала мадемуазель де Мондес, указывая на дверь. — Аббату незачем об этом знать... Я вас не обвиняю. Я вас только предупреждаю, что мы вызовем полицию. И это естественно: когда в доме что-то пропадает, начинают подозревать слуг.

Смутное лицо, взгляд, отягощенный гневом, растрепавшаяся прядь с зеленым гребешком на конце — Тереза, не выдержав, сорвалась:

— Меня тут держат за воровку, другого слова нет. Ну что ж, раз так, не вижу, почему я должна молчать.

— Ну разумеется, Тереза, если у вас есть что сказать, скажите.

Тереза набрала воздуха в грудь и секунду поколебалась.

— Вместо того чтобы искать дурное там, где его нет, мадемуазель лучше бы посмотрела туда, где оно есть... Это я обещана... уже четыре месяца, как обещана. Даже заметно становится, — выдохнула она, сорвав передник в виде доказательства.

Перед этим неожиданным признанием первая реакция мадемуазель де Мондес была довольно удивительна.

— Но как это с вами случилось, девочка моя, раз у вас нет выходного дня? — спросила она.

— Для этого выходить не обязательно.

— Как? Вы впустили мужчину в дом? Так он и есть вор, ну конечно! — вскричала мадемуазель де

Мондес, для которой пропажа браслета оставалась главной заботой.

— Да нет же, мадемуазель, никого я не впускала. Это господин Лулу... Господин Лулу мне это сделал... Ну вот, я и сказала! — разразилась рыданиями Тереза.

Неделями, пожираемая тревогой и горем, она молчала из страха, что ее прогонят. «Я не могу вернуться домой в таком состоянии, показать свой срам всей деревне. Отец не примет меня под своим кровом». Рассветы стали для нее мучением. «Сегодня же утром поговорю с господином графом; делать нечего, скажу ему... Хотя нет, скорее господину Лулу скажу. В конце концов, это его вина. Господи, что же со мной будет?» И опять день проходил, а она ничего никому не говорила, и приближалось время, когда признание заменит очевидность.

Но из-за обвинения в воровстве, да еще в такой момент, ее кровь вскипела, придав недостающее мужество. Теперь, освободившись от своей тайны, она плакала в три ручья. Блестя отлакированным слезами лицом, хлюпая носом и сотрясаясь грудью, убежала на кухню. Дверь кабинета приоткрылась.

— Что тут происходит? — кротко спросил все слышавший каноник.

— Ничего, друг мой, совершенно ничего, — поспешно ответила мадемуазель де Мондес, вытянув руки. — Служанка опять сделала глупость. — И закрыла дверь.

Мадемуазель де Мондес, которая провела жизнь, изобретая всякие драмы, чтобы добавить себе значительности, совершенно растерялась, когда разыгралась настоящая драма. Почувствовав, что ее шатает, села на стул в буфетной и подумала, что самым необходимым для нее в такой момент были бы несколько капель мятного алкоголя на кусочек сахара, если бы в доме был сахар.

Потом, немного оправившись, она последовала своей склонности к подозрительности. Тереза вполне могла солгать и обвинить Лулу в проступке, к которому тот не имел отношения... Бедный малыш Лулу, такой серьезный. Так регулярно ходит на свою работу и думает о женитьбе! Если у него и были приключения... мальчик есть мальчик, на то она и молодость... в любом случае, он их окружал самой большой скромностью и ни в чем не давал повода для скандала...

Шантаж и клевета: вот, без сомнения, с чем они столкнулись. Впрочем, девица без правил, способная украсть браслет, могла с таким же успехом заняться шантажом — все сходилось. И мадемуазель де Мондес тотчас же поднялась на четвертый этаж, чтобы расспросить госпожу Александр.

Ответы консьержки — увы! — отняли у мадемуазель де Мондес всякую иллюзию.

— Поселить вот так, дверь в дверь, молодого парня и девушку, это обязательно должно было случиться. Я-то видела, к чему все идет, да и слышала

тоже, ночью, не в обиду вам будь сказано. И должна заявить, что Тереза...

— Это ведь она соблазнила моего внучатого племянника своими бесстыжими ухищрениями?

— Э, вот уж нет, мадемуазель, совсем наоборот. Она, как могла, защищалась. Но мсье Лулу, знаете, был довольно напорист. День за днем, вот малышка и вошла во вкус. В ее возрасте это понятно. И к тому же она корсиканка. У них там кровь горячая.

— И почему же вы меня не предупредили, мадам Александр?

— А! Это уж не мое дело, мадемуазель. Мне и без того работы хватает с господином графом, который бросает свой мусор и засохшие семечки во двор, после того как я закончила подметать, и, потом, все эти хлопоты с домом, с лестницами, с почтой и всем прочим. У каждого свои дела, разве не так? Будь это кто другой, не мсье Лулу, еще бы ладно. Но тут...

— Вот мы и влипли,— сказала мадемуазель де Мондес.

— Это уж точно,— поддакнула госпожа Александр с искоркой удовольствия в глазу.— Тем более что Тереза сейчас очень нервная. Такое само собой не рассосется, точно вам говорю.

Графиня Минни явилась около шести часов с половиной, порозовевшая, с встопорщенным фазаньим пером на фетровой шляпе. Вернувшись из

Обаня, она успела заглянуть к Дансельмам, а также еще кое-куда, о чем не говорила. Казалась совершенно расслабившейся.

— Ну что ж, знаете, тетя Эме, — сказала она, — теперь я уверена, что браслет был на мне, когда я вернулась вчера вечером. И я начинаю разделять ваше мнение. Должно быть, это Тереза.

— Бедняжка Минни, у меня для тебя есть новость получше, — вздохнула мадемуазель де Мондес. — Ты станешь бабушкой.

VI

Граф и графиня де Мондес едва виделись и практически не разговаривали. Не то чтобы меж ними была когда-либо размолвка или настоящая распря. За двадцать пять лет брака они не устроили ни единой ссоры, и во время своих редких обязательных встреч на лестнице, в коридоре собственных апартаментов или за столом каноника обращались друг к другу с крайней учтивостью. Просто их связи распались, и они стали друг другу более чужими, чем если бы никогда друг друга не знали.

Вскоре после рождения Лулу постоянные мигрени вынудили Минни спать в другой спальне. Никто не смог бы сказать, страдал ли от этого тщедушный граф Владимир. Потом, через несколько лет, Минни устроила себе отдельную ванную комнату. Влад сохранил свою, и возможность их взгля-

дов на жизнь столкнуться между собой уменьшилась соответственно.

Минни де Мондес была женщиной деятельной и светской. Ее примерки требовали значительно времени. Модистка ее обожала, как кондитер мог бы обожать клиента, каждые две недели заказывающего фигурный торт.

Минни представляла семью по любому поводу, когда было необходимо показаться. Она служила извинением отсутствующим дядюшке, тетушке, мужу, и ее величавый вид воспринимался как настоящая честь и заплаканной вдовой, и простушкой, увенчанной флердоранжем, и новым председателем суда, ради которых она побеспокоилась. Минни владела особым искусством проплывать по нефам церквей и первой прибывать к кропилу или ризнице. Она занималась обаньским домом, где семья, за исключением Владимира, проводила самые жаркие недели лета. Была заместительницей председательницы в благотворительной организации «Кусок хлеба» и членом комитета «Ложка молока». К тому же, превосходно играя в бридж, более-менее покрывала за карточным столом, по ее утверждению, свои расходы на транспорт.

Такое количество растрачиваемой энергии свидетельствовало о некотором доверии к жизни и плохо согласовывалось с врожденным пессимизмом и слабыми физическими возможностями графа Владимира.

Записавшись добровольцем в 1918-м, в последний месяц войны, он не успел отличиться, но зато подхватил в армии плеврит, от которого, как он считал, так никогда полностью и не оправился. Лично для него победа обернулась потерей пресловутого польского наследства. Наконец, в довершение всех бед, он совершил ошибку, женившись на женщине гораздо крупнее себя.

Граф де Мондес рано пришел к мысли, что все усилия, которые мы делаем ради ближнего — человеколюбие, преданность, простое сочувствие, — на самом деле не более чем проявления скрытого эгоизма, потребности быть необходимыми, вызывать восхищение, благодарность; или же следствие низменного взаимного расчета. Примеров такой лицемерной добродетели вокруг него хватало. Не имея никакой надобности в чужом уважении, чтобы уважать самого себя, граф де Мондес и мизинцем не шевельнул бы ради кого бы то ни было. Да надо признаться, никому и в голову не приходило ожидать от него малейшей услуги.

Когда живешь один, много думаешь. Граф де Мондес размышлял над происхождением вещей и существ. Первоосновы жизни заключены в зародышах и семенах. В зернышке яблока содержится вся необходимая энергия для будущей яблони, а сердцевинкой одной дыни можно засеять целое поле в Кавайоне. С другой стороны, известно, что клеточную материю сохраняет алкоголь. Вот почему граф де Мондес с такой заботой собирал за столом

ядрышки и семечки, которые сначала высушивал на карнизе окна, а потом запихивал, дабы извлечь их «первооснову», в пузырьки с чистым спиртом, купленные у аптекаря. Таким манером он составлял себе жуткие напитки, которые потреблял малыми дозами, учено чередуя все энергии садов и медленно разрушая себе печень.

Когда тем вечером жена вторглась в его комнату, он удивленно спросил:

— Что случилось, друг мой? Еще не конец месяца.

Граф и графиня де Мондес все-таки ежемесячно встречались для рассмотрения совместных расходов, поскольку раздельно владели имуществом. Мондесы приняли эту предосторожность при заключении брака из-за польского наследства. Так что каждый из супругов сам покрывал свои траты. У графа Владимира их почти не было. Чтобы не платить за уборщицу, он самолично подметал свою комнату, расположенную прямо над кабинетом каноника, и ждал каждое утро, когда госпожа Александр выйдет во двор, а затем выбрасывал мусор в окно.

Зато Минни была весьма расточительна. Оставляла в своей комнате свет до поздней ночи. Надо думать, наследство ее отца, господина д'Олеон-Водана, бывшего судьи гражданского суда, оказалось более значительным, чем предполагали. Или сама Минни была настоящей деловой женщиной и сумела, прислушиваясь к правильным мнениям, до-

биться от своих ценных бумаг плодородности. Во всяком случае, Владимир никогда в это не вникал.

— Что же случилось, Маргарита? — спросил он снова, впервые за долгие годы используя настоящее имя своей жены, чтобы подчеркнуть всю необычность ее визита.

В тот самый час, когда графиня открывала своему супругу глаза на беспутство Лулу, тот, закончив стенографировать важный доклад о динамике рынка цитрусовых, разглагольствовал в кафе-мороженом в компании своих приятелей. Там он чувствовал себя королем. Его звали «де Мондес», его слушали, от него даже никогда не ждали, чтобы он заплатил по счету. Среди сыновей фрахтовщиков, этих юных масляных принцев и мыльных дофинов, он выглядел истинным аристократом.

Развалившись на стуле перед коктейлем «нуайи-кассис», он говорил о женщинах — веско, со знанием дела. У него в настоящий момент любовница корсиканка, великолепная девица, которая осталась в Марселе из-за любви к нему. Влюблена до такой степени, что порой по ночам начинает рыдать без причины.

— Надо понимать, нервы у них устроены не как у нас... И к тому же она наверняка инстинктивно чувствует, что это не продлится вечно, что скоро конец.

Ибо Лулу начал уставать от нее, как и от других. Всерьез подумывал о женитьбе.

— Мы все вынуждены к этому прийти, рано или поздно. Ведь в наших семьях надо передать имя, поддерживать традиции... А известно, что лучшие мужья получаются из тех, кто бурно провел молодость.

Поскольку приближался час ужина, он отправился к Аллее, весьма довольный собой, высоко держа голову и выпшагивая вразвалку. Под платанами он обнаружил господина де Мондеса, который поджидал его, глядя высокомерно и презрительно.

VII

Всю следующую неделю атмосфера в особняке Мондесов была до крайности гнетущей. Драма была тут — осязаемая, очевидная, укоренившаяся, подразумеваемая в малейшем слове, поддерживаемая каждым взглядом и каждым вздохом. Шушукались в уголках у дверей, обменивались унылыми перемигиваниями. Однако никто не находил решения, ни осмеливался его предложить.

Лулу не пытался отрицать. Впрочем, как бы он посмел? Он просто отбивался от всех и пытался переложить ответственность на других. В конце концов, Тереза так же виновата, как и он. И потом, семья не давала ему денег, ведь не мог же он поддерживать приличную связь на свое жалованье в Торговой палате! Впрочем, если бы подобное при-

ключение случилось у него с «кокоткой», неприятностей было бы еще больше.

— Тебе надо было всего лишь сделать как все: завести себе замужнюю женщину, — ответила ему мать.

Что касается графа де Мондеса, то он заявил, что в прежние времена Лулу отправили бы на Мадагаскар или по крайней мере в Камерун... И все, счастливого пути.

— В Камерун, нашего бедного малыша! — возмутилась мадемуазель де Мондес. — Влад, у тебя в самом деле нет сердца.

— В первую очередь у меня нет средств, чтобы оплатить его переезд и устроить плантатором, — ответил Владимир.

Теперь, признавшись в своем несчастье, Тереза отбросила всякую сдержанность. Подметала прихожую чуть не под вечер, била по тарелке в день и подавала подгоревшие блюда, шмыгая носом.

— Да что такое с этой бедняжкой Терезой, почему она все время плачет? — спрашивал каноник с невинным видом.

Он чувствовал себя обязанным разыгрывать неосведомленность, в которую верила одна лишь его сестра:

— Только представьте, такой скандал в доме духовного лица! — стенала мадемуазель де Мондес.

Несчастья идут чередой. Мадемуазель де Мондес, получив пять тысяч франков от одного из своих постояльцев, сложила купюру шесть раз попо-

лам и спрятала ее в горсти, чтобы никто не видел деньги в ее руках. Так она прохаживалась все утро, но потом бумажка куда-то подевалась, и она не могла ее найти. Опять Тереза, конечно... как и с браслетом, о котором теперь не осмеливались говорить.

— Она этим пользуется, шельма, она нас за горло держит, — говорила мадемуазель де Мондес.

Госпожа Александр уже не сдерживалась и с удовольствием сыпала соль на рану:

— Знаете, какие они, эти корсиканцы. Все сумасшедшие, экстремисты. Не дай бог, Тереза как-нибудь утром выбросится из окна, в ее-то состоянии!

— Да уж, — отвечала старая дева, — нам только этого не хватает.

Сплетни в Марселе всегда разносятся через дворы, так что в квартале уже пронюхали о деле. Несчастье Мондесов, поднимаясь по лестницам, прокрадываясь в кухни, медленно распространялось по соседним домам.

Одно было несомненно: Тереза не хотела уезжать в свои родные края — ни в коем случае и ни за какие деньги. О деньгах, впрочем, и речи не было. Граф Владимир заявил, что не даст ни гроша, и в этом пункте ему можно было доверять. Мадемуазель де Мондес говорила, что смирится с продажей чего-нибудь из мебели или распятий. Но как вынести из дому вещь, чтобы «аббат» не заметил? И думать нечего.

— А ты, Минни? Это же твой сын, в конце концов!

Минни сделала неопределенный жест. Она говорила с Терезой, и ей не показалось, что та замыслила извлечь материальную выгоду из своего положения.

— Еще бы, после всего, что она у нас украла! — воскликнула мадемуазель де Мондес. — Но чего же ей тогда надо? Это ужасно. Как раз когда бедный малыш Лулу задумал жениться, нашел очень приличную партию. Я навела справки. У этих Аснаисов денег полно... Весь город скоро будет знать. А чего ты хочешь, при таких-то обстоятельствах...

— В самом деле, это было бы чудовищно, — сказала Минни задумчиво, хотя трудно было догадаться, что она под этим понимает.

Лояльность графини де Мондес выбирала весьма неподвижные пути.

VIII

После своего обеда на Аллее Мари-Франсуаза жила в состоянии экзальтации. Трогательнее всего было то, что она не скрывала своего восторга. Послушать ее, так особняк Мондесов был последним бастионом аристократической мысли, а Мондесы — самыми замечательными людьми, которых она когда-либо встречала. В доме, обставленном целиком «по-средневековому», — сплошь музейные коллекции. Лулу де Мондес живет в настоящей монашеской келье. Разговор за столом шел то по-латыни,

то по-немецки, самым непринужденным образом. Граф Владимир, несомненно, потомок польских королей. А что касается каноника, то он удостоил девушку долгой литературной беседой, он один из первых писателей Франции, в серьезном роде, разумеется, и только исключительная скромность мешает ему приобрести еще большую известность.

Казалось, что за время одной трапезы Мари-Франсуаза узнала больше, чем за девятнадцать лет буржуазного воспитания в лоне своей семьи на Райской улице.

«У Мондесов салфетки сложены не так... У Мондесов кофе пьют в столовой... У Мондесов...»

Г-ну Аснаису это начало надоедать.

— Ну, если у этих Мондесов все так потрясающе, отправляйся к ним жить, дочка!

— Э... вообще-то... Вот именно...

И Мари-Франсуаза торопила мать с приглашением Лулу. Это было бы минимальной данью вежливости. Но Мари-Франсуаза надеялась, что обед состоится в ресторане.

— Конечно, мы это сделаем, но не будем подавать виду, будто торопимся, — отвечала госпожа Аснаис.

А мисс Нелл умиленно качала головой.

Вместе с тем в поведении Мари-Франсуазы произошло несколько изменений. Ей показалось необходимым ходить к мессе в воскресенье утром, чем она пренебрегала примерно со времени своей конфирмации. Кино перестало ее интересовать; теперь

она проводила свои дни в муниципальной библиотеке, склонившись над томами in-quarto «Сокровищ церквей Прованса».

— Наверное, готовите диссертацию, мадемуазель? — спрашивал ее библиотекарь. — Эту книгу нечасто берут.

Так что, когда в конце утра у Аснаисов зазвонил телефон и графиня де Мондес пригласила Мари-Франсуазу выпить с ней чаю сегодня же, в «Кастельмура», девушка принялась танцевать одна по квартире. Больше никаких сомнений: это необходимая, решительная встреча будущей свекрови и будущей невестки перед официальным сватовством.

— Все это очень мило, очень мило, — пробурчал толстогубый господин Аснаис, — но мне надо серьезно поговорить с этим молодым человеком. И предупреждаю тебя, что тщательно изучу брачный договор.

В сущности, он был изрядно польщен, что его дочь (его, чей дед собирал оливки) столь живо востребована людьми, которые, если верить Мари-Франсуазе, за шесть веков потеряли привычку нагибаться, чтобы застегнуть свои башмаки.

Мари-Франсуаза вновь позаимствовала у матери нитку мелкого жемчуга и вновь приколола безобразную божью коровку мисс Нелл. Ее лицо сияло уверенностью. Радость распирала ей щеки. Казалось, она дышит на всю улицу.

IX

Прибытие в «Кастельмуру» прекрасной графини де Мондес в очередной шляпе, как у берсальера, всегда вызывало некоторое волнение у сестер Каде, управлявших этой элегантной кондитерской. Одна из барышень — та, что постарше, — почувствовала себя обязанной выйти из-за стойки и переместить свои округлости к столику, где только что расположилась именитая посетительница.

Мадемуазель Каде учтиво поздоровалась, справилась о самочувствии господина графа, о трудах каноника, о бодрости мадемуазель Эме, потом вернулась к кассе, откуда двадцать лет наблюдала за движениями приличного марсельского общества.

Одетые как дамы-благотворительницы, барышни Каде оживляли свои черные платья несколькими стеклянными украшениями, которые выглядели карамелью и леденцами, да и все в них — розовые не по возрасту лица, позы, как на коробках конфет, сама их манера изъясняться — казалось обсахаренным.

Каждый день после пяти часов любопытство большой провинции, женская праздность, детское обжорство сосредоточивались в «Кастельмуру», между панелями в стиле Людовика Шестнадцатого и гирляндами из искусственного мрамора. Зеркала отражали хождения взад-вперед и помогали посетительницам подглядывать друг за другом, не проявляя невежливости. Разговоры тут были сдержан-

ными. Меж столиками сновал, подавая сиропообразные напитки, опытный персонал. Поминутно какая-нибудь из женщин вставала и с тарелкой в руке направлялась к серванту на витых ножках, где громоздились сладости. Словно курица к кормушке. Она кудахтала там мгновение, здоровалась по кругу, потом возвращалась, нагруженная, клохчущая и довольная.

Мари-Франсуаза пикировала прямо на одноногий столик, откуда графиня де Мондес, сидящая с соломинкой во рту над кофе по-льежски, помахала ей рукой.

— Эта малышка Аснаис свежа, как пышечка, — шепнула старшая из Каде.

— Неспроста это чаепитие с графиней, у нас, — ответила младшая. — Наверняка за всем этим свадьба, чему я не удивлюсь.

— Надеюсь, сделаем буфет.

Мари-Франсуаза представила Минни свои смущенные извинения.

— Не думала, что опоздаю.

— Вы вовсе не опоздали, мое дорогое дитя. Это я всегда прихожу раньше срока.

Сначала беседа крутилась около моды. Графиня категорично высказалась за туфли с круглыми носками, отвергнув острые:

— Это надо оставить горничным.

Поскольку на Мари-Франсуазе были как раз остроносые туфельки, она убрала ноги под стул.

Что касается ногтей, то «женщинам мало-мальски светским» подобало наносить только бесцветный лак. И Мари-Франсуаза спрятала пальчики под края блюда.

Потом графиня внезапно начала свою атаку.

— Я не могла не заметить, мое дорогое дитя, что вы питаете некоторый интерес к моему сыну, а с другой стороны, что он сам очень вами увлечен.

Мари-Франсуаза покраснела. Если бы место больше к этому располагало, она бросилась бы на шею госпоже де Мондес.

«Ну вот, Лулу поручил своей матери сказать мне то, что не осмеливался объявить сам», — подумала она.

— Только, дитя мое, мужчины есть мужчины, — продолжила графиня, отметив свою фразу глубоким вздохом. — Есть вещи, о которых я должна вас уведомить. Полагаю, это мой долг.

Ах, с каким тактом графиня де Мондес взялась исполнить этот долг! Какую деликатность приложила, чтобы раскрыть глаза невинной девушке! Какой героизм ей понадобился, чтобы поведать Мари-Франсуазе о драме, потрясшей семейство Мондесов, и как бы ей хотелось сохранить втайне этот стыд! Какая крестная мука для матери быть вынужденной к такому признанию! Но, по совести, могла ли она смолчать? Она испытывает слишком большое уважение к Мари-Франсуазе, а потому не вправе допустить, чтобы та увязала в безысходных иллюзиях. Ей бы не хотелось, чтобы Мари-Фран-

суаза из-за того, что не была предупреждена, оказалась в нелепой или скандальной ситуации. Она чувствует себя морально обязанной... Да, у Лулу будет ребенок... Да, от кухарки. Мари-Франсуаза ее видела, когда та подавала на стол... Минутная ошибка, но из тех — увы! — что губят целую жизнь. Минни надеялась, что Мари-Франсуаза сумеет уважить оказанное ей доверие и сохранит полнейшее молчание...

— Что вы хотите, мое бедное дитя, мужчины есть мужчины, — повторила графиня в виде заключения.

Она была так увлечена, слушая саму себя, так восхищалась собственными величием души и дипломатическим талантом, что заметила результаты своих трудов, лишь когда малышка Аснаис, сделавшись блее салфетки, чуть не потеряла сознание.

Минни заставила ее выпить стакан холодной воды, не переставая говорить:

— Как? Значит, эти планы были уже так серьезны? Ах! Вы сами подтвердите мне, что я поступила правильно! Рано или поздно вы бы узнали. Это как хирургия: чем дольше откладываешь операцию, тем больше страдаешь.

Она еще раз довольно внимательно осмотрела девушку и подумала: «Нет, решительно я не смогла бы прийти с ней к Дансельмам».

Манни сделала выбор между несчастьем стать бабушкой и несчастьем стать свекровью: поскольку одного было не избежать, она, по крайней мере, вос-

пользовалась им, чтобы уничтожить другое. К тому же незаконнорожденного ребенка можно утаить, а невестку нет. А во-вторых, в жизни женщины бывают моменты, когда конкурентки нестерпимы.

Мари-Франсуазе удалось овладеть собой по пути к порогу кондитерской, где графиня де Мондес поцеловала ее почти по-матерински, в обе щеки, из-за обеспокоенного взгляда сестер Каде. Но, едва оставшись одна на тротуаре, Мари-Франсуаза почувствовала, что не может вернуться к себе в таком состоянии. Отвечать на вопросы, объяснять, что случилось... Никто не сможет понять, и в первую очередь ее семья. Отца ее разочарование лишь позабавит, даст повод поиронизировать. Ее жизнь разбита. Навсегда. От столь тяжкого унижения, от столь трагического разочарования не оправляются... И вместо того чтобы подняться обратно по Райской улице, она пошла топить свое горе среди толпы на бульваре Ла Канебьер.

Судьба захотела, чтобы Лулу, вышедший в этот час из Торговой палаты и направлявшийся по своему обычаю к кафе-мороженому, заметил ее. Она шла неуверенным шагом, опустив глаза в землю и держа под носом платок.

— Э, да что случилось, Мари-Франсуаза?

— Ах! Вы, никогда... Я никогда больше не хочу вас видеть! — воскликнула Мари-Франсуаза, протирая руку. — Ваша матушка мне все рассказала... Это слишком ужасно... Ваш ребенок!..

— Что? Моя мать вам рассказала? Да куда она лезет?

— Ах! Ни слова против вашей матушки. Она была великолепна... Чувство нравственного долга! Это вы чудовище!

Недобрый взгляд вспыхнул в серых глазах Лулу, и он нервно отбросил волосы назад.

— Чувство нравственного долга! — повторил он. — Ну что ж, она мне за это заплатит, шлюха!

Это слово, весьма далекое от ее представлений о языке Мондесов, особенно в устах сына, говорящего о своей матери, удивило Мари-Франсуазу. Но удивление было уже отнюдь не первым, и вполне приходилось ожидать, что Лулу способен на все.

X

Граф Владимир закончил уборку. Облокотившись на подоконник, где сохли его зернышки, он уже четверть часа поджидал с совком в руке, когда во двор выйдет госпожа Александр, чтобы бросить туда свой сор. В этой позиции и застал его сын. Граф обернулся: решительно в последнее время к нему в комнату слишком зачастили.

Лулу держал довольно несвежую большую коробку из-под шоколадных конфет от «Кастельмура», перевязанную розовой шелковой лентой с множеством затяжек от прежних узлов.

— Мама угробила мою женитьбу, — сказал он. — Рассказала все Мари-Франсуазе Аснаис. Вроде бы во имя нравственности. Что касается маминой нравственности, я тут кое-что принес, это может тебя заинтересовать.

Граф Владимир воздел брови, и его длинные веки немного приподнялись.

— Где ты это взял? — спросил он.

— В мамином секретере.

— Как ты его открыл?

— Там обычный замок. Перочинным ножиком, легко.

Владимир воззрился на юношу. Плоский череп, рот с отвислыми уголками, узкое, лишенное юности лицо — это его сын. Когда графу де Мондесу случалось наблюдать своего отпрыска, ему всегда было неприятно убеждаться, до какой степени тот на него похож.

— Мужчины ведь должны поддерживать друг друга, — сказал Лулу, смущенный этим взглядом.

Он положил коробку на стол и исчез. Владимир после некоторой задумчивости развязал розовую ленту и снял крышку с потускневшей позолотой. На ковер посыпались письма. Владимир даже не пытался искать подпись, чтобы установить автора этих посланий. У господина Дюбуа де Сен-Флона была слабость: он любил собственный образ, и в старой коробке из-под шоколадных конфет имелось почти столько же фотографий, сколько и писем: Жак де Сен-Флон, вручающий кубок на конных состязаниях, торжественно открывающий скаковое

поле, красавец де Сен-Флон за веслами скифа, судящий регаты, присутствующий на теннисном матче или оказывающий честь клубу «Голубые волны», активным президентом которого являлся. В купальном костюме, в белых брюках, в канотье, в котелке, в штанах для верховой езды, с ракеткой в руке, с улыбкой на устах, с иссиня-черной шевелюрой на самых старых снимках и с посеребренными висками на более поздних... Это длилось восемнадцать лет.

Чтение писем очень быстро доказало графу Владимиру, что речь шла отнюдь не о безответной любви, о неутоленной страсти, об одном из тех безнадежных обожаний, в течение всей жизни наталкивающих на яростные запреты добродетели, когда женщины, ставшие их предметом, хранят эти свидетельства, чтобы питать ими в некоторые вечера свою ностальгию. Наоборот, было весьма похоже, что предприимчивость господина де Сен-Флона стремительно увенчалась успехом, что к его объятиям привыкли довольно быстро, а его пламенные признания получили в ответ ничуть не меньше самоотдачи, пыла и исступления.

Эпистолярный стиль господина де Сен-Флона не обременял себя чрезмерной стыдливостью. Таким образом, граф Владимир смог узнать о любовных пристрастиях своей жены, о ее дерзаниях, о неистовстве ее appetitов и о щедрости, с какой она их утоляла, — в общем, обо всем том, о чем он даже не подозревал. Он всегда считал это огромное белокурое создание сдержанным и довольно холод-

ным в чувствах. Как же обманываются обманутые! Приходилось признать, что господин де Сен-Флон, если верить тому, что он писал о себе самом без тени скромности, был, видимо, большим удалцом и чемпионом в этом виде спорта, как и в других. Минни целых восемнадцать лет была идеальной партнершей этих интимных состязаний.

Письма открыли маленькому графу Владимиру некоторые аспекты любви, никогда прежде не задевавшие его воображение.

Это и было настоящим сюрпризом, ибо, обнаружив, по сути дела, что так давно был осмеянным мужем, он не испытал ни гнева, ни даже удивления.

На самом деле он знал. Всегда. Но упрямо закрывал глаза, отстранял подозрение, избегал малейшего вопроса, исключал всякий контроль, чтобы и дальше жить в безопасности и неведении. Он знал, но не хотел знать: ведь уверенность без доказательств никогда не считается полной.

И вот теперь ему насильно, злонамеренно открыли глаза. И вот вечерние мигрени Минни, загонявшие ее в постель, а потом — в отдельную спальню, получили свое объяснение. И вот вся ложная хлопотливость его жены, десять примерок ради одной шляпки, комитеты «Ложки молока», необходимые визиты в обаньское имение, беспрестанные похороны, партии в бридж у Дансельмов, которые заканчивались всегда позже, чем у других, — все это обретало свою причину и цель. Каждое передвижение графини проходило через бульвар Прадо и

большую виллу среди магнолий — наполовину нормандское шале, наполовину луарский замок, — где жил элегантным холостяком господин де Сен-Флон. И у денег, которые тратила Минни, наверняка был тот же источник...

«Я был никчемным человеком, — думал Владимир, — и вдобавок обманутым мужем. Я думал, что поддерживаю некий фасад. И этот фасад растрескался, превратившись в посмешище... Но почему тогда она хотела выйти за меня?»

Ибо когда великолепная мадемуазель д'Олеон-Водан, дочь мелкого судейского без всякого состояния, бросилась ему на шею, когда засвидетельствовала ему безмерное восхищение, необъяснимое благоговение, ошеломленный Владимир все отнес на счет любви. Теперь, накануне старости, он понял.

«Она выходила замуж за графскую корону, за титул, за дом на Аллее, которые позволили ей проникнуть в определенное общество. Очевидно, если бы она не была графиней де Мондес, то имела бы мало шансов стать любовницей красивого барона де Сен-Флона. Вот зачем ей это было нужно... К тому же быть замужем за такой вошью, как я... Это ее люди должны были жалеть! А Сен-Флон, всегда такой учтивый, переходит улицу, чтобы пожать мне руку, регулярно приглашает меня на приемы, на которые я никогда не хожу, присылает мне поздравления на каждый Новый год... Что ж, я ему устроил прекрасную жизнь».

Владимир положил в коробку пыльные письма и фотографии, наделившие лицом, усами, плечами, руками — словом, реальностью его незадачу. Не спеша вновь завязал розовую ленту.

«Если бы хоть Минни начала тремя-четырьмя годами раньше, у меня было бы утешение думать, что этот гаденыш Лулу не мой сын. Увы!»

Граф застегнул манжеты, немного запачкавшиеся из-за уборки, надел пиджак и черную фетровую шляпу. Уже выходя, заметил, что забыл очистить совок, и выбросил его содержимое в окно безразличным жестом. Снизу донеслись вопли: госпожа Александр получила все себе на спину. Она еще кричала, изрыгая грубые ругательства, когда граф Владимир пересек вестибюль, направляясь к выходу.

— Вот именно, мадам Александр, я сру на вас, — сказал он ей спокойно своим тонким голосишком.

Консьержка застыла в изумлении. Никто никогда не слышал, чтобы господин граф употребил подобное слово.

Он вернулся, лишь когда все уже расселись за столом у каноника. Вошел с опозданием на две минуты, держа в одной руке слишком тяжелое для него огромное зеленое растение, а в другой — коробку от «Кастельмура».

— Но... в чем дело, Влад? Разве сегодня у кого-нибудь праздник? — удивилась мадемуазель де Мондес.

Владимир поставил зеленое растение прямо посреди стола; густые, как на кусте, листья достигали бронзовой люстры, обрамленной кисеей.

— Таким образом,— произнес он,— я больше совсем не буду видеть мою жену, и ее лицо перестанет докучать мне при единственных обстоятельствах, когда я еще имею случай ее видеть.— Потом, протянув Лулу коробку из-под шоколадных конфет, добавил: — Отдашь своей матери, думаю, это ее.

— Влад! Делать такое в присутствии аббата! Ты с ума сошел! — вскричала мадемуазель де Мондес, в то время как Минни, обмякшая на стуле, казалось, была на грани обморока.

Старая дева сбегала за своим флаконом с английской солью и стала совать его под нос брату.

— Займись лучше племянницей. Похоже, она в этом нуждается больше, чем я! — сказал, вставая, каноник и гневно бросил салфетку на середину стола.

Потом заперся в своем кабинете, решив подкрепиться несколькими ложками меда.

Не обращая ни на кого внимания, граф Владимир начал выскабливать семечки из дыни.

XI

Прошло еще восемь дней, поскольку ничто никогда не шло быстро в особняке Мондесов. Но друг с другом тут больше не разговаривали. Минни не

говорила со своим сыном. Влад не говорил с Минни. Эме перестала говорить и с Минни, и с Владом. А каноник, дабы не скомпрометировать себя, не обращал ни слова вообще ни к кому.

Одна только Тереза время от времени плакси-во спрашивала мадемуазель де Мондес:

— Ну а мне-то как быть, мадемуазель?

— Ах, я вас умоляю, девочка моя! Во-первых, все из-за вас.

— Но в конце-то концов, мадемуазель, это же я беременна!

Одним прекрасным утром Влад вошел в кабинет каноника, чтобы позаимствовать у него листок бумаги.

Каноник уже дошел до последней главы своего труда о фокейской колонизации. Несмотря на семейные драмы, эта работа шла у него быстрее, чем он рассчитывал. Можно было даже подумать, что беспокойная атмосфера в доме стимулировала его ум.

«Итак, как мы видели выше, фокейцы устанавливали торговые фактории вдоль берегов,— писал он,— но не старались завоевать окрестную страну или навязать тираническую администрацию народам, с которыми торговали. Их марсельские потомки, которые в 1650 году основали Африканскую компанию, предшественницу Индийской, продолжали следовать этим мудрым принципам...»

«А вот это англичанам — бац! Пусть получают»,— сказал он себе, не думая о том, что его работка вряд ли попадется когда-либо на глаза британскому читателю.

Видимо, заимствование листка бумаги было всего лишь предлогом, поскольку Влад остался. Заметив его затянувшееся присутствие, каноник отложил перо. Влад, очевидно, хотел что-то ему сказать, но не мог подобрать слова. Прошло несколько минут. Наконец Влад решился.

— Было бы ошибкой, не правда ли, дядюшка, разводиться в моем возрасте? — спросил он.

Каноник не торопясь взвесил все составляющие своего ответа.

— Конечно, друг мой, — сказал он. — И не только с христианской точки зрения, которая одна должна иметь для меня значение. Если твоя супруга, как я, боюсь, догадался, была тебе неверна, это еще не причина, чтобы ты нарушал закон Божий и делал из ее греха повод для скандала... Я пытаюсь представить себе твои чувства. Насколько могу. О! Я понимаю: простить изменившую жену очень мило, однако наш Господь не был женат... Только задайся вопросом: к чему тебя приведет развод? Тебе больше пятидесяти лет. Твоя жизнь прожита.

— И плохо прожита, — уточнил Влад. — В сущности, я вообще зря женился. Я был последним из Мондесов. Хотел продолжить род. И вот вам результат! Прожил без радости в тени этой великанши...

Каноник принялся расхаживать по кабинету. Прошелся своими крошечными ботиночками с немногo вздернутыми носами по нескольким рассыпанным извещениям, помахивая при этом, как ин-

дюшачьим хвостом, полами своей сутаны, отчего вспархивали редкие белые волосики, еще остававшиеся на его маленьком сморщенном черепе.

— Как и я, видишь ли. Как и я. Я тоже ошибся, согласившись жить вместе с сестрой. Мне семьдесят один год, но, поскольку я на два года младше, она все еще обращается со мной как с мальчуганом. И к тому же она ханжа. Я все принимал. Всегда. Не противился, ради спокойствия. Она вынудила меня загубить мою жизнь... И к тому же я вообще слишком рано принял постриг. Мне надо было сперва немного узнать мир. Я ничего не знаю о проблемах, которые встают перед моим ближним, и не могу быть полезным никому... Вот, не далее как сегодня утром собирался я служить мессу у Реформатов. Подошла какая-то дама и что-то прошептала мне на ухо. Я не обратил внимания и ответил: «Я не священник этой церкви, мадам. Чтобы исповедаться, обратитесь в ризницу». Она говорит: «Да нет же, господин аббат, я не ради исповеди. У вас пояс размотался и волочится по полу». Вот видишь, это другие всегда оказывают мне услуги, а я, что я делаю для них?

Он умолк на несколько минут. Молчание нарушал лишь шорох его сутаны и тихий звук, который производил Владимир, отскребая ногтем пятно на своих брюках.

— В польских семьях незаконнорожденных не отвергают,— произнес наконец Владимир.

— Ну да, я хорошо знаю,— ответил каноник.— Но мы все-таки не можем женить Лулу на служанке.

— Хотя это все, чего он заслуживает.

— Таинство брака не налагается как наказание,— заметил каноник.— Желая торжества добра, мы всего лишь усугубим зло. Я много размышлял в эти дни, пытался отвлечься от буржуазных предрассудков, чтобы сосредоточиться только на велениях религии... Ах! Очевидно, если бы Лулу любил эту бедную девушку, нам осталось бы лишь подтолкнуть его к правильному поведению. Но он не подает ни малейшего признака. Она, впрочем, тоже. Я пытался разговаривать их немного... Не ставя в известность твою тетку, разумеется. Мне показалось, что они уступили друг другу, искушаемые злополучной теснотой. А раз нет любви, чтобы сгладить социальное неравенство, какие есть шансы для установления христианского союза? Слишком часто браки, улаживающие подобные дела, заканчиваются разводом и ребенок в любом случае оказывается покинут своим отцом. Церковь не поощряет вынужденные союзы. Тут еще надо подумать, является ли обязательство, взятое на себя под некоторым принуждением, вполне законным... Возможно, я напишу небольшой труд по этому вопросу, как-нибудь на днях...

Каноник прошел мимо окна.

— А! Уже полдень,— сказал он машинально, бросив взгляд поверх двориков на балкон улицы Дюгомье.

— Все же ребенок этот, хотя бы того или нет, — Мондес и, вполне вероятно, единственный, который у нас будет, — продолжил Владимир.

— Лулу может его признать и не женившись на его матери.

— А как он его будет растить? Пряча в чулане, никогда не видя? И к тому же платить за его содержание придется опять мне... Если уж все равно придется на это тратить, я тут подумал...

— О чем же ты подумал? — спросил каноник.

— К несчастью, это невозможно. Я подумал о том, чтобы самому усыновить его и вырастить здесь. Навел справки. Но когда уже есть один ребенок, закон этому препятствует.

Они снова замолчали. Владимир, уставившись взглядом на ковер, покусывал кончик уса.

— А разве невозможно, дядюшка... — начал он задумчиво. — Не может ли духовное лицо усыновить ребенка?

— Увы, мой дорогой Влад, — вздохнул каноник. — Я тоже рассматривал эту возможность, представь себе. И даже говорил об этом с епископом.

— Правда?

— Ну да. Только, как я и предполагал, правила церкви этому противятся. Усыновление рассматривается как некая замена природного отцовства, которое несовместимо с саном священника. Итальянцы даже шутят: «Священника все зовут “отец”, кроме его собственных детей, для которых он “дядя”».

— Тогда не вижу решения, — пробормотал Владимир.

И вдруг одновременно у обоих во взгляде вспыхнула одна и та же искорка. Они внезапно увидели средство одним махом взять реванш над всем лицемерием, ложью и моралью приличий, которыми была опутана их жизнь. Огромный фарс, бомба, которую они взорвут в лоне семьи.

Дядя и племянник проговорили еще с четверть часа, пока Тереза не объявила обед. Оба вошли в столовую с высоко поднятой головой, сильные своим союзом и своим решением.

Владимир сел за зеленым растением. Каноник развернул салфетку, кашлянул, чтобы прочистить горло, и объявил тоном, не приемлющим возражений:

— Мы с Владом только что долго говорили и полностью сошлись во мнениях. Мы решили, что ребенка Терезы должна усыновить моя сестра Эме.

XII

Все, что могла сказать Эме, все, что могла сказать Минни, осталось напрасным. Владимир пригрозил разводом, а каноник — покинуть дом, потребовав раздела имущества, если не поступят согласно его воле.

— Но где же его будут воспитывать? — спросила Минни.

— Да здесь же, разумеется, мой дорогой друг, — ответил Влад. — Это ведь твой внук, если, как я надеюсь, родится мальчик... который по закону, впрочем, будет нашим кузеном.

— А как же тогда наследство тетушки Эме?

— Он неизбежно перепрыгнет через голову Лулу. И думаю, что каноник тоже сделает необходимые распоряжения...

— Должна признать, что Лулу так и надо, — ответила Минни, все еще изрядно злившаяся на своего сына. — А Тереза?

— И речи быть не может, чтобы разлучить мать и ее дитя. Она останется у нас так долго, как ей будет угодно.

Упрямство не привело бы ни к чему, кроме еще больших скандалов, и Минни была вынуждена смириться с решением мужа, как Эме с решением брата.

— Усыновить плод греха! В моем-то возрасте! — стонала старая дева.

— Вот, дорогая сестрица, в твоей жизни впервые появился повод стать по-настоящему полезной.

— Неблагодарный!

Но страх увидеть, что ее брат съедет, — «Он же не сознает, что умрет от этого, бедный аббат...» — заставил ее капитулировать.

Столь же удивительной и весьма восхитительной была позиция мадемуазель Аснаис. Достигнув

дна отчаяния и проведя не одну неделю в состоянии прострации, которая не преминула беспокоить ее близких, Мари-Франсуаза однажды утром взяла перо и, трижды начиная, написала Лулу письмо, которое было шедевром самоотверженности. Она сожалела о горячности, которую проявила во время их последней встречи; она понимала, она принимала, она прощала. Мучительное событие (так она обозначила беременность служанки) было, возможно, всего лишь испытанием, которое послал ей Бог, чтобы она разобралась в себе самой и увидела, насколько сильны и непреходящи ее чувства по отношению к Лулу. Она была готова разделить с ним жизнь и в горе, и в радости, а поскольку горе уже случилось, теперь их могла ждать только радость. Одним словом, Мари-Франсуаза не видела больше препятствий их союзу, и весь стиль письма свидетельствовал о том, что она хорошо изучила труды каноника.

В общем, ничто не пощадило графиню де Мондес. Минни слишком поздно заметила, что злощастная инициатива, которую она проявила «во имя морали», пригласив девушку в «Кастельмуро», помимо весьма неожиданного результата, открывшего их связь с господином де Сен-Флоном, еще и придала осязаемость едва намечавшемуся проекту и лишь послужила тому, чему она хотела помешать. Мари-Франсуаза вела себя теперь так, будто чуть ли не официально была обручена.

Каноник, к которому обратилась племянница, отныне уже не чувствовавшая былой уверенности в себе, не выдвинул возражений.

— Но, дядюшка, ведь она дочь торговца маслом!

— Неужели ты думаешь, что с ребенком в доме, у всех на виду, твой сын может надеяться на лучшую партию? Я нахожу даже, что ему еще крупно повезло. Он мне показал письмо от нее. Мальшика очень недурно пишет.

Что касается Владимира, то он совершенно не интересовался вопросом.

— Лулу уже взрослый, пусть делает, что хочет. Просто предупреждаю, что не дам ему ни гроша.

Лулу, захваченный событиями и убежденный, что был влюблен в мадемуазель Аснаис с их первой встречи, утверждал, что брак этот щедро вознаграждает самые смелые его желания.

Со своей стороны Мари-Франсуаза долго втолковывала своей семье (поскольку история с ребенком неизбежно получила огласку), что бастарды вполне в традициях знатных семей. Это только мужланов коробит. Известно ведь, что у Людовика Четырнадцатого были побочные дети, да и у Карла Пятого и многих других.

В итоге после целого месяца борьбы господин Аснаис дал свое согласие.

— В конце концов, у меня всего одна дочь, и не для того я ее растил, чтобы она была несчастна. По крайней мере, пускай сама выбирает свои несчастья, — заявил он. — Так что становись графиней де

Мондес, дочка, если это доставит тебе удовольствие.

Бракосочетание назначили на конец ноября, чтобы после рождения ребенка прошло не меньше шести недель. Но Тереза, должно быть, ошиблась в расчетах, поскольку в последних днях октября, будучи уже на сносях, все еще не родила. Весьма опасались, что она будет настолько бестактна, чтобы разродиться как раз в утро церемонии. Жили в тревоге. Мадемуазель де Мондес справлялась у нее по десять раз на дню, не чувствует ли она первые родовые признаки.

Слава богу, эти признаки появились за добрых две недели до даты, назначенной для заключения брачного договора и чаепития. Тотчас же отправили за госпожой Бельмон, восьмидесятилетней акушеркой, которая завязывала пуповину еще дя-дюшке Луи, погибшему в Дарданеллах, Владимиру да и самому Лулу. О том, чтобы доставить Терезу в больницу, даже не помышляли.

— Все Мондесы родились под своим кровом, — заявил Владимир, как всегда приплетая к собственной скупости традиции.

И вот в мансарде четвертого этажа Тереза произвела на свет толстого, уже чернявого мальчика — короткононого, но широкоплечего, — который в миг своего первого крика был необычайно похож на своего деда, сапожника из Кальви.

Долго подыскивали имя из тех, что носили в семействе Мондесов, но не слишком недавно. Нашли

«Анж», которое, по словам каноника, не давалось «с конца прошлого века», что для него означало век восемнадцатый. В самом деле, последний Анж де Мондес был гильотинирован при Конвенте.

Тереза хотела назвать своего сына Наполеоном. Ей сделали уступку, решив, что это имя будет четвертым.

Анж-Эме-Владимир-Наполеон де Мондес (мать объявлена неизвестной, и формальности усыновления улажены тотчас же после рождения) был крещен его двоюродным прадедом каноником в собственном кабинете в присутствии всей семьи. В качестве крестной матери была призвана госпожа Александр, консьержка, а крестным отцом стал граф Владимир.

— Знаете, господин граф, кум куме всегда делает подарок, — сказала г-жа Александр.

— А! Да... — отозвался Владимир.

Он искал что-нибудь такое, что могло бы ничего ему не стоить.

— Ну что ж, — заявил он наконец, — я больше не буду выбрасывать мусор во двор.

XIII

Служащих общества «Главный коллектор отбросов» попросили освободить на день помещения первого этажа, где располагалась их контора, чтобы Мондесы могли устроить там прием с чаепи-

тием в честь подписания брачного договора. Утром пришли уборщики, а сестрам Каде поручили буфет. Ожидалось не меньше четырехсот человек.

— Предусмотрим с избытком, — заявила мадемуазель де Мондес. — Из-за этого скандала, который устроил Влад (ибо теперь именно Владимира считали ответственным), на нас все придут полюбоваться.

Пока дом гудел последними приготовлениями, пока вниз таскали стулья, потом, заметив сломанные ножки, таскали обратно, пока специально нанятые слуги натягивали в кухне слишком узкие черные костюмы, а сестры Каде руководили распаковкой пирожных, каноник в своем кабинете обдумывал речь, которую ему предстояло произнести послезавтра, на бракосочетании Лулу. Он не любил делать что-либо впопыхах. Лучше было подумать об этом сейчас и даже записать главные мысли.

Он взял последнее из траурных извещений — «Надо же, это ведь мой поставщик бумаги с Римской улицы; был очень мил, бедняга...» — и начал писать на обороте:

«Первое: в моем преклонном возрасте мне дарована еще одна радость — благословить столь хорошо подобранную чету и т. д. Второе: вы, мадемуазель и т. д., похвала девушке и ее семье...»

«Что же я могу сказать об этих людях? — спросил он себя. — Разве что начать с жениха...»

Тут не было никаких трудностей. *«Ты, мой дорогой мальчик, рос на моих глазах, каждый год при-*

нося больше счастья своей семье...» Потом скромненько углубиться сквозь века до Крестовых походов, упомянув про буйство благородной польской крови... «Ловко, ловко, этот намек на буйство крови!.. Но девушка, что же я о ней-то могу сказать? Они торгуют маслом... А! Фокейцы... *Подобно своим предкам, древним фокейцам, ваш батюшка завоевал в высоких сферах коммерции...* Но, собственно, зачем она за него выходит?»

Он встал в задумчивости и, растопырив сутану, стал сочинять странную речь, которую ему следовало бы произнести, если бы и в самом деле можно было говорить, что думаешь.

«Мадемуазель, бедная моя девочка, вы выходите замуж за адрес, за фасад, за особняк, титул, иллюзию. Вы думаете, что любите человека, но вас всего лишь завораживает потускневший отблеск былых времен, который он носит на себе. Вы войдете в семью, где полно пыли и где все мы, знаете ли, немного безумны под покровом наших традиций или из-за самих этих традиций, которые дают нам на голову. У вас розовые щечки, расцвеченные добрым плебейским здоровьем. Вы скоро заметите, что ваш муж ни силен, ни умен, ни приятен для жизни, одним словом, не создан для вас. Вы потерпите его какое-то время, а потом устанете от Аллеи и вскоре будете утешаться от своей ошибки с каким-нибудь господином де Сен-Флоном... И все повторится сначала. Все, что я наблюдал в

течение двадцати пяти лет, не осмеливаясь ничего сказать...»

Каноник внезапно остановился.

«Хотя нет,— подумал он,— я еще не смогу высказать это послезавтра. Так что вернемся к похвале коммерции на хороших примерах... Ну-ка, а что я говорил, когда венчал Влада и Минни? Для невесты я сочинил апологию правосудию — у нее ведь отец был судейским. Впрочем, она была очень недурна, эта речь, и имела большой успех. Остается лишь взять ее и немного содрать оттуда... за двадцать пять лет ее наверняка подзабыли. А поскольку все повторится сначала...»

Он открыл шкаф в стиле Ренессанс, вскарабкался на лесенку и начал копаться среди пыльных рукописей, трактующих о рассеянии мощей святого Ферреоля и о фаянсе маркиза де Пигюсса.

«Я уверен, что засунул ее сюда двадцать пять лет назад». Вдруг под грудой бумажного хлама его пальцы наткнулись на какой-то твердый предмет, не имевший ничего общего с баночкой меда. Он вытащил его на свет: это оказался браслет Минни.

— Какого черта он тут делает? — удивился каноник.

А потом вспомнил.

Накануне того злосчастного дня, когда пропажа этого браслета повлекла за собой целый каскад драм, Минни взяла мед в шкафу, чтобы подсластить свой ночной отвар. Украшение наверняка соскольз-

нуло с ее запястьями... А на следующий день он сам в поисках банки, не подозревая того, закопал драгоценность в этой бумажной мешанине...

Тут каноника де Мондеса обуял самый сильный приступ смеха из всех, что случались у него с далекой поры семинарских проделок. Напрасно он твердил себе: «Это не смешно, это совсем не смешно...», ему никак не удавалось остановиться, и он фыркал в одиночестве на весь свой кабинет.

Он все еще смеялся, открывая дверь, чтобы объявить о своей находке, когда его сестра, проходя мимо в совсем коротком черном платье, крикнула ему:

— Огюстен, о чем ты думаешь, друг мой? Ты же должен быть внизу. Гости прибывают. Влада тоже нет. Надеюсь, ты надел новую сутану.

Каноник тотчас же спрятал браслет за спиной, закрыл дверь и некоторое время смотрел в потолок.

Он спустился через несколько минут, когда большой салон, который он не видел открытым уже много лет, начинал заполняться.

«О боже! — подумал каноник, растрогавшись. — Совсем как в мамины времена».

У дверей стоял церемониймейстер и кричал с великолепным провансальским акцентом:

— Господин граф и госпожа графиня де Гарус... Госпожа Кристофорос... Господин шевалье д'Эстель де ла Паланк... Господин доктор Карубе... Господин префект...

Госпожа Дансельм совершила, приветствуя Минни, нарочитую и тщательно подготовленную бестактность:

— Какие тут у вас люди сегодня! Кашу маслом не испортишь...

Ели, едва прикасаясь зубами, бутерброды от «Кастельмура». На большой консоли, покрытой ковром, были выставлены свадебные подарки с визитными карточками дарителей.

Лулу, выбритый до крови и втиснутый в жесткий воротничок, благодарил за каждое поздравление. Мари-Франсуаза, вся в розовом от щек до кончиков парчовых туфелек, сияла радостью и всех целовала.

Каноник подошел к ней и на глазах ошеломленных Эме и Минни преподнес браслет со словами:

— Вот мой подарок, дорогое дитя. Это фамильная драгоценность, доставшаяся нам от нашей бабушки.

В этот момент из-под входной арки донесся младенческий писк. Взгляды всех присутствующих обратились в ту сторону, и им предстал граф Владимир де Мондес, кативший перед собой в старой детской коляске, которую достали с чердака, ребенка Терезы.

Поскольку дул мистраль, граф Владимир облачился в шубу, которой пользовались три поколения его предков, — необыкновенное одеяние из плотного, как кожа, черного сукна, с бранденбурами,

подбитое выдрой, ниспадавшее до пят. Это было все, что осталось от польского наследства.

В течение ровно одного часа граф де Мондес вышагивал по Аллее, устраивая своему внуку первую в жизни прогулку под носом всего марсельского общества.

По другой стороне прошел господин де Сен-Флон. Они раскланялись друг с другом.

Версаль, 1956

Счастье одних



Каникулы господина Залкина

Жоржу Изарду

Все вы знаете господина Элифаса Залкина или, по крайней мере, все вы должны его знать, если только хоть немного интересуетесь выдающимися личностями нашего столетия.

Потому что вы, конечно же, видели эти большие фотографии, которые в пору летних отпусков печатаются в вечерних газетах и их воскресных приложениях, и мечтательно задумывались над сказочными комментариями, их сопровождающими:

«Начало сезона в Каннах: великолепная четверка стоимостью в восемьдесят миллиардов...»

«На балу миллиардеров выпито шампанского на миллион восемьсот тысяч франков...»

Так вот, господин Залкин присутствует на всех этих снимках.

Господин Залкин — тот самый человек среднего роста, упитанный, с жирным загривком и серебристыми волосами, которого вам показывают то за столом в белом смокинге, то на краю бассейна,

с голыми ляжками, в одной рубаше в цветочек, то танцующим с потрясающим белокурым созданием на голову выше его самого.

В ваше оправдание и к его несчастью, следует признать, что репортеры, которых больше заботит выражение лица госпожи Мирны Сандаль, вкушающей черную икру, или какого-нибудь раскрученного в средствах массовой информации принца, вручающего приз за красоту, снимают господина Залкина почти всегда со спины. Хотя, в общем-то, и черная икра, и эта золотая сумочка, которой наградили самую красивую грудь сезона, куплены на средства именно господина Залкина. Бывает и так, надо признаться, что в подписях к этим снимкам беспечный редактор спутает господина Залкина с его собратом по миллиардам, аргентинским судовладельцем господином Томеро, или с господином Манелли, миланским металлургическим королем, или с нью-йоркским импресарио господином Бельманом, или же с господином Кардашем, мировым киномагнатом.

Как бы то ни было, такая фотография, пусть даже со спины, между кинозвездой и склонившимся к нему метрдотелем представляет для господина Залкина высшее достижение всей его жизни.

А если бы вы еще знали, что пришлось сделать господину Залкину, чтобы добиться всего этого, вы заинтересовались бы им чуточку больше. Когда у входа в метро нищий тянет к вам руку, вы подаете ему милостыню. Так не отказывайте же и этому не-

счастному миллиардеру, лезущему из кожи вон, лишь бы поразить ваше воображение, во внимании, которого он ждет от вас.

Залкин родился в начале века на одной из окраин Восточной Европы. Отца своего он не знал. Его вырастил дядя по материнской линии, занимавшийся сбором кроличьих шкур, из которых изготавливается фетр для шляп. Не упустите эту деталь. История знавала великих композиторов, отцами которых были скромные церковные музыканты, и великих писателей, происходивших из семьи деревенского учителя. В судьбе Залкина эта отжившая традиция сыграла немалую роль.

Когда дядя умер, тринадцатилетний Залкин, чтобы как-то выжить, нашел себе скудный заработок на поприще уборки улиц. Он вытряхивал урны и сгребал лопатой кучки мусора с мостовой у дверей в своем родном городе. Но урны были тяжелые, а Залкин — маленький и слабый.

Очень скоро он был поражен тем, сколько соковок бесследно исчезает на городском заводе по переработке отходов. Он увидел, как бедняки собственноручно выбрасывают в реку вещи, которые еще могли бы им послужить. И тогда он, самый нищий мальчишка в городе, которому и выбрасывать-то было нечего, понял, какое место уготовила ему судьба.

Сегодня он охотно рассказывает о том, как снизошло на него озарение. Это было дождливым днем, когда он шлепал босиком по лужам за городской

мусороуборочной машиной и вдруг увидел в куче мусора старый башмак на правую ногу, а через сто метров такой же — на левую. В этой истории — весь гений и вся философия господина Элифаса Залкина.

Взяв себе в помощники четырех сорванцов одного с ним возраста, посильнее, но поглупее, чем он, Залкин занялся сортировкой бытового мусора, набирая тюки тряпья, которое продавал для последующей переработки в бумажную массу, и тачки металлолома, который сдавал на переплавку. Из трех распаявшихся кофейников он делал один целый. У него было даже нечто вроде срочной службы по доставке свежих очистков на корм свиньям. Вскоре он обзавелся складом, дюжиной старых детских колясок, составивших транспортный парк его предприятия, и стал платить налог в муниципальную казну, говоривший о том, что его деятельность полезна обществу.

От этих лет, за которые им были перерыты горы мусора, у Залкина остался неистребимый запах гнили в носу, неподвластный ни лучшим одеколонам, ни тончайшим лавандовым эссенциям, так же как никакой лак никаких, даже самых искусных, маникюрош не мог скрыть трещины и зазубрины на его коротко подстриженных ногтях.

Ему не было и двадцати, когда он направил свои стопы на Запад. Войны сменялись революциями, периоды процветания — кризисами и безработицей, а Залкин перемещался из страны в страну, не

переставая совершенствовать свое производство. Несомненный гений позволял ему повсюду находить интересные отходы, пригодный к употреблению хлам с такой же точностью, с какой лозоходец обнаруживает скопление грунтовых вод, а геолог — ценное месторождение.

Как иные, оказавшись в незнакомом городе, непостижимым образом сразу узнают, какие картины, какие памятники, какие церкви им надо посмотреть, так и он тотчас безошибочно отыскивал свалки, автомобильные кладбища, бойни и отстойники.

Содержимое мусорных ящиков позволило ему изучить психологию разных народов, их нравы, национальный характер, достоинства и недостатки.

Химик определяет болезни человека по составу его мочи. Залкин научился по бытовым отходам судить о состоянии здоровья целой нации.

Впоследствии люди не раз удивлялись, когда Залкин предсказывал военные конфликты, забастовки, восстания с большей точностью, чем это делали политики или обозреватели крупных газет. Но он и правда поднаторел на этом. Залкин — социолог мусорных бачков. Толщина картофельных очистков в густонаселенных городских кварталах или внезапное исчезновение мясных отходов говорили ему о положении дел в стране больше, чем все газеты, вместе взятые.

Тут он добьется разрешения на свежевание туш на бойне, там — на чистку выгребных ям или убор-

ку рынка, потом заплатит местным властям за право предоставлять услуги, которые до того камнем висели на городском бюджете, и вот уже вместо тачки у него ослиная упряжка, а вместо ослиной упряжки — старая колымага, потом грузовичок, потом кабриолет, лимузин... И так, не изменяя своей философии, согласно которой надо обязательно подобрать правый башмак, а потом уже искать левый, он добрался до Тихоокеанского побережья.

Прошли годы. Сегодня Залкин — президент могущественной «Тихоокеанской мусорной корпорации», в которую входят «Всемирная очистная компания», компания «Устричная раковина» и еще сотня фирм. Своим состоянием Залкин во многом обязан именно компании «Устричная раковина».

Ему уже стукнуло двадцать девять, а он еще ни разу в жизни не ел устриц. Первую, которую он попробовал, Залкин тут же выплюнул, не понимая, как это вроде бы цивилизованные, воспитанные и утонченные люди могут брать в рот такую мягкую, липкую гадость. Но в руках у него осталась раковина. Эта корявая раковина — отброс, мусор — своей формой чуть-чуть походила на улыбку. Да-да, из молочно-перламутровой, переливающейся всеми цветами радуги глубины раковина улыбалась Залкину. И Залкина осенило: он понял, что из перламутра устричной раковины выйдут три пуговицы, а это значит, что двух раковин хватит на целую рубашку. Тотчас он раздобыл образчики всех видов устриц: плоских, мареннских, садковых — и вни-

мательно изучил их на предмет величины, прочности и качества перламутра. Сегодня в Америке не съедается ни одной устрицы, раковина которой не отправилась бы затем в Миннеаполис, на перерабатывающий завод. Там горы этого белесого материала вздымаются выше шлаковых отвалов на угольных шахтах Лотарингии, выше арахисовых холмов в портах африканского побережья. После изъятия материала для пуговиц остатки раковин дробятся, перемалываются, пакуются в мешки и отправляются в качестве пищевой добавки на корм несушкам. Надо было быть Залкином, чтобы разглядеть взаимосвязь между застежкой на женской блузке и формированием яичной скорлупы.

Наладив производство перламутровых пуговиц, Залкин естественным образом заинтересовался пуговицами из растительной слоновой кости и в результате нескольких ловких махинаций получил контроль над обоими родственными производствами, так что теперь у него не было других конкурентов, кроме себя самого.

То же самое произошло и с многочисленными химическими производствами. Из-за костей, из которых на двух предприятиях Северной Америки и на двух в Южной изготавливался костяной уголь, Залкин был, так сказать, вынужден создать целый трест по производству красителей.

Лозунг Залкина гласит: «Ничего не выбрасывай, все пригодится».

Даже совершенно неузнаваемые отходы, окончательно потерявшие свою форму и цвет, мельчайшие частицы, о которых уже невозможно сказать, что это было — собачий помет, гигроскопическая вата или стебли хризантем, — после сожжения превращаются у него в прекрасное минеральное удобрение.

Когда началась война, люди Залкина организовали в воюющих странах сбор бытового металлолома, который шел на сталь для военных нужд. Когда война кончилась, Залкин за бесценок стал скупать остовы бомбардировщиков, ненужные бульдозеры, развороченные миноносцы, разбросанные по берегу десантные катера, брошенные на полях сражений обгорелые танки без гусениц. Он знал, что и это может еще пригодиться. Ведь на свете есть столько маленьких стран, которым не по карману новая армия, так пусть хоть перекрашенными пушками пощеголяют...

С деланой скромностью Залкин утверждает, что любой мало-мальски сообразительный старьевщик может добиться того же, что и он. Однако как только где-то в зоне его влияния, полностью совпадающей с долларовой зоной, появляется новое более-менее серьезное предприятие, можете не сомневаться: сообразительный старьевщик будет немедленно проглочен или стерт в порошок. Ибо всему найдется место под солнцем, но не рядом с солнцем.

Личный годовой доход Залкина составляет восемь миллионов долларов. Он в расцвете своей карьеры. У него есть все. Только одного ему не хватало — быть официально посвященным в миллиардеры.

Официальное посвящение в миллиардеры происходит в Каннах, в центре утомленной, раздробленной, кустарной, смехотворной Европы, на берегу жалкой лужи под названием Средиземное море, вокруг которой сгрудились потертые, но еще сохранившие остатки былой гордости цивилизации. Именно там миллиардеров венчают на царствие, как венчали когда-то в Реймсе королей старой Франции.

Для коронации королям полагались определенные предметы: скипетр, меч, горностаевая мантия. Они являлись на церемонию в сопровождении пышного эскорта и множества карет. Иногда при них была Жанна д'Арк, которая, сжимая в руке копье, следила от имени народа, чтобы король вел себя подобающе.

Залкин прибыл на свою коронацию в рубашке в цветочек, с нейлоновой шляпой на голове и чековыми книжками двенадцати банков в кармане. Прилетел он на личном самолете — восемь членов экипажа плюс четыре серебристых винта, плюс четыре тысячи лошадиных сил, чтобы поднять их в небо, и все это только для того, чтобы перевозить самого Залкина да его племянника, семнадцати-

летнего губошлепа. Залкину присутствие этого оболтуса — хуже горькой редьки, но как явиться на коронацию без будущего наследника?

За первым личным самолетом следовал второй личный самолет, в котором летели секретари и багаж.

В аэропорту миллиардера и его свиту ожидали четыре длинных, как катафалки, кадиллака.

Завершала или, вернее, предвляла эту поистине королевскую процессию специально приобретенная Залкином яхта, которую только что перегнали через Атлантику. Гигантское белое судно — не яхта, а целый банановоз, — может, и выглядело бы незаметно где-нибудь у причала Джолиета или Гавра, но здесь, в маленьком порту Канн, оно восемь дней до прибытия самого миллиардера портило вид и мешало движению.

И наконец, Залкина ожидала великая и ужасная Линда Факсвелл. Она ждала его, облокотившись о колонки ста пятидесяти газет, в которых публиковались ее репортажи, и гордо оперев все девяносто кило о древко своего пера. Она присутствовала здесь от имени общественного мнения, чтобы наблюдать за коронацией Залкина Первого и убедиться, что во время церемонии он будет вести себя именно так, как того ждут от него народы.

Залкин мог бы прекрасно жить у себя на яхте, где все ваннны комнаты оборудованы радио. Но он предпочел поселиться в отеле, в десятикомнатных апартаментах.

Прошу в связи с этим принять во внимание, что каждое общество селит своих привилегированных лиц по-своему. Крупные международные отели — это замки демократии. Число обитающих там шешек, потоки денег, там проливающиеся, несметное количество и подбострастие персонала делают их похожими на то, чем были в свою пору Блуа, Версаль или Компьен. И отделка их не более дурновкусна, чем в жилищах Франциска Первого, Людовика Четырнадцатого и обоих Наполеонов. И пороки процветают там, как при самых пышных дворах прошлого. В этом смысле вполне уместно сказать, что Лазурный берег — это республиканская долина Луары, только королевские замки там зовутся не Амбуаз и Шамбор, а «Руль», «Негреско», «Мартинес» и «Карлтон».

Не прошло и двух часов с момента его заселения, как у Залкина на столике в гостиной уже высилась внушительная горка почты: карты постоянного посетителя казино, приглашения от собратьев-миллиардеров, реклама торговых домов, воззвания благотворительных обществ.

Зная, что одним из королевских достоинств является вежливость, Залкин разослал всем ответы с благодарностью: директору казино, своим товарищам Томеро, Манелли и Бельману, ювелиру, владельцу крупного магазина кожаных изделий, князю Сегурджану, доселе никому не известному. И вытащил одну из двенадцати чековых книжек — для благотворительности.

Когда в качестве бесплатного образца ему вручили ящик шампанского «Герцог Монте-Кристо», он подумал, что это подарок от настоящего герцога, и поставил на уши своих секретарей, чтобы те разузнали, как к тому надо обращаться. Таким образом, на следующий день виноторговец получил письмо, начинающееся словами «Ваша милость».

Залкину так и не пришлось исправить свою ошибку, поскольку в последующие дни ему не раз приходилось встречаться с носителями самых старых и самых прославленных фамилий Франции, которые действительно торговали шампанским или производили коньяк и помечали бутылочные наклейки своей короной. Впрочем, все знакомства Залкина отличались этой двойственностью: неумением отличить подлинник от фальшивки.

Вот он сидит за столом, по бокам от него две женщины, обе красивые, обе прекрасно одетые. Одна из них — дама из высшего общества, другая — авантюристка. При этом последняя щеголяет в настоящих бриллиантах, тогда как у светской львицы драгоценности фальшивые. А поскольку охотница за золотом держится гораздо жеманнее, больше кривляется и ломается, Залкин принимает ее за настоящую герцогиню и окружает всяческими почестями. Чем навлекает на себя неудовольствие — правда, совсем легкое, а как же иначе, если обидевший вас человек стоит двадцать миллиардов, — со стороны герцогини, с которой он обошелся как с женщиной легкого поведения.

Обслуживают Залкина сразу два метрдотеля. Один из них — простой служащий, который надеется подзаработать за сезон, другой — агент службы безопасности. Естественно, со всеми не слишком законными и небесплатными поручениями Залкин обращается ко второму, лицо которого излучает преданность.

Залкину понадобилось пятнадцать дней, чтобы понять, что очаровательный, элегантный, остроумный и такой любезный, такой прелестный Сегурджян не имеет ни малейшего права называться князем, если только князем жуликов и сутенеров. За эти две недели Сегурджян стоил Залкину столько же, сколько оба его личных самолета. Тем не менее Залкин оставил его в своей свите, во-первых, потому что от Сегурджяна не так-то легко отделаться, а во-вторых, потому что Сегурджян, понимая, как ему повезло, с крайней бдительностью не подпускает к Залкину подобных себе прохвостов.

В окружении любого миллионера должен быть по крайней мере один такой тип — сомнительный и незаменимый. Ибо перед сутенерами миллиардер слаб — его легко облапошить. К счастью, у Залкина с «окружением» все в порядке, оно всегда на страже.

Гораздо труднее приходится ему, когда подлинные князья, с которыми он знакомится, оказываются жуликами и сутенерами, а подлинные светские дамы — авантюристками.

Как-то вечером Залкин заявил, что в европейском высшем свете труднее разобраться, чем в мусорном бачке. Линда Факсвелл была рядом. Она старательно записала нестигаемым пером эту умную мысль, чтобы запечатлеть ее на века на всех своих ста пятидесяти газетных колонках. Так Залкин прослыл миллиардером-остроумцем.

День Залкина столь же насыщен, как протокол главы государства. Никогда Залкину не придется больше так мало спать и так мало заниматься спортом, как в дни этих странных каникул. С другой стороны, никогда не будет он есть столько и таких вредных для здоровья вещей.

Залкин усвоил, что идти на пляж в одиннадцать утра — дурной тон. Пусть этим занимаются маникюрши да мелкие буржуа на отдыхе — короче, те, у кого нет ни больших денег, ни больших связей. Такие, как Залкин, купаются поздно и лучше всего в каком-нибудь частном имении с бассейном, устроенном в четырех метрах от моря. Впрочем, тогда в живых изгородях вокруг имения нет живого места от засевших там фотографов, а в шезлонге, с трудом уместив в нем свои девяносто кило, не дремлет бдительная мисс Факсвелл.

Ни один бал, ни один праздник не обходится без Залкина. Однажды его принимали как монарха, приехавшего с визитом к другому монарху, в шестидесятикомнатном замке, который снял на лето его друг Томеро. Для ночного освещения Томе-

ро установил в парке огромные прожекторы, какими пользуются в кино. Но в свете прожекторов белый гравий на дорожках слепил глаза, и Томеро велел закрасить все дорожки черной краской. Днем это выглядело грустновато.

За ужином Залкин пользуется неизменным успехом, рассказывая историю о своих первых башмаках. Линда Факсвелл, как всегда, рядом. Следует отметить, что такое кокетство — рассказы о трудной молодости — является неотъемлемой частью образа миллиардера, имевшего счастье начать с нуля и добиться многого. Оно подобно воспоминаниям о тяготах жизни в изгнании, которыми с грустной улыбкой делится восстановленный на троне монарх.

Залкину не чужды добрые порывы, и некоторые его поступки, заботливо донесенные до общественного мнения услужливой прессой, вызывают всеобщую симпатию. Так, однажды утром он увидел, как один из его секретарей отпрашивается на пляж с хорошенькой девушкой, скромной и робкой на вид.

— Раз она вам так нравится, пригласите ее сегодня вечером на праздник, — сказал ему Залкин.

— Это невозможно, у нее нет вечернего платья, — ответил секретарь.

— Ну так что ж, оденьте ее как следует. Это будет мое вам поручение. Поезжайте вместе на набережную Круазет и купите все, что нужно.

Вечером робкая на вид девушка была уже при деньгах, при вечернем платье и при драгоценностях. Секретарь был страшно доволен, Залкин тоже, потому что эта история уже стала достоянием общественности. Только вот далеко не всем было известно, что на следующий же день робкой девушке пришлось отдать половину того, что она получила, марсельской мафии, от которой она зависела.

У самого же Залкина галантных приключений за время каникул было совсем немного: два-три, не больше, и одно короче другого. Впрочем, страдая от хронического недосыпания, он и не хотел большего. Но поскольку каждое из этих приключений стало ему в среднем в три миллиона, Залкин впоследствии будет вспоминать о необычайном значении, придаваемом в латинских странах вопросам любви. Кроме того, Залкин считает, что должен платить всегда и за все, при любых обстоятельствах. В этом он видит свою задачу, свое предназначение, смысл жизни. Кто-то использует для обольщения красивое лицо, сильные мускулы, острый ум или блистательный талант, у Залкина же для этого есть деньги — деньги, ставшие его плотью и кровью. И если бы женщина не захотела вдруг принять от него ни копейки, он посчитал бы, что не понравился ей.

Монархи осыпали дарами церкви. Залкин ходит в казино. И пока за покрытыми зеленым сукном и испещренными эзотерическими знаками алтарями крупье в темных костюмах с зашитыми карма-

нами служат погребальную мессу по удаче, загребая проворными руками деньги простых смертных, Залкин, подобно наследному принцу, восседающему на почетном месте на хорах, устраивается за «большим столом»* в окружении неизбежных Бельмана, Манелли, Кардаша и Томеро.

Иногда Залкин любит пойти в казино с красивой женщиной — чтобы поразить ее или поразить ею остальных. Он держит ее при себе, как сам говорит, «на счастье». Что, естественно, вдвое сокращает каждый его выигрыш — в отличие от проигрыша, который увеличивается тоже вдвое, поскольку ставит он за двоих.

А проигрывают там по-крупному. Как-то ночью Томеро обыграл Манелли, сорвав банк в восемь миллионов. На следующий день тот же Томеро потерял тринадцать миллионов, доставшихся в равных долях Манелли и Кардашу. Или, вернее, те подумали, что они им достались. Поскольку — непосвященным этого никогда не понять, — постоянно выигрывая друг у друга, все они оказываются в конце концов в проигрыше на кругленькую сумму от тридцати до пятидесяти миллионов. Впрочем, все это просчитывается заранее и заносится в накладные расходы.

Чтобы не ударить в грязь лицом и достойно ответить на все полученные приглашения, Залкин устроил праздник на море, воспоминания о кото-

* Стол в казино, где делаются самые большие ставки.

ром не скоро еще изгладятся из памяти присутствовавших на нем. Не зря же он перегнал свою яхту через океан — хоть раз, но воспользоваться ею было нужно.

Итак, Залкин пригласил триста лучших своих друзей по отдыху на небольшую морскую прогулку. Отбор приглашенных он произвел со всей тщательностью, вернее, не он сам, а незаменимый Сегурджян, которого отныне никто из этих трехсот не смог бы попрекнуть незаконным титулом.

На борту у Залкина было заготовлено немало развлечений. Для любителей потанцевать играл на пианино старший помощник капитана. На носу судна расположился хор из членов экипажа, исполнявший ковбойские и тюремные песни. Такого по эту сторону океана еще не слыхивали. Однако настоящим гвоздем программы было другое: в один прекрасный момент, по знаку капитана, пол большого салона с помощью электричества куда-то убрался, и восхищенным взглядам публики сквозь стеклянный потолок открылось нутро гигантского холодильника, набитого всевозможной снедью.

Может, капитан и старший помощник слишком увлеклись гастрономической и музыкальной деятельностью в ущерб управлению судном в столь непростых для навигации местах? А может, все дело в том, что сам Залкин упорно не желал слушать, когда ему говорили, что судно таких размеров не создано для плавания вокруг Леренских островов? Как бы то ни было, деревянные черпаки как раз

начали погружаться в бочонки с черной икрой — «Как на берегу Каспия», — говорил Сегурджян, — когда яхта вдруг с размаху налетела на песчаную мель. Снимали ее с помощью военного корабля.

И все же в момент всеобщей паники, последовавшей за крушением, капитан проявил себя во всей красе, произнеся фразу, которая, как утверждают некоторые, вовсе не была оговоркой.

«Женщины и драгоценности в первую очередь!» — вскричал этот аргонавт, на попечении которого оказалось три сотни золотых рун.

Когда Бельман, Томеро, Манелли и Залкин исчерпали все радости жизни на Лазурном берегу, а также всю свою фантазию, им сообщили — точнее, Сегурджян сообщил им — о присутствии в Каннах удивительных личностей, оказавшихся не кем иным, как подвальщиками* из Сен-Жермен-де-Пре.

Эти уже успевшие прославиться талантливые молодые люди решили убедить весь мир в том, что их клетчатые рубашки, всклокоченные волосы, презрение к мылу, бешеные пляски и опасная тяга к подземельям и есть живое, активное проявление новейшей, самой передовой философской и метафизической мысли.

Если присмотреться, у подвальщиков и миллиардеров много общего. Миллиардеры не ходят на пляж. Подвальщики тоже. Миллиардеры ведут глав-

* Имеются в виду члены кружка экзистенциалистов, собиравшиеся в кафе «Табу» в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре.

ным образом ночной образ жизни. Подвальщики тоже. У миллиардеров много денег. Подвальщики деньги презирают, но они им всегда нужны. Все миллиардеры — старые развалины, но при этом утверждают, что не чувствуют старости. Подвальщики же, отличаясь почти патологической инфантильностью, считают себя старыми, как этот мир. Да, они вполне могли понять друг друга. Только вот подвальщики не желали идти к миллиардерам. Тогда миллиардеры — чем они хуже Магомета? — решили пойти к подвальщикам, которые, кстати, в тот день превзошли самих себя.

Главным событием Мусорного бала должны были стать выборы Мисс Помойки. В приглачительных билетах, изготовленных из старой оберточной бумаги, в мясных и жирных пятнах, содержалась начертанная мелом строчка: «Костюм мусорщика обязателен».

Воодушевившись, миллиардеры бросились на поиски нищих, которых в Каннах не сразу и сыщешь, чтобы снять с них драные штаны, обменяв их на золото. Залкин узнал обо всем этом слишком поздно. Никогда ни один фрак, ни один костюм не стоили ему таких денег, как лохмотья, раздобытые верным Сегурджяном. Взглянув на принесенную им пару дырявых башмаков, Залкин тяжело вздохнул.

Многое в этой жизни достигается опытом.

После трех часов усиленной работы над собственным образом Залкину удалось изгладить из не-

го все, чего он достиг за тридцать лет процветания. Он был великолепен. Можно было подумать, что после долгого вымачивания в навозной жиже его так же долго валяли в угольной пыли.

Когда-то ходила история о нищем по фамилии Ротшильд, что стоило тому немало неприятностей. Нечто подобное приключилось и с Залкином. Когда он явился на бал, у входа его приняли за настоящего бродягу и не хотели пускать. Когда же он показал приглашение, его спросили: «Где ты это взял?»

В конце концов его все же узнали, и это был полный восторг. Его с почётом внесли в зал, усадили на помятый бак для кипячения белья и сделали председателем жюри.

По столам стали прохаживаться с десяток девиц с картофельными очистками в волосах; грязные лохмотья едва прикрывали им грудь, а юбки из мешковины были старательно разодраны до самого причинного места.

Когда Мисс Помойка была наконец избрана, она мило присела к Залкину на колени, и под гром аплодисментов их сфотографировали вместе. Однако Линда Факсвелл не дремала. Огромная, будто только что вылезшая из сточной канавы, она покачала головой, и в ее устрашающем взгляде Залкин прочел опасность. До этого момента поведение Залкина было безупречным во всех отношениях. Но эта фотография, на которой он предстанет перед всеми в обнимку с полуголой девицей, может

восстановить против него миллионы добропорядочных американцев. Тогда Залкин призвал на помощь дипломатичного Сегурджяна, и тот ударом кулака разбил камеру фотографа.

Затем Залкин передал Мисс Помойку Томеро, который сразу же пригласил победительницу — счастье, как известно, никогда не приходит в одиночку — приехать в Латинскую Америку, а потом передал ее Бельману, и тот предложил ей голливудский контракт.

— Я без друзей не поеду, — сказала будущая инженерю.

Так и пришлось Бельману, импресарию с миллиардным состоянием, взяться за подготовку мирового турне подвалыщиков из Сен-Жермен-де-Пре, вслед за водными акробатами и кетчистами на роликовых коньках.

Около шести часов утра, потные и пыльные, задыхаясь от нехватки кислорода и посторонних испарений, но в восторге от проведенной ночи, Бельман, Томеро, Кардаш, Манелли и Залкин вышли на свежий воздух.

Это был час, когда в Каннах, как и во всех городах мира, начинается уборка улиц. Утро было прохладное, солнце, хотя уже и встало, еще не набрало силы.

При виде молодого мусорщика, с трудом тащившего по тротуару тяжелый жестяной бак, у Залкина вдруг защемило сердце, и он почувствовал острый

приступ ностальгии, который рано или поздно настигает любого, как бы богат и влиятелен он ни был, кто стоит на пороге старости, да еще и недосыпает по ночам.

Залкин склонился над бачком. Там лежали отходы его ночи, панцири лангустов с остатками мяса, пробки от шампанского в металлической оплетке, разбитые бокалы, юбка королевы красоты, выжатые лимоны, кофейная гуща. Выметенный из зала мусор был завернут в вечернюю газету, пестревшую заголовками: о голоде в Азии, об убийстве на почве ревности, о железнодорожной катастрофе, о пробных испытаниях новой атомной бомбы. В общем, ничего особенного...

Миллиардер, переодетый мусорщиком, и мусорщик в своей рабочей одежде несколько мгновений смотрели друг на друга, стоя по сторонам бачка.

— Хочешь добиться чего-то в этой жизни? — спросил мусорщика Залкин.

— Как и все, — ответил тот, пожав плечами.

— Тогда вот, возьми на счастье.

Мусорщик, который все еще верил в легенды о миллиардерах, раздающих у дверей казино миллионные милостыни, решил, что сейчас получит пачку денег. Но Залкин снял с левой ноги старый башмак, вложил туда свою визитную карточку и протянул оторопевшему парню.

— Приходи ко мне с этим, когда захочешь, — добавил Залкин.

И пошел прочь. Повинуясь профессиональному инстинкту, он прихватил с собой газету. Чутье опять не подвело его. Ибо сегодня он выудил из горы мусора сияющий лик славы. Действительно, на странице светской хроники, к сожалению малость заляпанной отбросами, красовалась внушительная статья под заголовком «Каникулы миллиардера-оборванца», и начиналась она такими словами: «Все вы знаете господина Залкина или, по крайней мере, все вы должны его знать...»

1950

Стеклянный гроб

Лиλιане Ротшильд

К счастью, замок имел два крыла, что позволяло братьям никогда не встречаться. Они были близнецами. Настоящими, а не такими, что рождаются из двух разных клеток: у них был одинаковый рост, одинаково сутулая спина, одинаково желтый лысый череп. Они одинаковым жестом потирали свои цепкие руки и были одинаково злобны от природы. Занимая свое место на самом конце последнего ответвления семейного древа Палюзелей, они были действительно двумя зернышками одного плода, то есть тем, что наука называет однойяйцевыми близнецами.

Необычность их случая состояла в том, что они ненавидели друг друга.

Граф не мог простить маркизу, что при их совместном появлении на свет тот занимал более выгодное с точки зрения закона внутриматочное положение. Родившись на три часа раньше брата, он так и не смирился с навязанным ему положением

младшего, которым должен был довольствоваться все шестьдесят семь лет своей жизни.

Маркиз же со своей стороны ненавидел графа за то, что тот был протестантом.

Эти старые холостяки родились в результате заалтарного соглашения, которые довольно часто заключаются в Провансе между католиками и гугенотами, к взаимному неудовольствию семей. Не сразу смирившись с тем, что их дочери предстоит соединиться с лучшим женихом провинции, Эспинаны поставили Палюзелям свое условие, и все было улажено достойным образом: первый родившийся от этого союза ребенок должен был быть крещен в римско-католическую веру, но второй воспитан уже в протестантизме.

Таким образом, близнецы не выбирали своего вероисповедания, получив его, как и титул, в обратной зависимости от времени своего появления на свет. И тем не менее оно оставалось постоянным источником взаимных колкостей.

По воскресеньям граф шел в реформатскую церковь, маркиз — в собор. Но и в течение недели они жили врозь. У каждого была своя столовая и своя посуда. Чтобы еще больше отгородиться друг от друга, они перестали пользоваться парадными залами, которые находились в центральной части замка и ставни которых весь год оставались наглухо закрытыми.

Построенный в лучшие годы восемнадцатого века, перед самым началом Семилетней войны, не-

ким Теодором де Палюзелем, разбогатевшим на торговле неграми в Луизиане, замок был полон сокровищ. Любовь этого предка, в общем-то выскочки, к резной мебели, сложным инкрустациям, тяжелым шелкам и громадным портретам с неизменной голубой лентой поперек, то есть ко всему самому дорогому и самому новому, превратилась у его потомков сначала в любовь к произведениям искусства и редкостям, а затем в настоящую манию коллекционирования.

Время от времени то в восточное, то в западное крыло замка Палюзелей вносили таинственные ящики, доставленные из Монпелье, из Парижа, а то и из Германии или Италии, причем содержимое этих ящиков не видел никто, кроме их получателя. Ибо у близнецов была еще одна общая черта: они никого у себя не принимали.

Когда того требовали необходимые заботы об их неделимом состоянии, которое должно было перейти полностью к тому из них, кто переживет другого, они общались только через слуг. Тем не менее братья постоянно следили друг за другом. Они страдали одним и тем же заболеванием печени, придававшим их лицам одинаковый лимонно-желтый оттенок, и каждый ждал часа, когда ему представится возможность похоронить другого.

Младший считал, что смерть будет справедливым возмещением ущерба, причиненного ему при рождении, и каждый день надеялся, что станет наконец маркизом де Палюзелем. Неожиданно круп-

ный камень, закупоривший желчный проток, лишил его этой последней радости.

Получив извещение о его кончине, рассеянные по всей Франции кузены и кузины в количестве шестидесяти двух человек не удержались от улыбки и пустились в мрачные предположения.

Никто из них никогда не бывал в Палюзеле. Однако у всех достало воображения, чтобы представить себе доверху набитый шедеврами гигантский замок среди масличных рощ и каменистых пустошей, в котором жили два сумасшедших старика; не имевших ни детей, ни племянников.

И вот один из стариков умер. Другой же скоро дал о себе знать.

Первым письмо от маркиза получил гренобльский кузен де Кардайан.

«Мой дорогой кузен, — писал маркиз, — я буду весьма признателен вам, если в любое удобное для вас время вы навестите меня в Палюзеле. Мне предстоит принять важное решение, о коем я хотел бы переговорить прежде с вами. Передайте мой низжайший поклон кузине и примите заверения... и т. д., и т. п.»

Господин де Кардайан, пятидесятилетний холодный педант с гладко зачесанными назад седыми волосами, в длинноносых чиненых-перечиненных ботинках, целыми днями подсчитывал точную стоимость своих ценных бумаг, подытоживал доход, получаемый от арендаторов, проверял книгу расходов, пересчитывал тряпки в бельевой да го-

ловки чеснока в кладовке. Все это делалось не из-за недоверия к окружающим, а из желания точно знать, чем он владеет.

Получив письмо, он сказал жене:

— Что я вам говорил, друг мой? Это у его брата был мерзкий характер. Теперь же, когда Марк-Антуан остался один, он сразу захотел с нами сблизиться.

Г-жа де Кардайан не снимала траура последние тридцать лет. В черном она родила, в черном достигла зрелости, в черном состарилась. Она была тучна, импульсивна и властна. Пышные телеса ее заколыхались среди погребальных кружев, и она велела мужу тотчас отправляться на поезд.

Всю дорогу господин де Кардайан предавался меркантильным мечтаниям. Надежда пересчитать в один прекрасный день все картины, все часы, все блюда, имевшиеся в замке кузена, пьянила его. Впереди угадывалась смутная возможность обеспечить мебелью дочерей, не оголяя при этом своего чердака.

В Палкозеле он обнаружил полное запустение, ибо там теперь были закрыты не только центральные помещения, но и крыло, в котором обитал усопший близнец.

Молчаливый слуга, проследовав перед господином де Кардайаном по черной лестнице, провел его по коридору, от пола до потолка завешанному офортами и гравюрами, и толкнул дверь.

Комната была захлавлена больше, чем любая антикварная лавка парижского левобережья. Шпалеры с изображением подвигов Фридриха Барбароссы, такие огромные, что низ их пришлось закатать над плинтусом, затемняли свет. Фламандский резной алтарь соседствовал со «Святым Себастьяном» сиенской школы, поставленным на готический аналой. Огромный письменный стол с гербами французского королевского дома служил постаментом для двух бюстов римских императоров. Флорентийский кабинет времен Медичи играл перламутром, эбеном, слоновой костью и лазуритом, украшавшими все его восемь сторон и сотню граней. Среди этих шедевров валялись безделушки рангом пониже, серебряные канделябры, сундуки в технике «буль» и супницы Ост-Индской компании.

Если предположить, что каждая комната замка была заполнена лишь на четверть, хранившиеся в нем сокровища были поистине неисчислимы. Вернее сказать, человек аккуратный, каковым являлся господин де Кардайан, мог бы заниматься их подсчетом до последнего дня жизни.

И тут взгляд посетителя вдруг упал на большой, длинный стеклянный ящик, мягко поблескивавший на кровати в стиле Людовика Пятнадцатого, устланной смородиновым дамастом.

В стеклянном ящике лежала мертвая женщина. Очень красивая, лет шестнадцати — восемнадцати, абсолютно голая. Кожа ее была янтарного от-

тенка, как у креолок. Черные волосы, завитками окружавшие выпуклый лоб, спускались волнами на хрупкие плечи. Под опущенными ресницами лежали легкие тени. Нежный рот, хотя и сравнился в цвете с остальным телом, сохранил чувственность очертаний спелого плода. Кроме того, неизвестному бальзамировщику удалось придать этой совершенной плоти позу счастливой беззаботности, с нежно согнутой на животе рукой.

Будучи человеком начитанным, господин де Кардайан прошептал: «О горечь забытья и мрака золотого, ты страшным сном своим вознаграждать готова...»*

Лишь на одной ноге пальцы покойной остались сведенными судорогой, свидетельствуя о борьбе и страхе, что предшествовали переходу неизвестной красавицы в небытие.

Господин де Кардайан был настолько околдован зрелищем этого стеклянного гроба, что не сразу услышал, как в комнату вошел хозяин, и подскочил от неожиданности, точно застигнутый за шалостью ребенок. Заготовленные им приветствия так и остались произнесенными.

— Рад, весьма рад видеть вас, дорогой кузен, — сказал Марк-Антуан Палозель, потирая цепкие руки так быстро, словно хотел добыть из них огонь. — Если не ошибаюсь, вы являетесь самым близким

* Строчка из стихотворения Поля Валери «Спящая».

из моих родственников, и, по всей вероятности, я оставлю этот мир раньше вас. Посему я подумал объявить вас своим единственным наследником.

Господин де Кардайан застыл, выпучив глаза и не проронив ни слова. Он забыл даже воскликнуть ради приличия: «Ну что вы, дорогой кузен, зачем думать о таких вещах. Вы еще всех нас переживете!»

Маркиз продолжал:

— Единственно, хочу вас предупредить, что в моем завещании будет содержаться одно тайное условие, которое может быть обнародовано лишь после моей смерти, но выполнить которое вы должны пообещать мне уже сейчас. Пообещать письменно, разумеется. Я не требую от вас немедленного ответа. Вы можете выслать обязательство в течение двух недель моему нотариусу господину Торкассону в Люнель. Собственно, ради этого я и хотел вас видеть.

Маркиз не предложил кузену ни сесть, ни выпить рюмочку вермута или вина и выпроводил его по той же черной лестнице, по которой он и пришел.

В Гренобль господин де Кардайан вернулся в крайней растерянности.

— Никогда! — воскликнула дебелая госпожа де Кардайан, выслушав рассказ супруга о встрече. — Это ловушка. Откуда мы знаем, что за тайное условие придумал этот сумасшедший злодей? Может, он потребует, чтобы мы выставили у себя в гостиной его собственный голый труп или чтобы мы разве-

лись, или заставит нас создать какой-нибудь приют, который обойдется в два раза дороже того, что он нам оставит. Не соглашайтесь ни в коем случае.

Целую неделю господин де Кардайан провел в тяжких раздумьях. А затем, поскольку он всегда и во всем слушался жену, написал нотариусу письмом с отказом.

Вторым, кто был призван в Палюзель, оказался каноник Мондес. Он прибыл из Марселя в восторге от того, что ему представилась возможность куда-то выбраться. Это был маленький человечек почти того же возраста, что и маркиз. Пушок, покрывавший его череп, делал его похожим на вылупившегося не ко времени цыпленка; рассеянность же его не имела границ. В тот день он неудачно повязал свой широкий муаровый пояс, бахромчатый конец которого мел теперь землю в метре позади него.

Едва выслушав кузена Марка-Антуана, каноник ответил:

— Ну конечно! Как я вас понимаю! Вы так любили вашего дорогого брата! Вы были так дружны!

Засунув руки в карманы сутаны и то и дело задирая и опуская ее полы, наподобие птичьих крыльев, он без остановки расхаживал по комнате, представляя серьезную угрозу для драгоценного фарфора.

— Это ведь Дуччо да Сиена, правда? Или кто-то из его школы...— сказал он, указывая на «Святого Себастьяна».— Чудо, просто чудо! — Затем он

подошел к стеклянному гробу: — Какая прелестная восковая фигура! Редкой красоты! Французская работа?

Когда маркиз заметил, что перед ним настоящее тело, каноник воскликнул:

— О господи! — и закрыл глаза руками.

Маркиз де Палюзель попытался было заговорить о тайном условии, но напрасно: каноник лишь замахал на него руками и тотчас выбежал вон, словно по ошибке попал в спальню самого дьявола. Мэтру Торкассону самому пришлось написать в Марсель, чтобы получить его официальный отказ от наследства.

Через две недели после этого в Палюзель прибыла молодая чета Шуле де Лонпуа. Муж с недавних пор служил в суде в Лодеве. Жена, маленькая круглолицая брюнетка, была хороша собой и смешлива.

Немногословный слуга, встретив гостей у подножия черной лестницы, попросил жену подождать, и муж в одиночестве был препровожден пред очи хозяина замка. Визит продлился так же недолго, как и предыдущие. Однако в тот момент, когда супруги Шуле де Лонпуа собирались уже отбыть восвояси в нанятой на вокзале машине, вновь появился слуга и, пригласив молодую жену следовать за ним, отвел ее к маркизу.

Тот, произнеся несколько банальных приветствий, принялся разглядывать молодую кузину налитыми желчью глазами. Затем взял ее за руку и,

подведя к кровати, устланной смородиновым да-
мастом, сказал:

— Могу я попросить вас раздеться?

Молодая женщина с воплем бросилась к лест-
нице, в то время как старик Палюзель кричал ей
вслед:

— Нет-нет! Вы совершенно неправильно меня
поняли, дорогая кузина! Я не объяснил вам...

Он говорил что-то еще, но она уже была в ма-
шине.

— Скорее, скорее уедем отсюда! Я тебе потом
расскажу,— обещала она мужу.

— Что? Что случилось? Стекланный гроб?

— Да, гроб...

— Я так и думал... Кажется, я откажусь,— произ-
нес молодой судья.— Слишком уж все это странно.

В последующие месяцы поток посетителей не
прекращался. Землевладельцы, буржуа, отцы, ло-
мавшие голову, где взять приданое для дочери, за-
житочные холостяки, кадровые военные, диплома-
ты по очереди являлись с визитом относительно
наследства. Питая поначалу одни и те же иллюзии,
все они уезжали под одним и тем же кошмарным
впечатлением.

Вначале маркиз лишь посмеивался им вслед. Но
вскоре смеяться перестал. Он терял терпение и со-
кратил срок для ответа нотариусу до одной неде-
ли. Было отмечено, что предложение наследовать
его состояние он адресовал лишь родственникам

мужского пола, однако часто изъявлял желание познакомиться с их супругами или дочерьми.

— Знаете, что я думаю? Это садист, он ищет себе жертву, — заявила однажды за семейным ужином одна впечатлительная кузина, считавшая себя весьма сведущей по части неврозов. — И не просто садист, а садист *post mortem**, если можно так выразиться. Он использует свое наследство как приманку, чтобы втянуть одного или одну из нас в какую-то жуткую историю, которая разыграется после его смерти. И принять его предложение может либо сумасшедший, либо отчаянный храбрец.

И храбрец объявился. Он значился в списке родни тридцать девятым и звался Гюбером Мартино. За неделю до того неожиданный приступ малярии, приковавший Мартино в бреду и горячке к постели, спас его от задуманного самоубийства. В свои двадцать восемь лет он успел промотать значительное состояние — частично за игорным столом, частично в результате разорительной торговли с Дальним Востоком. Его бросили сразу две женщины, которых он любил в равной степени и которые, к несчастью, обнаружили эту раздвоенность его сердца. К тому же он немного увлекался курением опиума. Деньги на дорогу ему пришлось занимать у привратника.

— Ну что ж, — объяснил он по возвращении, — я и с самим дьяволом заключил бы сейчас договор.

* *Post mortem* — посмертный (лат.).

Я мог бы даже... возьмем самое нелепое предположение... пообещать ему умереть через год. Ну и что? Чем мне это грозит? Мне терять нечего. Впрочем, скоро все разъяснится: старичок уже одной ногой в могиле.

Прошло еще три с половиной года, прежде чем маркиз Марк-Антуан де Палюзель вступил туда и второй ногой. После этого де Кардайаны, супруги Шуле де Лонпуа, Монбрели, сведущая в неврозках кузина, каноник и все остальные получили от мэтра Торкассона, нотариуса из Люнеля, приглашение присутствовать через две недели на вскрытии завещания и вступлении наследника в права. Все были крайне удивлены. Разве все они не заявили письменно о своем отказе? И разве не слышали они, что молодой Гюбер Мартино, эта отчаянная голова, а в сущности, игрок и дрянь порядочная, «который еще допрыгается», принял предложение? Если только... А что, если завещание признано действительным? Может, наследство будет просто-напросто подвергнуто разделу? И алчность снова стала разрастаться в их сердцах, как пырей на лугу после сенокоса.

Контора мэтра Торкассона никогда не видела такого количества посетителей за один раз. Съехавшиеся родственники сидели кто на чем, как на аукционе. Несмотря на жалюзи, в помещении стояла страшная жара. Госпожа де Кардаيان плавилась в своих траурных одеждах. Каноник Мондес, выходя из поезда, перепутал шляпы и теперь недоуме-

вал, как ему отыскать пассажира, чью панаму он присвоил себе по рассеянности. Гюбер Мартино опаздывал. Этого только не хватало! Время от времени раздавался нетерпеливый стук о пол чьей-то ноги.

Наконец прибыл Гюбер — за рулем длинной спортивной машины. За прошедшие три года жизнь его изменилась до неузнаваемости. Став потенциальным наследником состояния Палпозелей, он превратился в завидного жениха и женился на дочери одного из закулисных воротил парижской биржи. Юная госпожа Мартино, особа безупречная во всех отношениях, оказала на своего супруга самое благотворное влияние, помогла излечиться от опиумной зависимости и подарила сына. Гюбер снова занялся делами и на этот раз успешно. Однако теперь, когда он познал счастливую, благополучную жизнь и был председателем трех административных советов, его отношение к риску изменилось. И вот настало время расплаты... В мозгу у него теснились самые трагические предположения.

С удивлением обнаружив такое стечение народа, Гюбер поприветствовал всех сразу и, за неимением свободного стула, уселся на подоконник.

— Господа, — начал нотариус, — прежде всего я хотел бы попросить у вас прощения за то утомительное путешествие, которое вам пришлось совершить по моей просьбе. Однако ваш покойный родственник, которому вы все, кроме одного из вас,

выразили через меня свой отказ, особо настаивал на вашем присутствии при чтении завещания.

Помедлив немного, нотариус продолжил:

— Господин Гюбер Мартино...

Гюбер вздрогнул.

— Да... — отозвался он.

— Вы по-прежнему согласны вступить в права наследования, несмотря на неизвестный вам пока пункт завещания?

Последовало несколько секунд молчания, родственники сглотнули, как при спуске по канатной дороге. «Что такое? Я еще могу отказаться?» — подумал Гюбер. Все взгляды были направлены на него. Он чувствовал себя игроком, которому надо решить, идти ли ва-банк или оставить игру. И, движимый самой нелепой боязнью оказаться в смешном положении, к которой примешивались сомнительные доводы игрока вроде «хорошая карта идет... чем черт не шутит...», он с нарочитым спокойствием ответил нотариусу:

— Ну, разумеется, я согласен.

Что бы там ни случилось дальше, но именно этому завещанию он был обязан тремя годами счастья.

— В таком случае, сударь, — заявил мэтр Торкассон, разворачивая единственный листок, — вот этот документ. «Это мое завещание. Я оставляю моему кузену Гюберу Мартино все свое имущество, движимое и недвижимое, при условии, заранее им принятом, что он возьмет себе имя Палкозель и будет носить его отныне, а равно и титулы,

которые ему следуют». Такова тайная воля завещателя, пожелавшего, чтобы имя его предков не исчезло вместе с ним.

Пронзительное «ах!» госпожи де Кардайан было ему единственным ответом. Остальные члены семьи сумели сдержать свои чувства. Господин Шуле де Лонпуа, покусывая тонкие усики, не сводил злобного взгляда с супруги, и бедная малышка почувствовала себя виноватой, сама не зная в чем.

— Я же говорила, что он садист, — процедила сквозь зубы сведущая в неврозах кузина.

Да, именно от этого обычно рушатся семьи, начинаются супружеские измены, дети теряют уважение к родителям, обнажаются истинные чувства, которые люди питали друг к другу. Двадцать лет взаимных обвинений, ссор, сваливания с больной головы на здоровую, хлопающих дверей в домах с респектабельными фасадами обеспечено. «Если бы вы не были так глупы, друг мой, и не отказались от наследства Палпозелей!.. Вот! Это все твоя умная маменька насоветовала!.. Это ж надо: все, все досталось этому шалопаю, этому выскочке!..»

Что-что, а забвение имени Палпозель больше не грозило!

Пока Гюбер Мартино, глупо улыбаясь, пожимал чьи-то недоброжелательные руки, которые с большим удовольствием стиснули бы ему горло, чем пальцы, каноник Мондес, пряча за спиной панаму, спросил у нотариуса:

— А что за нечестивое тело держал маркиз у себя в гостиной? Может быть, вы мне объясните, мэтр?

— Что ж, господин каноник, насколько мне известно, это тело было привезено из Луизианы маркизом Теодором около двух веков назад. Это женщина из тех мест, которую он страстно любил. Даже мертвой она вызывала в людях странные чувства, — продолжил нотариус, отводя каноника в сторону. — Последний маркиз и его брат-близнец еще детьми обнаружили как-то этот стеклянный гроб, к тому времени давно уже позабытый на антресолях замка. Они никому об этом не сказали. Позже, унаследовав состояние отца, как вы знаете, в неделимую собственность, маркиз воспользовался тем, что гроб, естественно, не был внесен в опись имущества, и присвоил его себе. Возможно, именно в этом и крылась глубинная причина вражды, существовавшей между господами де Палюзель в течение сорока лет. К тому же, как вы знаете, ни тот ни другой никогда не были женаты. Мой предшественник в этой конторе утверждал даже, что они никогда... как бы это сказать... ну, вы понимаете, господин каноник... потому что, каждый раз, как они оказывались перед женщиной, эта покойница мешала им, они так и не нашли ту, которая походила бы на нее в достаточной степени.

— Ах, странно, очень странно все же, — сказал каноник, машинально теребя край панамы, — что

они не стали священниками, по крайней мере тот из них, кто придерживался католической веры!

Нотариус пожал плечами, выражая этим жестом свою неосведомленность по данному вопросу.

— Как бы то ни было, — заключил он, — с этим покончено, в прямом смысле слова. Вынося гроб с телом маркиза из комнаты, служащие похоронного бюро задели стеклянный саркофаг, и тот разбился. Тело, которое вы видели, буквально рассыпалось в прах. Говорят, такое случается с давно забальзамированными трупами. Останки сложили в ящик и поставили в склеп.

— Отслужу-ка я на всякий случай мессу, — ответил каноник.

1948

Ваша однодневная супруга

Кристине де Ривуар

Господин де Лонжвиль родился в Лонжвиле. Там же рос, там же жил. Унаследовал Лонжвиль после смерти отца и так глубоко укоренился в этой земле, так сросся с камнями своего замка, так слился с травой его полей и соком его лесов, что и помыслить не мог о том, чтобы обитать, дышать, существовать в каком-либо ином месте Вселенной.

Он всегда говорил: «Если мне суждено будет потерять Лонжвиль, я предпочту, чтобы мне отрубили голову». Опрометчивые слова, ибо произносил он их накануне революции, приближения которой не заметил и которая вскоре поставила его перед таким выбором.

В Париже взяли Бастилию, и господин де Лонжвиль, много читавший по истории, решил, что речь идет о мелком бунте, какие случались при всех царствованиях. Потом заговорили о конституции, и господин де Лонжвиль, будучи вольтерьянцем, не нашел что возразить по этому поводу. Затем ко-

роль был отправлен на эшафот, и монтаньяры стали косить направо и налево жирондистов, одновременно повсюду шла кровавая жатва среди аристократов. Наступил Террор... Господин де Лонжвиль оставался в Лонжвиле.

Он остался один. Один в провинции, которую покинули все его друзья, родные, близкие, отправившись кто в «Армию Принцев», кто на гильотину. Один в замке, потому что старые его слуги умерли, а молодые записались в республиканскую армию. Даже служанки сбежали из страха быть заподозренными в сочувствии к аристократам.

Так что дел у него было много, как никогда, и время бежало быстро. Он готовил себе печеные яйца в камине гостиной, каждое утро сам расчесывал и пудрил себе парик (пудры у него, слава богу, было вдоволь). Целыми днями со связкой ключей в руках он бродил по замку, стряхивая с занавесей пауков, которые плели там свою паутину, или сметая пыль с нарисованных предков. Если он и позволял себе минутку отдыха, то лишь для того, чтобы взглянуть со вздохом на рвы, заросшие водорослями и водяным крессом, посбивать тростью сорняки, заполонившие регулярный сад, или сорвать со шпалеры запоздалый персик, любезно оставленный ему прожорливыми гусеницами. И даже в этом запустении, в этом упадке Лонжвиль казался ему прекраснейшим местом на свете, вполне достойным того, чтобы посвятить ему себя без остатка.

Вопреки самым зловещим слухам, опасаться за свою жизнь он упорно не желал, полагая, что лонжвильские крестьяне, как и поля, которые они возделывали, коренным образом отличаются от других крестьян. Еще недавно он был их господином, надеялся с помощью войска графа Артуа снова стать им и всячески убеждал себя, что, оставаясь среди них, рискует меньше, чем где бы то ни было.

Местным мэром и председателем Революционного комитета стал один из его арендаторов, некий Филиппон. Маркиз хорошо знал его, этого Филиппона. Неплохой малый, но горлопан. Страсть к выступлениям и сделала его тем, чем он стал. Естественно, арендную плату Филиппон больше не платил.

«Они не посмеют зайти дальше, не посмеют тронуть меня, — частенько повторял про себя господин де Лонжвиль. — А вот стоит мне уехать, как они сразу сожгут замок и все разграбят».

Ради самоуспокоения он каждый день притворялся, будто верит, что Республика падет не далее как завтра и что все станет как было... и Лонжвиль будет спасен.

Такую привязанность к месту, такую преданность родным краям не часто встретишь у молодых людей... А я забыл сказать вам, что господин де Лонжвиль был еще молод и хорош собой. Прекрасно сложен, строен, ходил твердо с гордо поднятой головой, и лицо его было бы совсем правильным; если бы не крупный нос, придававший ему вели-

чественный вид. В узорчатом жилете, кружевах и туфлях на красных каблуках, он был именно таким, каким мы представляем себе сельского маркиза тех времен.

Бывают на свете люди, в точности соответствующие представлению, которое складывается о них у окружающих. Несмотря на некоторые характерные для него особенности, вроде привычки, взяв понюшку табаку, вытереть руки не о жабо, а о штаны, господин де Лонжвиль был из их числа, в чем можно убедиться, взглянув на портрет, хранящийся в музее Алансона, на котором, как утверждают, изображен именно он.

Во времена, когда вся провинция изнемогала от балов и отдыхала на пасторалях, он пользовался большим успехом у дам. Теперь же от всего этого у него оставались одни воспоминания. Но он не печалился, находя, что приятные воспоминания лучше, чем ничего.

В вечер своего тридцатипятилетия, пришедшего на сентябрь 1793 года, господин де Лонжвиль решил устроить себе праздничный ужин: он вставил в серебряный настольный канделябр и зажег не одну, а целых три свечи, достал из погреба бутылку сладкого вина и вместо крутых яиц, которыми питался в обычные дни, приготовил яичницу. Затем, облачившись в халат, он сел за клавесин и принялся играть, сожалея, что не может одновременно танцевать. Целый час услаждал он свой слух менуэтами, гавотами и каватинами, после чего,

усевшись поближе к камину, уснул при содействии выпитого вина.

Проснулся он оттого, что кто-то дергает его за рукав и кричит:

— Господин маркиз, вам надо бежать! За вами сейчас придут!

Он открыл глаза и увидел девочку, запыхавшуюся и покрасневшую от долгого бега. Это была дочь Филиппона. Ей было пятнадцать, прикрытые полотняной косынкой рыжеватые волосы падали ей на плечи, из-под рваной юбки виднелись круглые лодыжки, а нежные веки напоминали лепестки роз. Красивая девочка, и выговор у нее приятный: нормандский, певучий. Господин де Лонжвиль хорошо знал ее, как и всех детей деревни.

— Что ты хочешь, малышка? — спросил он.

— Бегите, господин маркиз! Говорю вам, бегите! Они идут сюда... Они были у отца, я слышала... Вам надо уходить, скорей, скорей! Они отправят вас в Париж.

Господин де Лонжвиль поднялся и подошел к окну. Ах, как прекрасна ночь над его парком! В этот час не видно, что деревья давно уже нуждаются в стрижке, и луна так красиво серебрит воду в пруду. И тут он увидел, что к замку приближаются несколько человек. Он не только заметил, но и услышал их, ибо они производили столько шума, что можно было подумать, будто они хотят его предупредить о своем приближении.

— Смерть аристократу! — кричали они так громко, что их крики можно было слышать в ближайшем городе. За плечами у них поблескивали косы.

Тогда господин де Лонжвиль отбросил нерешительность и, поставленный перед необходимостью выбирать между замком и собственной головой, в одну секунду сделал выбор, с которым тянул столько времени.

Девочка схватила его за руку, и он побежал за нею через весь замок. Она повела его по черной лестнице — другой она не знала. Они выбежали на хозяйственный двор, пробежали через огород и сквозь пролом в стене парка выбрались из имения.

Господин де Лонжвиль удивлялся скорости, с какой он умудряется бежать в ночных туфлях. Полы халата хлестали его по ногам, в то время как он на полном ходу думал: «Как же ее зовут? Имя, имя... Ну же, она дочь Филиппона, это я знаю, но вот имя...»

Время от времени он оглядывался на замок, ожидая увидеть, как из-под его крыши вырвется сноп огня. Однако ничего такого не происходило, и он подумал, что Революционный комитет, должно быть, сначала выворачивает шкафы и вспарывает картины, а уж потом подожжет дом.

— Куда мы бежим, малышка? — спросил он.

— В одно место, господин маркиз, там вас никто не найдет.

Господин де Лонжвиль замедлил шаг, чтобы перевести дух. Ничего не слышно, похоже, погони

нет. И вдруг маркиз вспомнил: «Маргарита! Ее зовут Маргарита».

— Почему ты сделала это, Маргарита? — спросил он. — Почему ты хочешь меня спасти? И как ты будешь оправдываться перед отцом?

— Я ему ничего не скажу.

— Но ты же очень рискуешь. Ты понимаешь это?

— Не хочу, чтобы вы умирали, господин маркиз. Не хочу! — воскликнула девочка. — Не хочу, чтобы вас отправили в Париж и отрубили голову.

И она стала тереть кулачками глаза. Когда она снова взяла господина де Лонжвиля за руку, он почувствовал в своей ладони ее мокрую ладонь. Теперь если Маргарита и держалась за него, то не столько чтобы вести его, сколько чтобы самой опираться о его руку.

Так они пробежали не меньше полулье, спустились в глубь долины и стали подниматься по склону холма. Здесь, в зарослях бузины, скрывался укрепленный каменной кладкой низкий пролом — вход в обрушившееся подземелье. Долгое время эту впадину использовали для выращивания шампиньонов, потом и в этом качестве она была заброшена. Рядом виднелся разрушенный сарай. Земля вокруг была сырая, следы сразу наполнялись водой, и над всем местом стоял сильный запах навоза.

Маргарита Филиппон принялась раскидывать гнилые доски и жерди для фасоли, которыми был завален вход.

— Это здесь ты собираешься меня прятать? В этой вонючей дыре? — воскликнул господин де Лонжвиль. — Никогда!

— Господин маркиз, — отвечала ему Маргарита, — если вы туда не пойдете, я сдамся вместе с вами и мы погибнем оба.

Господин де Лонжвиль был поражен такой решимостью, обнаруженной им у столь юной особы.

— Ну же, не упрямытесь, не в обиду вам будет сказано, — продолжала она. — Здесь вам нечего бояться. Крестьяне придут за подпорками для фасоли не раньше весны.

— Весны? — ужаснулся господин де Лонжвиль, плохо представляя себе, как будет зимовать в этом склепе.

— Идите же, идите, господин маркиз! А я завтра принесу вам поесть.

При необходимости ко всему можно привыкнуть, и даже если дела его совсем плохи, человек и тогда найдет повод для радости, пусть и совсем скромный. В этом вскоре убедился господин де Лонжвиль. От наполнявшего яму навоза, сгнившего и перегнившего, исходило тепло, что было весьма уместно в холодные сентябрьские ночи, а к запаху ноздри господина де Лонжвиля привыкли. Из обломков разрушенного сарая он смастерил себе подобие устланного папоротниками ложа, стола и стула.

Поскольку шампиньоны продолжали расти сами собой, господин де Лонжвиль ел их сырыми и

даже находил приятными на вкус. Свыкся он и с холодной похлебкой, которую Маргарита приносила ему на закате дня в глиняном горшочке с ручкой, и радовался, когда находил там кусок мяса.

Однажды он спросил девочку, где она берет эту пищу.

— Утром, когда я иду пасти коров,— объяснила она,— матушка дает мне эту похлебку на обед. Я ее не ем и приношу вам. Приходить раньше боюсь. Как бы меня не увидели.

— И когда же ты ешь?

— Вечером, дома.

Господин де Лонжвиль был богатым вельможей и привык к жертвам со стороны подданных, но эти слова тронули его сердце. Бедное дитя постилось целыми днями, сидя перед полной миской еды, и все для того, чтобы он не умер с голоду.

— Если на то будет воля Господа и герцога Артуа, я сторицей вознагражу тебя за все,— сказал он.

— Я делаю это не ради награды, господин маркиз,— ответила она, краснея.

В тот вечер она убежала раньше обычного.

Господин де Лонжвиль часто расспрашивал ее о замке. Тот почти не пострадал. Папаша Филиппон, который во всем стремился походить на Дантона, обратился с высокого крыльца к людям из Комитета с пламенной речью.

— Граждане! — воззвал он. — Отныне и навеки это имущество принадлежит Республике. И разграблять его — значит грабить Республику. Будь-

те бдительны! — После чего положил ключи от замка себе в карман в ожидании приказаний свыше.

Так что, кроме нескольких табакерок, утащенных со столиков, и вина, выпитого за победу над тиранией, все осталось в целости и сохранности.

Что же до исчезновения маркиза, то в деревне были уверены: ему помогли бежать. Из Комитета изгнали двух членов, заподозренных в связях с жирондистами, да отправили в Алансон местного кюре, застигнутого за проведением мессы в амбаре. Затем Филиппон выступил с громогласной речью, в которой беспощадно заклеил аристократию и вынашиваемые ею контрреволюционные заговоры, а также объявил, что Лонжвиль, из бывших, примкнул к «Армии Принцев», после чего дело было закрыто.

Тем временем господин де Лонжвиль продолжал гнить в своей пещере. Он не носил больше парика с тех пор, как тот пророс шампиньонами. Впрочем, он и не налез бы больше ему на голову, так как волосы отросли.

Взяв потихоньку у отца прикарманенные им ключи, Маргарита как-то проникла в замок, чтобы принести господину де Лонжвилю то, что он просил: золото для бегства и маникюрные ножницы. Не справившись с секретным замком секретера, где лежало золото, — по крайней мере, так она сказала, — Маргарита принесла только ножницы. Долго смотрела она, как маркиз стрижет ногти и ров-

няет бороду, любуясь изяществом его движений. И вздыхала, а он не понимал почему.

Господин де Лонжвиль попросил ее принести ему еще чего-нибудь из одежды, ибо его шелковые панталоны порвались в первый же вечер во время их бегства, а халат, плохо приспособленный для спанья на ложе из папоротников, пришел в полную негодность. Но Маргарита не стала рыться в гардеробной замка, решив, что лучше будет господина де Лонжвиля переодеть, и принесла ему суконные штаны и бумазейную блузу, которые не надевал больше Филиппон.

Кроме этого, она снабжала маркиза свечами, а чтобы ему не было скучно, носила книжки и брошюры, которые брала из отцовского шкафа и потом ставила на место.

И господин де Лонжвиль получил возможность прочесть такие произведения, как «Устройство республиканской семьи», «Свобода негров» и «Великая встреча в башне Тампля безусого патриота Шарля Либра и раба Луи Вето».

И наконец в один прекрасный день, а именно в воскресенье она принесла в пещеру рапиру:

— Я ее случайно нашла в сундуке на чердаке. Возьмите, господин маркиз, оружие вам пригодится.

Господин де Лонжвиль был в восторге. Он тут же оторвал от бумазейной блузы Филиппона лоскут и принялся чистить клинок.

Тем временем в семье Филиппона удивлялись аппетиту, с которым Маргарита набрасывалась на ужин. Но девочка, в конце концов, росла, а растущий организм нуждается в усиленном питании. Гораздо большее удивление вызвала проявившаяся вдруг у Маргариты склонность к мечтательности. Сидя за столом, она нередко забывала про еду, а когда отец обращался к ней с вопросом, забывала ему ответить.

А однажды вдруг пропала корова. Целую ночь ее искали с фонарями. Нашли, но Маргарите пришлось сознаться, что она бросила стадо. Из чего отец заключил, что у нее завелся ухажер.

Через несколько дней после этого, когда Маргарита только-только принесла господину де Лонжвилю миску холодной похлебки, гнилые доски, закрывавшие вход в пещеру, разлетелись от удара сапогом и на пороге появился мэтр Филиппон в сопровождении двух батраков.

— Так я и знал! — вскричал он. — Так я и знал, что ты бегаешь к ухажеру! Но чтобы к такому! К цыгану, бродяге!

Но тут под всклокоченной бородой и отросшими волосами он узнал господина де Лонжвиля, который встречал его с рапирой в руке.

— Господи боже мой! — воскликнул Филиппон, позабыв, что с тех пор, как решил стать атеистом, запретил себе помянуть Господа. — Господи боже мой! Так это вы, господин... — Он чуть было не ска-

зал «господин маркиз», но вовремя спохватился. — Так это вы, господин бывший!

Папаша Филиппон был крайне озадачен. Там, наверху, его доклад о неудавшемся аресте приняли не лучшим образом. И вот теперь... его дочка, маркиз... Если б дело было без свидетелей, если б он не притащил с собой этих парней! Но разве в такие времена, когда кругом сплошные заговоры, человек его положения может ходить в одиночку?

Да уж, дело дрянь! Ну, доченька, ну удружила! Как тут выкрутиться? Никакой Дантон не поможет!

— Да ты ему еще и мои штаны отдала! То-то я обыскался их сегодня утром. Хотел надеть, чтобы корову подоить. — Взгляд его упал на валявшуюся на земле брошюру. — Теперь понятно, почему от моего шкафа разит навозом! Давайте, граждане, хватайте его! — добавил он, обращаясь к батракам.

— Благодарю тебя, Филиппон, — сказал господин де Лонжвиль. — Я еще в состоянии передвигаться самостоятельно.

Возвращение в деревню происходило в полном молчании: каждый был занят своими мыслями. Ноябрьский туман, цепляясь за яблони, устилал дно долины. Возглавлявший шествие Филиппон лишь наполовину выступал из этой ваты. Не доходя до дома сотню шагов, он вдруг воскликнул:

— Подумать только! Какой-то бывший испортил мне девку! Мне! Такое! Нет, у этих людей нет

ничего святого! Они думают, что сейчас все еще средневековье!

— Филиппон, — отвечал господин де Лонжвиль, — твоя дочь спрятала меня и приносила мне пищу. Истинная правда. Потому что у этого ребенка доброе сердце. Но уверяю тебя...

Его перебила Маргарита.

— Батюшка, — сказала она, — я люблю его и всегда буду любить только его одного. — А затем шепнула господину де Лонжвилю на ухо: — Поймите, я говорю так для вашего спасения.

— Любишь или не любишь, все равно завтра я отправлю его в трибунал.

— Предупреждаю вас, если вы отправите его на смерть, я умру вместе с ним.

— Разве ты не республиканка?

— Республиканка, но я не хочу, чтобы он умер!

Маргарита не плакала. Вытянувшись в струнку, высоко задрав голову с распущенными по спине волосами, она, казалось, была готова сразиться с целым светом. Ею было проявлено уже достаточно решимости, чтобы теперь можно было не сомневаться: она поступит именно так, как говорит. Она любила маркиза, в этом не было сомнения. И Филиппон испугался, что дочь и правда решится на крайние меры.

Он представил себе, как она сама идет и сдается в трибунал или бросается в колодец. Другой дочери у него не было. Этот народный трибун нежно

любил свое дитя, а когда дети начинают действовать как взрослые, победа обычно остается за ними.

«Спрячу-ка я его сам на ночь-другую, а потом пусть убирается на все четыре стороны,— подумал он.— Но в деревне-то теперь все равно будут знать? И потом, она ведь уже обесчещена...»

Тем временем односельчане выходили из домов и шли им навстречу. И тут Филиппона осенило.

— Ладно, коли так, пусть женится на тебе, иначе ничего не выйдет,— сказал он.— Гражданин, готов ли ты взять в жены мою дочь?

— Соглашайтесь,— шепнула Маргарита, толкая господина де Лонжвиля в бок локтем.— Соглашайтесь, и вы спасены.

Господин де Лонжвиль, увидевший, как приближавшаяся было гильотина плавно отступает вдаль, положил руку на голову Маргарите и сказал, что почтет за великое счастье назвать ее своей женой.

Филиппон созвал членов Комитета, и те собрались в мэрии при свечах. Тяжелая челюсть, мощная шея, громадный кулак (мы обычно подражаем тем, на кого и правда похожи) — мэтр Филиппон разъяснил Комитету причины, заставившие его принять такое решение. Маркиз в заговорах не участвовал и предпочел прятаться в норе. Сочетаясь браком с Маргаритой, он тем самым становился на сторону народа.

— А что, граждане,— обратился Филиппон к присутствующим,— что, по-вашему, лучше: чтобы его кровь навлекла на нас новых врагов или чтобы

он примкнул к нам? Республика должна с распростертыми объятиями принимать всех желающих в свое лоно...

Его речь немного пахла жирондизмом. Но в деревне никто не держал особого зла на господина де Лонжвиля. Да и потом, теперь, когда у него не было ни парика, ни трости, ни жилета, когда лицо его, мертвенно-бледное от долгого сидения в подземелье, покрывала двухмесячная борода, он походил не столько на бывшего, сколько на безработного дровосека. И в сердце каждого из крестьян — не только Филиппона — закралась мелкая радость. Бывший помещик женится на дочке деревенщины. Вот они — завоевания Революции!

Все женщины деревни собрались перед входом в мэрию. Раскрыли книгу регистрации бракосочетаний, и гражданин Лонжвиль взял перо, чтобы поставить свою подпись.

Не отходявшая от него ни на шаг Маргарита снова зашептала ему на ухо:

— Это не взавраваданья свадьба, господин маркиз. Вы же знаете, теперь легко можно развестись. Зато так вы будете свободны.

Господин де Лонжвиль впервые расцеловал девушку в обе щеки и сделал это так трогательно, что местные кумушки повытаскивали свои платочки.

Той же ночью он уехал. Благодаря любезности возниц, которые еще и подкармливали его в дороге, ему удалось добраться до Парижа за три дня. Там

на несколько дней его приютил кузен Антенор де Лонжвиль, который, будучи так же привязан к своему особняку в предместье Сен-Оноре, как маркиз к своему замку, по-прежнему жил там — в каморке привратника.

Господин де Лонжвиль знал, что промедление смерти подобно, а повозки, ежедневно следовавшие мимо его окон, ясно показывали, чего до сих пор ему удавалось избежать.

Ему повезло, и, раздобыв фальшивый паспорт, он уехал в Англию. Там маркиз зажил нищенской жизнью эмигранта. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, он давал уроки французского языка. Однако в Лондоне в ту пору преподавателей французского было больше, чем желающих его изучать. Господин де Лонжвиль сдружился с Шатобрианом, и они вместе падали в голодный обморок перед мясной лавкой.

То, что мы рассказали в четырех строчках, на самом деле длилось четыре года.

Господин де Лонжвиль часто вспоминал свой замок без всякой надежды увидеть его еще когда-нибудь и охотно рассказывал историю своего бегства, желая показать иностранцам, что не все французские крестьяне такие кровожадные чудовища, какими их обычно изображают. Из-за этого он даже рассорился кое с кем из соотечественников.

Когда пришли вести о новом законе об эмигрантах, господин де Лонжвиль был одним из первых,

кто пожелал вернуться. В Париже правила Директория. В моде была другая мебель, другие женщины. Кровь Термидора успела высохнуть на мостовой площади Революции, и туфельки новых модниц стирали ее последние следы.

Антенор, которому не удалось еще вернуть себе весь особняк, переселился в комнаты второго этажа, где в надежде быть избранным в «Совет пятисот» принимал у себя дам вроде госпожи Тальен и госпожи де Богарне, которые не понравились господину де Лонжвиллю.

Он как раз спешно улаживал свои дела, когда в одно прекрасное утро ему вручили письмо из родных краев, в котором он прочел следующее:

Господин маркиз!

Мой отец умер, и нам придется расстаться с нашей фермой. Я хотела бы вернуть ее Вам, но не знаю, как это сделать. Что касается обязательств, кои волей обстоятельств Вам пришлось взять на себя, мне сказали, что если Вы намереваетесь связать себя иными, более счастливыми для Вас узами, те, как бы мало они ни значили, все же необходимо будет расторгнуть. Это письмо я отправлю Вашему кузену, господину графу Антенору, в надежде, что оно дойдет до Вас и что Вы соизволите отдать Ваши приказания той, которая со всем почтением к Вам имеет смелость назвать себя

*Вашей однодневной супругой,
Маргаритой Филиппон*

Изящество стиля и красота почерка немало удивили господина де Лонжвиля. На следующий же день он отправился в дорогу. До Алансона доехал на почтовых, а там нанял экипаж. Сильное волнение овладело им, когда он подъезжал к Лонжвилю, и только из боязни показаться смешным в глазах возницы маркиз удержался от слез, завидев крышу своего замка. Поскольку ключей у него не было, он направился напрямик на ферму Филиппонов.

Увидев его на пороге дома, Маргарита побледнела.

— Это вы, господин маркиз! Это вы! — вскричала она.

— Ты сама написала это письмо? — спросил ее господин де Лонжвиль.

— Да, господин маркиз. Все эти четыре года я училась. Не хотела нанести урон вашей чести.

Она, в своем сером платье с белым воротничком, держалась перед ним очень прямо. Золотые волосы были уложены по тогдашней моде — жгутами и локонами. Во взгляде ее и во всем облике читались сдержанность и достоинство.

Встреть маркиз ее в каком-нибудь другом месте, то вряд ли узнал бы в ней ту девочку — так она изменилась, выросла и похорошела.

— Сколько тебе лет сейчас? — спросил он.

— Девятнадцать, господин маркиз.

— И ты не замужем?

— У меня ведь уже есть муж, — ответила она с улыбкой.

Они вместе пошли к замку. Рвы были очищены от тины и ряски, ветви деревьев подстрижены, а в регулярно проветривавшихся покоях не было ни малейшего запаха плесени.

— Я старалась как могла, чтобы сохранить все до вас в надлежащем виде. Замок не продали как национальное достояние, потому что отец сказал, что он мой, — объяснила, покраснев, Маргарита.

— А что ты теперь собираешься делать? — спросил господин де Лонжвиль.

— Пойду жить к вашей тетушке, канониссе. Она совсем ослепла и часто просит, чтобы я ей почитала. Раз вы вернулись, думаю, останусь у нее насовсем.

Господин де Лонжвиль встал у того самого окна, через которое четыре года назад он смотрел на пришедших за ним людей, а в это время маленькая девочка тянула его за руку прочь. Он задумался.

Приближался день его сорокалетия. Господин де Лонжвиль не носил больше парика, виски его подернулись сединой, он слишком многое познал за эти четыре года: страх, голод, склоки и раздоры среди эмигрантов, — чтобы, вернувшись в Париж, обнаружить там эту одержимость удовольствиями, это шокировавшее его желание забыться и забыть обо всем.

Значит, Маргарите девятнадцать...

— Я вынужден опять уехать, — сказал он, — но прежде мы уладим наши дела. И сделаем это завтра. Нужно пригласить твоих родителей.

— У меня их больше нет.

— Тогда твоих друзей, тех, кто был там четыре года назад.

— Так это вся деревня, господин маркиз...

Она провела ужасную ночь, последнюю ночь мечты, которой она жила все эти годы одиночества. Но наутро, когда пришел господин де Лонжвиль, глаза ее были сухи и сама она была, как всегда, готова отважно встретить все, что бы ни случилось.

Ей не пришлось собирать всю деревню: деревня сама собралась, стоило ей сказать лишь одно слово ближайшим соседкам.

Маргарита думала: случиться может лишь то, что она предвидела. Она шла в мэрию, чтобы разрушить все, созданное ею тогда, в детстве.

Ничего не видя, не чувствуя — ни яркого солнца, ни дуновения счастья, витавшего над всей округой, — она вышла навстречу господину де Лонжвилю.

Тот взял ее за руку, и она перестала о чем-либо думать. Так, в молчании, шли они рядом несколько мгновений.

Затем господин де Лонжвиль сказал ей:

— Я размышлял всю ночь, не желая, чтобы решение мое было необдуманным. Мне кажется, Маргарита, из вас получится прекрасная маркиза де Лонжвиль. Да вы уже и стали ею, по вашему закону. Теперь я хочу, чтобы вы стали ею и по моему. Священник уже извещен и ждет нас.

И Маргарита поняла, что все это правда, потому что впервые он обратился к ней на «вы».

Она не могла потом вспомнить, звонили или нет церковные колокола в то утро.

Как и думал господин де Лонжвиль, из нее вышла прекрасная хозяйка замка. Ей только понадобилось некоторое время, чтобы перестать называть своего мужа «господин маркиз».

Она подарила ему дочь с круглыми лодыжками, рыжеватыми волосиками и веками, похожими на лепестки роз, которая сделала блестящую партию и, когда их не стало, продала замок.

1955

Торговец чудесами

Луи-Эмилю Гале

У него в подчинении целый генштаб, он дает сражения, командует армиями... но он не генерал.

Ежедневно сотни людей со всех концов света шлют ему фотографии с обратным адресом и датой своего рождения в надежде получить от него славу и богатство... но он не астролог.

Тридцать или сорок миллионов наших ближних платят ему еженедельную дань... но он не налоговый инспектор.

У него есть представители во всех странах мира. Он работает за гигантским столом с золочеными накладками, покоящимся на львиных головах, в гигантской комнате, своей роскошью напоминающей музейный зал. Путь к нему преграждают три секретаря. Домашние трепещут, когда он гневается... но он не диктатор.

Он держит двух далматинских догов, огромных, пятнистых, с грозным взглядом. Какая спяной, они постоянно лежат у его ног... но он не тренер-кинолог.

Он мастер выписывать чеки без покрытия (или был им), виртуоз неоплаченных векселей, гений бухгалтерских махинаций, он трижды был банкротом... но он не уголовник.

Величайшие писатели позволяют ему переделывать, ставить с ног на голову, уродовать свои произведения... но он почти безграмотен.

Знакомьтесь: этот странный, многоликий, всемогущий человек зовется Константином Кардашем.

Поначалу это имя вам ничего не скажет. Но повертите им и так, и этак, приглядитесь, прислушайтесь — и вот оно уже кажется более знакомым. А теперь закройте глаза и представьте себе, как оно выглядит в напечатанном виде — жирными заглавными буквами... **КАРДАШ... КОНСТАНТИН КАРДАШ...** Два слова. На темном фоне. Ну как, вспоминаете?

Вы — в кино, только что погас свет в зале.

На экране появляется средневековый щит, по бокам которого на задних лапах, в позе льва и единорога, стоят два остроухих далматинских дога и, грозно ощерив клыки, лают прямо на вас.

И вот сразу после догов из тьмы выплывает это самое имя, вы сто раз видели его и никогда не обращали на него особого внимания: **КОНСТАНТИН КАРДАШ**. Однако среди фамилий и псевдонимов, перечисленных в титрах фильма, нет имени важнее.

Конечно, о кинозвезде вам известно абсолютно все: вы знаете ее возраст, так умело, вопреки паспортным данным, сохраняемый на одной и той же отметке ее импресарио; вам известно, какие сигареты она курит в рекламных целях; вы прекрасно осведомлены о ее романах, придуманных журналистами; о баснословных гонорарах, три четверти которых идут на налоги. А вот о господине Кардаше вы не знаете ничего, ровным счетом ничего.

А ведь звезда мирового экрана есть чаще всего порождение Кардаша, и создает он ее с вашим материальным участием.

Константин Кардаш — продюсер.

Ни режиссер, целый год корпевший над фильмом, от которого зависит, насколько достоверно актриса изобразит энтузиазм доярки, возвращающейся после дойки коров, или муки метафизических исканий; ни главный оператор, ни осветитель, которые при участии гримера могут добавить актеру или сбросить столько световых лет, сколько им захочется; ни художник, которому под силу воспроизвести лес Фонтенбло в римском ангаре или замок Сант-Анджело в киностудии под Парижем; ни актеры второго плана, ни пять сотен или пять тысяч статистов, которых наряжают то санкюлотами, то бенгальскими уланами, то древними римлянами, то танцорами на венском балу; ни композитор, чья музыка создает эту волшебную атмосферу, в которую вы погружаетесь, глядя на экран;

ни сценаристы и авторы диалогов, долгими неделями трудившиеся вместе или поврозь над текстом Бальзака или Пушкина, пока текст этот не стал абсолютно неузнаваемым; ни монтажер, который беспощадно кромсает и склеивает пленку; ни директор фильма, которому приходится строго следить за соблюдением графика съемок, заниматься реквизитом, бегать за отсутствующими; ни девушка с хлопущей, в обязанности которой входит помнить все, о чем постоянно забывают режиссер и его ассистенты; ни сотни рабочих, служащих, инженеров, техников, участвовавших в этом грандиозном мероприятии, — никто в этом мире не может сравниться по значимости с этим человеком, чье имя упоминается еще раз в самом конце титров:

Продюсер
КОНСТАНТИН КАРДАШ

Именно он, Кардаш, руководит всем этим джаз-бандом, где каждый старается сыграть громче других. Это его, Кардаша, несокрушимая воля подчиняет себе в конце концов волю остальных.

И вот, итогом совместных усилий всех этих людей, с их безалаберностью, ссорами, раздорами, с их гениальностью и глупостью, итогом их сложной, беспорядочной деятельности становятся девять рулонов целлулоидной пленки, полтора часа экранного времени, в течение которого вы будете смеяться, мечтать, плакать. Разве это не чудо?

Господин Кардаш торгует чудесами. Это он и еще несколько предпринимателей такого рода обеспечивают вас недельным рационом иллюзий. Это по его хотению вы перемещаетесь из Гренландии на Балканы, меняете дворец на Босфоре на антверпенский подвал, пышный двор Людовика Пятнадцатого на монастырь в Ассизи, это его глазами вы видите тихоокеанские пляжи, отца Фуко, переход Рубикона, портовую шпану, Наполеона Третьего. Этот он, человек, о котором вы ничего не знаете, каждую неделю понемногу меняет ваши представления о народах и истории, влияет на ваше отношение к проблемам современности и вашей собственной жизни; это из-за него вы неосознанно начинаете иначе целовать жену или невесту, иначе одеваться, ходить, садиться перед пишущей машинкой, зажигать сигару, подкрашивать помадой губы, обращаться с детьми и подчиненными, отвечать на объяснения в любви. Это он внушает вам ваши желания и управляет вашими жизненными устремлениями.

Таким образом, он дергает не только за те нити, которыми управляются переменчивые кинозвезды. Нет, в его руках сосредоточены тридцать, сорок, сто миллионов нитей. И тяжела, ох как тяжела ответственность, возложенная на него за исполнение роли, которую он играет в современном мире.

Но самое страшное то, что роль эту играет именно господин Кардаш.

Не было ничего особенного, что предрасполагало бы Константина Кардаша к кинематографической карьере, кроме разве что дикого желания разбогатеть и очень низкой вероятности этого в той небольшой центральноевропейской стране, где он родился, и в то время, в которое он там рос.

Дело было сразу после окончания Первой мировой войны, в двадцатые годы, с их революциями, инфляцией, рабочими восстаниями, выступлениями меньшинств. В ту пору Константин был совсем молодым человеком, очень худым, но крепким, с пышной шевелюрой и взглядом, печальным от постоянного недоедания, ибо уже тогда перерабатывающая способность его желудка была втрое больше, чем у обычного человека.

Работал он на скромно оплачиваемой должности в одном аграрном хозяйстве, ничего при этом не смысля в агрономии. Ибо уже тогда он обладал способностью хвататься за любое дело, о котором не имел ни малейшего представления, поскольку считал, что всегда можно разобраться на месте.

Однажды, опрыскивая инсектицидом верхушки персиковых деревьев, он забыл надеть шляпу. В результате чего на четыре дня ослеп. А когда проморгался и взглянул в зеркало, то увидел себя с абсолютно лысым черепом, усеянным горчичными пятнышками и покрытым легким бесцветным пушком, который он сохранил до наших дней.

Разочаровавшись в сельском хозяйстве, Кардаш отправился в Берлин, где несколько недель жестоко страдал от нищеты и невыносимого голода.

Слоняясь однажды вокруг киностудии, он нанялся в массовку. Иногда, знаете ли, бывает нужно украсить толпу каким-нибудь лысым типом с изголодавшимся лицом. По роли ему надо было всего лишь перейти улицу между картонными фасадами. Так он вошел в мир чудес.

Как-то ближе к вечеру, проходя мимо гримерных, он заметил женщину, которая ела бутерброд с курицей. Она изящно впивалась зубками в белое мясо, оставляя нетронутым хлеб. Он застыл, потрясенный и зачарованный... бутербродом.

— Вы не отдадите мне хлеб? — спросил он, или, вернее, таков был смысл странных, нечленораздельных звуков, каковыми он выразил свою просьбу.

Дамой, поедающей курицу, была Ева Мераль — великая актриса французского немого кинематографа. Ее белое лицо яйцеобразной формы, воздетые к небу густо подведенные глаза и жемчужные зубы стали символом идеальной красоты для целого поколения, божественная Ева, на свидание с которой вечером, в полумраке, под звуки расстроенного пианино, каждую субботу спешили сотни тысяч поклонников. Она переживала не лучший период своей жизни. Мышечные ткани ее начинали дрябнуть. Ей нужно было что-то, чтобы вновь обрести уверенность в себе. К тому же ей всегда нравилось, когда у мужчины кожа да кости.

Ее тронуло появление этого долговязого подростка с лысым черепом, черноглазого и в рваных штанах. Она решила, что это приключение на один вечер, но попала в ад на целых пять лет.

Теми несколькими якобы хорошими манерами, которые якобы были у Кардаша, он обязан Еве Мераль, но и у нее они тоже взялись бог весть откуда. Она же приучила его носить шелковые рубашки.

Он поехал за звездой во Францию, где она начала вводить его во все фильмы, в которых снималась сама. Он стал обязательным условием во всех ее контрактах. Если кто-то желал снимать Еву, то должен был непременно пригласить и Константина: конечно, не в качестве актера, поскольку у него не было и намека на талант, а на туманную должность «технического консультанта».

В ту пору его обычно звали Костя. Это уменьшительное имя дала ему Ева Мераль, и оно так и осталось за ним для близких и тех, кто претендует на это звание.

Говорил он тогда на языке не иностранном, а просто странном — на какой-то чудной, понятной ему одному смеси наречий — «по-кардашски», — приправляя свою речь по необходимости французскими словами, главным образом цифрами.

В первых фильмах, в которых Костя принял участие, его деятельность главным образом ограничивалась постоянными требованиями денег у продюсера: «А то завтра Ева... бух!.. больно, больно, сильно больно голова... тогда ни хт съемки. Моя десять тысяч».

Сутенер и шантажист... Можно считать, что Кардаш и правда обучался ремеслу на практике.

При этом он бывал щедр, щедр по-царски, жил на широкую ногу, устраивая для случайных друзей шикарные застолья в ночных заведениях, в пьяном виде с удовольствием оскорблял Еву на людях и подписывал счета золотым карандашиком.

Между тем амбиции его росли, и он чувствовал это. Он распознал в кинематографе новую, совершенно сказочную область человеческой деятельности, единственную, с тех пор как были разработаны все золотые копи и пробурены все нефтяные скважины, которая еще питала старый миф о неожиданном обогащении и манила его прелестями.

И Кардаш занялся «кинематографическими делами», пустившись в разные «комбинации».

С Евой Мераль он расстался. Охваченный внезапным приступом чувства собственного достоинства, он заявил, что не может продолжать жить за счет женщины, и случилось это как раз в тот момент, когда слава звезды начала меркнуть. После этого глаза Евы еще мерцали какое-то время над ее опаловыми щеками, но роли ее становились все мельче и незаметнее. Она играла игумений, сестер милосердия, вдов — с неизменным покрывалом на голове. С приходом звукового кино она окончательно исчезла с экрана, поскольку обладала писклявым голосом. Несколько лет назад она скончалась в Понт-о-Дам, в доме престарелых для бывших актеров.

Костя не любит, когда ему напоминают о Еве. Он уже давно простил ей то зло, что сам причи-

нил ей. Когда при нем произносят ее имя, он прикрывает лицо ладонью и остается один на один со своими воспоминаниями. Возможно, она была его единственной любовью.

После этого начался второй период жизни и деятельности Кардаша, который можно назвать героическим.

У него появилась крошечная контора на шестом этаже большого дома на Елисейских Полях, за световой рекламой какого-то мыла. Жизнь его состояла из судебных повесток и описей имущества. Не раз на его filmy накладывался арест в самый разгар съемок из-за того, что он не в состоянии был рассчитаться с актерами и заплатить за студийные помещения. Он гонялся за спонсорами по всему Парижу, обкладывая их как кабанов в Арденнском лесу. Он буквально поселился на террасе ресторана «Фуке» среди сотни таких же, как он, ландскнехтов, путая грамматические времена в своих речах и вводя клятвопреступление в профессиональный обиход.

Он побывал в Каире, Белграде, Токио, пытаясь продать там фильм, который «скоро выпустит» его коллега Софирос, ибо кинематограф — это такой вид индустрии, где к изготовлению продукции приступают лишь после того, как продадут ее на всех рынках.

К этому самому периоду, на который пришлось два его первых банкротства, относятся несколько

его высказываний, произнесенных, как всегда, «покардашки» и ставших впоследствии знаменитыми.

Например, ему принадлежит изобретение «частного» честного слова, которое, в отличие от профессионального, как известно, не имеет никакой силы.

Он и никто другой дал замечательное определение конкуренту — скромному, не имеющему за плечами ни судов, ни конфискации, ни трений с налоговыми органами: «Занеско? Честный? Ну этот человек просто... просто преступно честен!»

А потом пришло чудо. И имя этому чуду — «Похититель воспоминаний», фильм, который все вы, конечно же, видели, который открыл миру гениального режиссера и гениальную актрису, который с тех пор дважды переснимали с новыми исполнителями. Короче говоря — классика, на которую вы бежите всякий раз, как ее объявляют к показу в каком-нибудь авангардном кинотеатре, где обычно идут только фильмы тридцатилетней давности.

Когда Кардаш взялся снимать «Похитителя воспоминаний» на сюжет, проданный ему за бесценок Софиросом, ландскнехты из «Фуке» решили, что он спятил. Оба спонсора, которых ему удалось заинтересовать, выставили ему зверские условия: он несет ответственность за все, обязывается полностью возместить вложенные в предприятие деньги и лично покрыть все дефициты.

Чем он рисковал, ввязываясь в это дело? В тот день, когда он подписал контракт, у него оставалось

на все про все пятнадцать тысяч франков, и не в банке, где они мгновенно были бы съедены дебетовым счетом, а в виде пятнадцати купюр, засунутых в носок.

«Похититель воспоминаний» стал его триумфом, явив собой то редчайшее, счастливое стечение обстоятельств, когда нюх продюсера, смелость сюжета, личность режиссера-постановщика и новые актеры порождают шедевр.

Спонсоры же были настолько одержимы мыслью застраховаться от неудачи, что позабыли оговорить в контракте одно обстоятельство: возможную прибыль. И Кардаш, несший всю ответственность, получил эту прибыль в полном размере.

Тут начинается третий период жизни Кардаша, тот, что продолжается и поныне.

Он выпустил фильм, потом другой, уже на реальные средства, позволившие ему пригласить самых настоящих звезд и запустить шумную рекламную кампанию. И снова был успех, не такой громкий, как с «Похитителем воспоминаний», но вполне достаточный, чтобы положение его упрочилось, а сам он стал считать себя великим деятелем. Он открыл фирму в Лондоне, которая поглотила его французское предприятие, потом еще одну — в Америке, в которую влились обе предыдущие.

Каждый раз он и сам менял подданство, что в итоге составило три натурализации в разных странах.

Секрет его успеха, возможно, в том, что он никогда не повторяется: ни один его фильм не похож на предыдущий. Выбрав подходящий момент, он неожиданно для всех запускает в производство морскую драму, фильм на религиозную тему, историческую эпопею, предоставляя уже другим подражать ему, снимая бесконечных «Титаников», «Святых Антониев» и «Юлиев Цезарей», не оправдывающих затраченных на них денег.

Но ни разу больше не решился он затронуть такую же смелую тему, как в «Похитителе воспоминаний», ни разу не пошел на освещение серьезной проблемы, действительно важной для нашего времени. Впрочем, насколько смелым оказался его первый фильм, Кардаш понял лишь позже, по поднавшемуся вокруг него шуму.

Теперь он прочно утвердился в пышно обставленных штампах, шаблонах, конформизме. Что не помешало ему в третий раз обанкротиться — со своей английской фирмой; но к этому времени он был уже настолько влиятелен, что его разорение повлекло бы за собой другие, а потому банки были вынуждены пойти ему навстречу.

Теперь он входит в десятку крупнейших продюсеров мира. Женившись на бесталанной актрисе, из которой предусмотрительно не стал делать звезду, он произвел с ней на свет двоих детей, и в разгар беседы с журналистом, расспрашивающим его о будущих грандиозных проектах, любит позвонить до-

мой и прокричать в один из своих шести телефонов: «Хелло, Микки! Хелло, Поппи!»

У Кардаша есть дом в Беверли-Хиллз, свой пляж на Тихоокеанском побережье, особняк на Белгрейвсквер и имение в Ирландии, куда он ездит охотиться раз в два года; он построил себе виллу на Лазурном берегу и летает на собственном самолете.

В Голливуде он живет очень закрыто, общаясь только с людьми, которые зарабатывают столько же, сколько он сам, что, естественно, сокращает круг его общения.

Кардаш по-прежнему лыс, череп его покрывает все тот же бесцветный пушок; однако кости его одеты теперь толстой, жирной оболочкой. Живота как такового у него нет, вместо этого у него наблюдается чудовищное расширение желудка, непомерно гипертрофированное брюхо, по поводу которого Софифос посмеивается:

— Костя? Да он у нас за Иону отыгрывается. Тот киту в брюхо угодил, а Костя сам проглотил кита.

Да, Костя сохранил зверскую булимия, которой страдал в годы своей нищенской юности. Только вот печень у него начала пошаливать. А потому он подумывает теперь о психоаналитике, который избавил бы его по возможности от его главной фобии — страха перед пустыми тарелками.

Он по-прежнему говорит «по-кардашски», правда, ему удалось этот язык усовершенствовать, так что теперь он представляет собой сложный сплав из английских, французских, немецких, итальян-

ских и венгерских выражений. Возможно, это наречие и станет когда-нибудь универсальным языком будущего, но пока понимать его и переводить на более древние языки с четкой синтаксической структурой удастся лишь госпоже Олофсен, седовласой секретарше с плечами разной высоты, которая находится при Косте вот уже пятнадцать лет.

Софирос стал у Кардаша начальником генштаба и одной из его многочисленных «правых рук», как если бы тот, на манер индусского божества, имел по шесть конечностей с каждой стороны туловища. Это они, «правые руки», говорят: «Костя приезжает... Я получил телеграмму от Кости... Завтра еду в Лондон встречаться с Костей... Костя звонил мне из Нью-Йорка... Попробую поговорить об этом с Костей...» Это их постоянно осаждают просьбами похлопотать перед всемогущим владыкой.

Они же участвуют в «сценарных совещаниях» в гигантском кабинете Кардаша, где обсуждаются сюжеты будущих фильмов в присутствии двух догов-талисманов, капающих слюной на пурпурный ковер.

Сам Кардаш сценарий никогда не читает. Он берет его в руки, прикидывает на вес, нюхает, вертит туда-сюда, потом раскрывает в двух-трех местах, кладет ладонь на страницу и заявляет, что «тут» диалог никуда не годится. И оказывается прав, и все восхищаются его гениальностью. Но все дело в том, что обычно диалог бывает никудышным от начала до конца.

Или вдруг Кардаш решает, что в сценарии не хватает сцены с жирафами.

— Но это же невозможно! — кричит сценарист. — В «Красном и черном» нет никаких жирафов!

— Нет, так будут. Надо сделать сцену в зоопарке. Пусть эта влюбленная парочка... Сорель и мадемуазель... мадемуазель... как ее?... впрочем, неважно... Так вот пусть они там прогуливаются — на фоне жирафов.

— Но поймите, у Стендаля вообще...

— Что вы мне все тычете в нос своим Стендалем?! Кто это такой?! Где? — вопит Кардаш. — Плевать мне на Стендаля!.. Говорю вам, мне нужна эта сцена, потому что для прошлого фильма я купил двух жирафов, а они так и остались неиспользованными. Надо же мне их окупить!

Кардаш вскакивает с места, мечется по кабинету, кипит, начинает сам разыгрывать любовную сцену у клетки с жирафами, изображая то Жюльена Сореля, то мадемуазель «Как ее», которые у него изъясняются, естественно, по-кардашски, придумывает, сочиняет, как полгода назад сочинял, придумывал, изображал Понтия Пилата, а завтра будет изображать Байрона. И уже скользит по бумаге карандашик госпожи Олофсен, и слышатся одобрительные возгласы Софирося, того самого Софирося, который всегда покидает эти совещания больным, потому что до смерти боится собак.

А потом в своем огромном лимузине Кардаш катит на киностудию, где снимается фильм о жизни «Человека из Назарета», выскакивает на съемочную площадку, окидывает царственным взглядом сидящих вокруг стола двенадцать человек в рубищах и спрашивает:

- Это еще что такое?
- Тайная вечеря. Центральный эпизод фильма.
- И вам это нравится? И это все, что вы придумали для центрального эпизода? Двенадцать оборванцев? Вы думаете, это произведет впечатление? Ну-ка, быстро, посадите мне за этот стол пару сотен массовки да оденьте их поприличнее!

Потом, задумавшись на мгновение, он хлопает себя по лбу:

- Да! Еще! И пусть среди декораций пасутся жирафы. Для восточного колорита.

Как бы ни был богат, грозен, влиятелен Кардаш третьего периода, он носит в сердце незаживающую рану: ему больно оттого, что у его настоящего нет прошлого. Да, ему больно. Больно, когда обсуждается сцена, где ребенок из богатой семьи разговаривает со своей гувернанткой, потому что у него самого в детстве не было гувернантки. Ему больно, когда он назначает актрису на роль герцогини, потому что сам он не знаком ни с одной герцогиней или княгиней и видел их разве что в ресторане, казино или ночном клубе.

Но ему могло бы быть так же больно и оттого, что он ничего не смыслит ни в рабочих, ни в ученых, ни в чиновниках, ни в преподавателях университета, ни в многодетных матерях, ни в чистой любви, ни в самопожертвовании, — словом, ни в чем, потому что из всех видов человеческой деятельности знаком лишь с опрыскиванием фруктовых деревьев и судопроизводством.

Он мог бы, по крайней мере, хранить воспоминания о нищете и связанных с нею бедствиях. Но от этих воспоминаний он отрешивается. Он стыдится их. Бывая в Париже, он не желает больше садиться за столик на террасе ресторана «Фуке». Если честно, ему просто страшно, страшно, потому что он чувствует, пусть и не признаётся в этом, что представления его обо всем на свете — или почти обо всем — неверны. Вот почему, несмотря на всю свою злость, искреннюю или притворную, он так осторожен, вот почему так беспокоит его мнение добропорядочных американских граждан, вот почему время от времени он отправляет Софирося в Ватикан за отзывом о том или ином фильме.

Каждый раз, когда Кардаш решается на суперпроизводство очередной чуши, он ищет, за чем спрятаться, и чаще всего он прячется за вами, то есть за зрителями.

«Этого хочет зритель... Зрителю это нужно... Зрителю это нравится... Я знаю своего зрителя» — вот его последние доводы в любом споре. И поскольку он еженедельно вытягивает из вашего кармана не-

сколько монет, взамен которых предлагает вам свой искаженный взгляд на мироустройство, то свято верит в то, что знает вас.

Однако в последнее время Кардаш обеспокоен: доходы «Кардаш корпорейшн» падают по всему миру, а расходные обязательства растут, начинают даже поговаривать — не в открытую, но все же — о четвертом банкротстве...

И тогда Кардаш вновь обращает свой взор на Европу, где кинопроизводство стоит не так дорого. Он отправляет Софирося к Занеско, который по-прежнему являет собой образец «преступной честности», с предложением сотрудничества. Кардаш со своей стороны обещает вложить в дело кинозвезду и свой престиж, что, по его мнению, потянет на половину всех вложений. Занеско же должен будет обеспечить остальное. Но вот незадача: Занеско отказывается участвовать в чудесном умножении апостолов.

Когда Константин Кардаш в последний раз отдыхал на Лазурном берегу, к нему явился молодой человек лет тридцати со странным акцентом, который до этого целый месяц осаждал Софирося и остальные «правые руки», настойчиво стремясь проникнуть к всемогущему властелину.

— Мне надо сказать ему всего одно слово, одну фразу, — говорил он им. — Сюжет моего фильма умещается в одну фразу, но это самая потрясающая, самая великая история нашего века.

— Но Костя больше не покупает сюжеты. У него этих потрясающих историй на сорок лет вперед!

— Да, но когда он узнает!..

— Ну и? — надменно спросил Кардаш, приняв его между дверей.

— Так вот, господин Кардаш, — сказал молодой человек, — надо сделать фильм, всего один: историю вашей жизни!

Тут Кардаш выкатывает грудь, раздувает сидящего у него в животе кита и мечтательно задумывается.

— Значит, вот что вы придумали... Вот что вы подумали! Вы умный молодой человек и далеко пойдете. Как ваше имя?

— Шардак, — ответил тот.

И они пожали друг другу руки.

Завтра, послезавтра, через два года или через десять лет Кардаш умрет — от удара, от инфаркта, в результате несчастного случая или от передозировки снотворного, а может, закончит свои дни в бедности, думая о Еве Мераль.

Человек, оказавший на вас ни с чем не сравнимое влияние, которому вы обязаны большей частью ваших неудовлетворенных желаний, ваших суетных устремлений, ваших заблуждений, ваших ошибок, исчезнет; и вы даже не узнаете об этом, а если и узнаете, то едва ли обратите внимание на данный факт. Фильм о его жизни так и не будет снят, потому что в конце концов Кардаш правильно рассудил, что это не самый лучший сюжет.

Можно быть уверенным в одном. Режиссеры, сценаристы, актеры, монтажеры, музыканты, статисты, рабочие, инженеры будут и дальше снимать фильмы, и вы каждую неделю будете смотреть их. Но вот что внушает меньше уверенности, так это то, что на смену Кардашу придет Шардак.

Ибо вы сейчас, конечно же, задаетесь тем же вопросом, что и я: так ли уж необходим миру, в котором мы живем, гений Константина Кардаша?

1952

Черный принц

Эрве Миллю

Он. Невысокий, но сложен восхитительно: стройные мускулистые ноги, изящное копыто, глубокая грудь, бархатный взгляд карих глаз в обрамлении длинных черных ресниц, небольшие, широко вырезанные ноздри, благородство, гордость, элегантность во всем облике... Короче говоря, такого коня редко встретишь.

Она?.. О ней чуть позже.

История, которую я собираюсь вам рассказать, начинается в Париже весной 1730 года, в праздник Тела Господня, днем, в квартале Гобеленов.

В тот день знаменитая мануфактура устраивала традиционную выставку шпалер из старых коллекций и тех, что были изготовлены за последний год. Стены обширного двора сверху донизу были завешаны роскошными коврами, равных которым нет во всем мире. Автор «Путеводителя по Парижу для иностранных путешественников», настоятельно рекомендуя это зрелище своим читателям, между про-

чим замечал: «Однако я советую чужестранцам быть особо внимательными к собственным карманам, ибо там бывает такое скопление народа, что подчас трудно понять, кто сейчас стоит рядом с тобой».

Английский путешественник мистер Кок; в длинном парике и небольшой круглой шляпе, как раз возвращался с этой выставки. Мистер Кок не был особым любителем коврикатчества. Большой интерес он проявлял к скаковым лошадям. Выпятив брюшко, туго обтянутое коротким жилетом, и размахивая руками, мистер Кок шагал, отдавшись на волю потоку прогуливающих, который тек по обсаженной огородами улице Крульбарб к предместью Сен-Марсель. Англичанин с удовольствием разглядывал миловидных горожанок в полосатых платьях, именно таких, какими изображал их на своих картинах господин Ватто, скончавшийся за несколько лет до того. Ни сутолока, ни гомон толпы его не удивляли, ибо о них его предупредил «Путеводитель»: «На улицах Парижа следует проявлять осмотрительность. Кроме толп пешеходов, которые часто налетают друг на друга и сталкиваются между собой, там имеется весьма значительное количество карет и фиакров, снующих туда-сюда до глубокой темноты и передвигающихся с большой скоростью. Следует постоянно оглядываться по сторонам. Только обойдешь человека, идущего впереди, как сзади уже напирает другой, а вы и не слышали, поскольку кругом грохочут экипажи».

Мистер Кок надлежащей осмотрительности не проявил, ибо вдруг ощутил сильный толчок в пле-

чо и кубарем покатился в пыль. Поднявшись без особого ущерба для себя на ноги посреди набежавшей толпы зевак, он увидел наехавший на него экипаж. Это была тяжелая водовозная бочка. Ее хозяин — овернец, как почти все, кто занимался этим делом, — соскочил со своего сиденья и помог англичанину отряхнуть пыль с одежды.

— Прощенья просим, господин хороший, — приговаривал водовоз. — Все из-за этой клячи. Ну никак не удержать проклятую скотину! Знай натягивает удила. Что хочет, то и делает. Когда-нибудь, как пить дать, угробит кого-нибудь на улице, а мне из-за нее в тюрьму!

Он показывал на запряженную в бочку лошадь, замызанную клячу самого жалкого вида, такую тощую, что хоть все кости пересчитывай. На шкуре животного виднелись множественные раны от жесткой упряжи. Слишком большие, слишком тяжелые для маленького рта удила причиняли ему явные страдания.

— Вот же дрянь какая, — продолжал овернец. — Ну просто падаль. — И он в сердцах замахнулся на коня кнутовищем.

Но мистер Кок остановил его. Он смотрел на коня, конь смотрел на него.

Для того, кто знает лошадей, кто любит их, лошадиный взгляд может быть столь же выразительным, столь же говорящим, как взгляд человека. Лошади тоже сразу распознают тех, кто их понимает. Как человек выбирает себе коня, так и конь выбирает хозяина. Огромный темный глаз, гордо и ис-

пуганно смотревший на англичанина, не мог принадлежать обычной упряжной лошади, рожденной для рабского труда.

— Позвольте мне взглянуть на этого коня, — сказал мистер Кок. — Откуда он у вас? Как вы его приобрели?

Поняв по акценту, кто перед ним, водовоз тут же принялся пересыпать свою речь «милордами».

— Да смотрите на здоровье. А чего смотреть-то — дрянь, и все тут. А купил я ее потому, что она была из королевских конюшен, так мне сказали. Только я вот думаю, как это она могла служить королю, если даже бочку с водой и ту возить не может как следует.

— Из королевских конюшен? — переспросил англичанин, который понимал выговор овернца с таким же трудом, как тот — его акцент. — Странное дело! Я не знал, что король Франции держит арабских скакунов. Как его зовут?

— Шам. Имечко не для лошади христианина.

Мистер Кок согнулся пополам и принялся ощупывать облепленные грязью ноги лошади. Потом, выпрямившись, изучил угол плеча, изгиб шеи, посадку головы.

— Не продадите ли вы мне ее? — спросил он наконец.

— Продать? Вам? Да хоть сейчас, мой милорд! — воскликнул овернец.

Но тут же спохватился. Хоть конь этот был не лучшим его приобретением, однако в свое время он за него немало заплатил, да и овес не даром ему

доставался; опять же, теперь придется искать нового, а цены-то растут.

И овернец назвал в конце концов цену, которая самому ему показалась огромной: семьдесят пять франков. Мистер Кок согласился без разговоров.

«Ну что за дурни эти англичане», — думал про себя водовоз, отводя тем же вечером Шама на конюшню отеля «Антраг», что на улице Турнон.

Конюхи роскошной гостиницы для богатых иностранцев брезгливо морщились, чистя скребницей этого одра, от которого несло так, будто он несколько месяцев спал на навозе.

На следующий же день мистер Кок принялся раскапывать прошлое Шама. Конь побывал уже не в одних руках. Все его хозяева были мелкие сошки, все использовали Шама в упряжи и все не раз раскаялись в своем приобретении. Так, двигаясь от владельца к владельцу, мистер Кок добрался до конюха из Версаля.

Овернец сказал правду. Шам действительно происходил из королевской конюшни. Он был прислан тунисским беем в числе восьми берберийских жеребцов в подарок Людовику Пятнадцатому в память о некоем торговом договоре, подписанном двумя годами раньше.

Взглянув на небольших нервных лошадок, дававшихся в руки только тем, кто умел с ними обращаться, и чье изящество, далекое от вкусов той эпохи, выглядело скорее нелепо, король пожал плечами. Впрочем, перепробовав за свою жизнь более двух

тысяч лошадей, он так и не смог подобрать себе коня по вкусу. Правда, он и не слишком старался, действуя больше по прихоти.

Итак, король пожал плечами, следом за ним плечами пожал обер-шталмейстер, а за ним — все остальные. Берберийские жеребцы были сосланы в дальний угол конюшни, где и пребывали какое-то время, пока их не раздали в виде вознаграждения конюхам, те, в свою очередь, тоже поспешили от них избавиться.

Так вот и оказался Шам, прекрасный принц пустыни, потомок знаменитого Крылатого Ветра, подарок магометанского монарха королю Франции Людовику Возлюбленному, на улице Крульбарб в оглоблях водовозной бочки.

Было ему тогда шесть лет. Скатившись с таких высот в такую бездну, познав многие превратности судьбы, он находился лишь в самом начале жизненного пути.

Когда-то он пересек Средиземное море на берберской галере, теперь же на добротном крутобом корабле переплыл Ла-Манш. Ему были знакомы и африканские пески, и парижские мостовые, и вот его изящные копыта ступили на нежную травку английских лужаек.

В Лондоне мистер Кок был завсегдатаем трактира «Сент-Джеймс», модного заведения, где собирались большей частью любители лошадей да игроки на скачках. Держал скаковых лошадей и хозяин заведения Роджер Уильямс.

Мистер Кок и сам был уже не рад своему приобретению. Там, в Париже, он поддался минутному порыву, некоей смеси любопытства и желания удивить окружающих. Конечно, у него появилась в запасе любопытная история, которую с удовольствием слушали знакомые, но вот что делать со сбившей его лошадей, он положительно не знал, а потому перепродал Шама за восемь гиней владельцу трактира. Тот же отправил молодого жеребца попасться какое-то время на свободе.

И вскоре принц пустыни обрел свои первоначальные округлые формы, длинную трепетную гриву, пышный хвост, веером опускающийся до самой земли, прекрасный широкий круп, чеканные мускулы и шелковистую шерсть такой черноты, что на ярком свете она начинала отливать синевой.

В ту пору в Англии скачки уже лет тридцать как были в большой моде. Однако лошади, в них участвовавшие, нисколько не походили на сегодняшних. Тогдашние образцы были ближе к лошадям средневековых конников: крупным, тяжелым, способным выдержать вес доспехов, на скаку вспахивающим копытами землю с грохотом несущейся лавины.

Мистер Уильямс, трактирщик, был большим любителем пошутить.

«А что, — подумал он, — если я выставлю на скачки моего негра?»

Так он называл Шама.

Но и у Шама было чувство юмора. Когда его вывели на беговую дорожку, он категорически отка-

зался бежать. Тогда жокей ударил его шпорами, и тут Шам взвился на дыбы, стал брыкаться и, сбросив всадника, умчался обратно в конюшню.

Несколько попыток закончились ничем. Конь явно не желал соревноваться. На тренировках и сам по себе он проделывал чудеса, черной стрелой стелясь по зеленым беговым дорожкам. Но стоило ему оказаться среди своих тяжеловесных соперников, он начинал вести себя так, будто ему нанесено тяжкое оскорбление, и худо было тому, кто осмеливался к нему приблизиться.

«Вот дрянь какая», — сказал мистер Уильямс, как сказали перед ним Людовик Пятнадцатый, его обер-шталмейстер, версальские конюхи, водовоз и мистер Кок.

И мистер Уильямс почел за счастье уступить Шама одному из своих клиентов, лорду Годольфину, удовольствовавшись ничтожной суммой в двадцать пять гиней.

Для лорда Годольфина, бывшего королевского казначея, бывшего депутата парламента от Оксфорда, члена палаты лордов, зятя первого герцога Мальборо, чью дочь леди Генриетту Черчилль он взял в жены, двадцать пять гиней ничего не значили, и даже сто гиней, и даже тысяча — если речь шла о лошадях. Этот досточтимый человек имел две страсти: шахматы и скачки. Вторая его в конце концов и разорила. Он содержал в Кембриджшире богатую конюшню, и Шам был для него не более чем экзотической фантазией.

— Отправлю-ка я негра в Гог-Магог, — решил лорд Годольфин, назвавший по имени легендарных библейских великанов свой конный завод.

Любовь ко всему необычному, непривычному, тяга к неприкаянным, отверженным душам — отличительная черта женской природы. Появление Шама привело кобыл Гога-Магога в явное смятение. Наблюдая, как его красотки раздувают ноздри и топорщат холки при виде восточного красавца, лорд Годольфин приказал, чтобы конь зарабатывал свой овес, возбуждая кобыл перед случкой.

Вот какое применение нашел себе на несколько месяцев тот, кого уже тогда называли не иначе как Годольфин Арабиан — «Араб лорда Годольфина».

Когда в Гоге-Магоге намечалась свадьба, принца пустыни приводили к будущей матери, и он кокетничал с ней, приводя в любовное настроение. Затем, когда, проникшись чарами черного жеребчика, красотка казалась достаточно подготовленной к дальнейшим ухаживаниям, в стойло вводили главного производителя, местного короля, гиганта Хобгоблина, и тот, тяжелый, важный, самодовольный, входил к ней чуть вразвалку во всей своей жирной стати, чтобы без малейшего усилия свершить акт отцовства. А Арабу Годольфина, подготовившему триумф великана, предлагалось убраться с его дороги.

Горячему, гордому Шаму трудно было мириться с таким унижением, но конюхи лорда Годольфина крепко держали корду, и негру приходилось подчиняться.

Все это продолжалось до того дня, одного из самых знаменательных в истории скаковых лошадей, когда глазам Араба Годольфина предстала великолепная золотисто-рыжая кобылка, юная, хотя уже совсем оформившаяся, и нервная. Предстоящая свадьба, первая в ее жизни, очень волновала ее. Звали рыжую красавицу Роксана.

Она тоже была питомицей королевских конюшен, где лорд Годольфин и приобрел ее за шестьдесят гиней, и с первого взгляда влюбилась в восточного красавца. Более чуткая, чем люди, она сразу распознала в Арабе королевскую кровь. Принц же пустыни со своей стороны проявил по отношению к прекрасной Роксане такую пламенную страсть, такое пылкое влечение, каких не испытывал прежде.

Между ними началась безумная, роскошная пляска любви, восхитительный балет оболыщения, на который способны лишь животные: пчелы, летящие прямо на солнце, чтобы отпраздновать свой союз, перламутровые стрекозы, чьи игры отражаются в темных водах, птицы, облачающиеся в самые красочные свои одежды.

Но в ту самую минуту, когда Роксана, совершенно потеряв голову, готова была уже отдаться страсти, к ней подвели, как обычно, огромного, жирного, могучего Хобгоблина. Обезумев от бешенства, Араб взвился на дыбы и бросился на соперника. Напрасно конюхи натягивали корды: конь порвал кожаные путы, и жестокая битва завязалась прямо на глазах насмерть перепутанных работников, не

смевших двинуться с места из страха быть раздавленными.

Солома ключьями летала по стойлу, гремели под ударами подков перегородки; клубы пыли наполовину скрывали сражающихся. Не привыкший к подобному обхождению, тяжеловесный Хобгоблин растерялся от такого напора. Он тоже тяжело поднялся на дыбы, но был слишком грузен, чтобы отражать стремительные, яростные атаки своего щуплого противника.

Работая копытами и зубами, Араб в несколько мгновений убил гиганта Хобгоблина.

Давид сразил Голиафа и, как настоящий Давид, потребовал в награду царскую дочь. Выломав двери конюшни, Араб Годольфина устремился на свободу, увлекая за собой прекрасную Роксану — ослепленную его победой, влюбленную, покоренную им раз и навсегда. В бешеном галопе их копыта процокали по двору, и они умчались вместе в ближний лес.

Их нашли вечером, счастливых, немного усталых и вновь покорных. Они прижимались друг к другу, и голова рыжей Роксаны покоилась на черной холке ее покорителя.

На конюшне не знали, что и делать: как сказать лорду Годольфину, что его лучший производитель убит, а самая многообещающая — и при этом самая дорогая — кобыла сбежала в лес с негром, да не просто так, а праздновать «медовый месяц»?

Но лорду Годольфину, обладавшему богатой фантазией, было знакомо понятие чести. Ему по-

нравился рассказ о битве, и, несмотря на понесенные убытки, он проникся уважением к арабскому скакуну.

— Посмотрим, что из этого получится, — сказал лорд.

Плодом этого романтического союза стал жеребенок по имени Лат, родившийся в 1732 году. С первого своего появления на ипподроме он неизменно выигрывал все призы. До него не видывали лошади быстрее. Его тяжеловесные соперники тащились далеко позади, отставая от него на двадцать корпусов. Это дитя любви было непобедимо. Вместе с ним родилась порода, названная почему-то «английской чистокровной».

Горячить кобыл Арабу Годольфина больше не доверяли: опасались, как бы на него снова не напал воинственный дух. Но Роксана отказывалась от других женихов, она хотела принадлежать только ему.

Лошади явно страдали в разлуке: они грустили, нервничали, отказывались от еды. Пришлось поставить их в соседние стойла, а поскольку строптивая Роксана по-прежнему не подпускала к себе никого другого, было решено позволить им соединиться вновь. Так Роксана обрела единственного супруга.

Они не успели народить большое потомство, потому что рыжая красавица умерла — увы! — через десять дней после вторых родов, в 1734 году. Но у них было много внуков.

Их второй сын Кейд, выросший без матери и вскормленный коровьим молоком, стал отцом прославленного Мэтчема, одержавшего победу в одиннадцати скачках из тринадцати; их потомки, полученные от скрещивания с двумя другими арабскими жеребцами, Байерли Тэрком и Дарли Арабианом, названными так по фамилии их владельцев: соответственно капитана Байерли и мистера Дарли из Олдби-парка, — являются предками всех лошадей, что бегают с тех пор по земному шару.

После смерти Роксаны Араб Годольфина прожил еще двадцать лет. Храня вдовство, он был печален, но не безутешен. Ему было предложено несколько новых супругов, и от каждого союза родилась отменная лошадь, замечательная либо сама по себе, либо своим потомством: Регулус, его внучка Силетта, мать Флайинг-Чайлдерса, вышедшего победителем в восемнадцати скачках, и знаменитого Эклипса — двух чудо-коней восемнадцатого века.

Слава об Арабе лорда Годольфина, племенном жеребце из Гога-Магога, разнеслась по всей Англии. К нему был приставлен конюх-мавр, который занимался им одним. Однако жеребец по-прежнему проявлял склонность к одиночеству, не желая иного общества, кроме общества полосатого кота по кличке Грималкин, который поселился в его стойле, спал у него между ног, а днем мурлыкал, сидя у него на спине.

В дни скачек стареющего Араба, по-восточному пышно разукрашенного, под седлом, в котором

восседал его конюх-мавр в праздничном тюрбане, выводили на ипподром, и он, так и не пожелавший участвовать в соревнованиях, присутствовал при триумфе своих потомков. Купленный когда-то за семьдесят пять франков, он принес своим владельцам десятки тысяч фунтов стерлингов. Игроки приветствовали его стоя, дети с радостными криками толпились вокруг него. А он, кивая маленькой нервной головой, потряхивая длинной гривой и пышным хвостом, скреб копытом землю в притворном нетерпении и принимал поклонения, как престарелый король.

Когда он умер в двадцать девять лет — редкий возраст для лошади, — его похоронили на конюшне Гога-Магога, под сводом, между двумя рядами стойл, на том самом месте, откуда он умчался в лес вместе с прекрасной Роксаной.

Его имя было выбито на могильном камне, а вокруг натянуты цепи. Конюх-мавр и кот Грималкин не прожили после него и месяца.

Прошло два столетия. На конном заводе Гог-Магог, переданном Кембриджскому обществу охраны памятников, нет больше лошадей. Старый конюх, седой старик, что стережет бывшее имение, считает время от времени пыль с надгробия Араба Годольфина, вспоминая о тех временах, когда своды конюшни звенели от лошадиного ржания.

По-прежнему стоит на месте арка, через которую умчались обезумевшие влюбленные. Я прошел в лес, где расцвела их любовь.

Полосатый кот, рыжий, с золотыми глазами, что обитает в конюшне, заходит время от времени в стойло, где жил Араб Годольфина, осторожно ступает по камню с выбитой на нем надписью.

У Араба Годольфина были свои биографы, свои художники и своя легенда. Джордж Стабс, знаменитый рисовальщик лошадей, написал его портрет. Роза Бонёр в картине «Дуэль» запечатлела его битву с Хобгоблином. Эжен Сю, социалист, но при этом большой любитель скачек и один из основателей парижского жокей-клуба, сделал его героем романа. И наконец — наивысшая почесть: в Британской энциклопедии принцу пустыни и породе, родоначальником которой он стал, посвящена целая страница.

На ипподромах всего мира перед толпами любителей скачек проносятся лошади — предметы гордости и страсти, на них ставятся миллиарды, описания их побед занимают первые страницы газет; и нет среди них ни одной, в чьих жилах не текла бы хоть капля крови Араба Годольфина — коня французского короля и водовоза, коня, познавшего унижение и сладость любовной победы, скакуна с белой звездой во лбу, волей судьбы рожденного на берегах Карфагена и нашедшего последнее пристанище среди зеленых холмов Кембриджа.

1957

Несчастье других



Невезение

Жоржу Кесселю

В одиннадцать, когда уже время вставать с постели, господин Мавар, в зеленой шелковой пижаме, сверкая бриллиантом, вросшим в жирный мизинец, сидел в кресле а-ля Людовик Шестнадцатый. Он был так чудовищно толст, что буквально вываливался из кресла, живот покоился на ляжках, уши обвисали...

Если другого курева не найти, бывает, что покупают пачку маленьких, плоских восточных сигарет «Мавар», отдающих сеном. А бывает, и говорят: «Ну, в сущности, они не так уж и плохи». И рассеянно посмотрят на изображения золотых медалей, полученных на международных табачных выставках конца прошлого века.

«...Предприятия в Александрии, Брюсселе, Цюрихе... подпись “Мавар” обязательна на каждой упаковке... контрафакт сурово карается законом...» И никому не придет в голову, что существует реальный господин Мавар, наследник двух личностей

в фесках, изображенных на пачке. Этот господин Мавар, обладатель тучного тела, очень богат, он ежедневно получает небольшой оброк от пятисот тысяч курильщиков во всем мире и благодаря этому может проводить весенние месяцы в Монте-Карло, в шикарном «Отель де Пари», каждый вечер оставляя несколько миллионов на игральном столе.

Огромный букет лилий источал приторный аромат. Солнце нагрело окна угловой гостиной, откуда открывался вид сразу на сады, казино и море.

На столе лежал «сабо», продолговатый ящичек красного дерева. Белая и мягкая, словно сделанная из сала, рука миллиардера доставала из него карты, раскладывала их по две, открывала, словно сравнивая, и отталкивала прочь, тут же доставая новые. И каждый раз миллиардер тяжело вздыхал: он проигрывал.

«Рука прoderжалась одиннадцать раз!* И никогда, никогда карта не приходит вечером! Есть от чего прийти в отчаяние!»

Сегодня вечером он появится в казино в одиннадцать, с цветком в петлице, и поприветствует присутствующих низким поклоном. Он займет зарезервированное для него место за большим столом. Лакей пододвинет ему кресло, другой поставит рядом с левой рукой виски, а рядом с правой меняла положит пачку жетонов. По залу прокатится шепот:

* Речь идет об игре «баккара», где «рукой» именуется каждый из игроков.

«Мавар, это Мавар... Здесь Мавар...» Люди станут подходить, чтобы посмотреть, как он играет, и лица их будут окрашены всеми цветами зависти... И как вчера, и позавчера, и всякий день, он вытаскивает «пятерку», когда она вовсе ни к чему, и открывает «два», а его противник откроет «девять»*.

К тому же в этом сезоне у Мавара в любовницах состояла миловидная золотоволосая особа, добродушная и флегматичная, и никакие «банко»** ее не волновали. Она любила жемчуг, брошки и меха, а за игорным столом зевала, ибо ничего не смыслила ни в картах, ни в рулетке.

Толстяк отодвинул ящичек, а вместе с ним свою блестящую игру и воображаемых партнеров.

— По какому делу? — спросил он.

С трудом уловил он в телефонной трубке объяснения портье и машинально ответил:

— Пусть войдет.

Ему не было нужды даже поднимать глаза, чтобы догадаться, о чем пойдет речь. Ботинки, материал и вид брюк, да просто постановка коленей достаточно сказали ему о человеке, который входил в комнату.

Мавар недовольным жестом взял протянутое письмо, пробежал его с нарочитым безразличием,

* Смысл игры «баккара» заключается в том, чтобы сумма чисел на открытых картах равнялась девяти. Игрок, набравший пять очков, лишается возможности открыть третью карту.

** «Банко» — ставка на победу банкомета, термин в карточной игре «баккара».

уронил на ковер и повернул голову к окну, отчего на шее, между щекой и пижамой, образовались три складки.

На вошедшего невыносимо и тяжело давила эта намеренная замедленность движений.

Просителю было лет пятьдесят. Тщедушное сложение и подобострастная манера держаться говорили о долгих годах лишений. На рукаве пиджака красовалась траурная повязка.

Он потратил семь франков, чтобы как следует побриться и замаскировать лысину на макушке прядью волос. Он двое суток пытался извести сыпь, а щеки до сих пор еще горели от бритвы. А господин Мавар даже не взглянул на его лицо!

Одежда висела мешком на маленьком человечке, а на спине проступило мокрое пятно. От волнения и тревоги утренний кофе со сливками стоял в горле.

Продолжая разглядывать пальмы перед входом в казино, Мавар проговорил ломким, визгливым голосом, никак не вязавшимся с его монументальной фигурой:

— Не понимаю, почему господин Удри направил вас ко мне. Я не люблю рекомендаций. Отчего бы господину Удри самому не позаботиться о месте для вас? У меня нет для вас никакой обязанности. Я не бюро по оказанию материальной помощи. Если бы я всех выслушивал, у моих дверей толпилось бы человек двести! Нет, я ничего, решительно ничего не могу для вас сделать.

Комната, вместе с окнами, коврами и лилиями, закачалась перед глазами просителя. Он грустно мотнул головой, и напояженная прядь волос сдвинулась, обнажив сбоку надо лбом темно-красное родимое пятно. Пятно было очень необычное: по форме оно напоминало яйцо или скорее незавершенный ноль. Такие пятна называют печатями судьбы, и ставятся они еще при рождении.

— Да-да, конечно, — сказал человек. — И я не должен упорствовать. Я ведь невезучий.

— Что поделаешь, друг мой. А упорствовать действительно не надо.

Человек сделал неопределенный жест рукой в знак прощания и направился к коридору.

Толстяк снова потянулся было к ящичку с картами, но вдруг остановился. Не успела за просителем закрыться дверь, как Мавар крикнул:

— Эй, постойте! Как вас зовут?

На этот раз он удосужился поднять на посетителя свои блестящие темные глаза навывкате.

— Меня зовут месье Флорантен.

— Это имя или фамилия?

— Фамилия. Мои предки по отцовской линии — выходцы из Италии по фамилии Фьорентини...

— Ладно, это неважно. Так, говорите, вам всегда не везет?

Мавар внимательно оглядел землистое лицо в красных пятнах, шею, торчащую из плохо накрахмаленного воротничка, родимое пятно винного цвета.

«Честен,— сказал он себе,— несомненно, честен. Но не умен. Эти два качества вместе не уживаются».

Он никогда не ошибался в людях, если давал себе труд приглядеться к ним повнимательнее.

— Хорошо, месье Флорантен. Хотите зарабатывать двадцать тысяч франков в день?

— О! Месье! — вскричал тот. — Разве это возможно?

— Я вас не разыгрываю. Вы будете нужны мне по ночам. Только по ночам.

Месье Флорантен уже было подумал, не идет ли речь о каких-нибудь гнусностях — уж больно высокая оплата. Ведь чего только не болтают об испорченности богачей! Двадцать тысяч франков в день, шестьсот тысяч франков в месяц! Да за каждый десятый франк он бегом побежит ставить свечку святой Рите, заступнице всех отчаявшихся! Какую же ужасную услугу потребуют от него за такое вознаграждение? А может, он ослышался?

— В день... — повторил он.

— Да. Это нетрудно. Вот что вы должны будете делать. Каждый вечер вы будете являться в то место, где я ужинаю, сюда или в ресторан, который я укажу. Я буду выдавать вам по двести тысяч франков. Вы пойдете в казино... Вы никогда там не были? Никогда не играли? — спросил Мавар, заметив удивление на лице Флорантена. — Я так и думал. Это великолепно. Итак, вы пойдете в казино и проиграете там двести тысяч. *Проиграете* — вы хорошо меня поняли? Неважно как, любым способом,

и по возможности скорее. Хитрить бесполезно, не надейтесь хоть что-то прикарманить. Я найду способ вас проконтролировать. Когда закончите, придете ко мне. Я выдам вам двадцать тысяч, и вы будете свободны до следующей ночи. Ну что, согласны?

Месье Флорантен посмотрел на Мавара, на его приплюснутые уши, на жирную грудь под пижамой. Так смотрят на какое-нибудь восточное божество, наделенное магической силой. Что же за всем этим кроется? Месье Мавар был груб, но на сумасшедшего не походил. А месье Флорантен, конечно, верил в покровительство святой Риты, но только не в сделки с дьяволом.

Прихоти богачей не обсуждают. Месье Флорантен низко поклонился и произнес:

— Хорошо, месье Мавар. Весьма вам благодарен, месье Мавар. Когда я должен приступить?

— Сегодня вечером, — ответил толстяк.

Когда Флорантен вошел в игровой зал, его потрясла высота потолков, унылая пышность отделки и какая-то потусторонняя отрешенность, царившая в этом месте. То ли храм, то ли морг... От сотен людей, сидевших за столами, не делавших вид, что их тут нет, шел будоражащий нервный импульс. Совершенно непонятно было, чем занимались эти люди: то ли анализировали свой выигрыш, то ли готовились заказать для себя заупокойную. Мужчины в черном с бесстрастным выражением лица отто-

ченными движениями совершали на зеленых столах какие-то загадочные манипуляции, то удлиняя, то укорачивая длинные, как кишки, стопки жетонов. А высокие, отрешенные голоса архидиаконов выкрикивали пророческие формулы: «Семерка! Не чет, красное и манк... * Шестьсот луидоров** в банк!.. На стол...»

В эбеновых лунках крутились шары, раскидывались карты, с бешеной скоростью предсказывая будущее, которое мало кому нравилось, карточные колоды переходили из рук в руки сидящих за столами людей, и те едва поспевали их перемешивать. Каждый выбирал свой культ, свою «черную мессу» и свой вид колдовства.

Флорантен немного побродил, потолкался в толпе, силясь разобраться, откуда надо начинать. За окошечком кассы он увидел человека, которому все давали деньги, а полученные взамен жетоны тут же выкладывали на стол. Он поступил, как все, и протянул в окошко пачку ассигнаций.

— В обмен на жетоны? — спросил меняла.

— Как вам будет угодно.

Он получил кучу бакелитовых жетонов, набил ими карманы старого пиджака и подошел к столу, оказавшись рядом с какой-то сгорбленной старухой.

* В карточной игре — первая половина серии номеров, на которые можно делать простую ставку. (*Прим. перев.*)

** Луидорами в просторечии называют двадцатифранковые монеты. (*Прим. перев.*)

«Горбуны приносят удачу», — подумал он и нерешительно положил жетон с маркировкой «1000» на сукно. Шар в эбеновой лунке остановился, и крупье загреб его жетон вместе с остальными. Флорантен вздрогнул, но тут же стал себя успокаивать: «Ведь мне же надо проигратся...»

Он заметил, что кучка жетонов, подцепленная крупье, перешла в руки горбуны. Пожав плечами, он отошел от стола и направился к другому. Там он выложил на сукно жетон с маркировкой «5000», который исчез тем же манером. Он продолжил играть, ничего не понимая, с ощущением полной ирреальности происходящего. Все кругом горбились, у всех на лицах застыло злобное выражение, но самыми кошмарными порождениями сна были крупье. Да тут все было как во сне. Флорантен видел сон, что он вошел в казино и начал игру; ему приснилось, что Будда в нефритово-зеленой пижаме отдал приказ проигратся...

По мере того как пустели его карманы, в душе Флорантена нарастала беспричинная неотступная тревога. Зеленый Будда не может наградить его за то, что он просадил двести тысяч франков!

«А что, если он всучил мне фальшивые ассигнации? Тогда на выходе меня арестуют... Да нет, не может быть. Тогда он не велел бы мне проигрывать».

Он обшарил карманы и обнаружил, что они пусты. Настала полночь. Флорантен вышел из казино. Уличные фонари мягко освещали пальмы, Млеч-

ный Путь высоко в небе напоминал большую сеть, полную сверкающих рыбок.

По дороге в ресторан, где Мавар назначил ему встречу, Флорантен чувствовал себя еще более не в своей тарелке, чем утром. Он минут десять топтался перед дверью, не решаясь войти, чем привлек к себе внимание портье. Наконец, собравшись с духом, вошел.

Мавар, в шикарном белом смокинге, с гранатовой гвоздикой в петлице, с покоящимся на ляжках животом, висящими по сторонам лица ушами и с бриллиантом на мизинце, был на месте. Он только что кончил ужинать и потягивал шампанское. Рядом с ним, тоже с бокалом шампанского, молча сидела молодая женщина с золотистыми волосами и невыразительным бледным лицом. Она была буквально усыпана жемчугом: жемчужины светились в ушах, на шее, на пальцах. Толстяк время от времени ласково поглаживал ее тонкую руку.

Флорантен, сглотнув слюну, робко пересек зал.

— Ну? — спросил Мавар.

— Все в порядке, месье Мавар, я все проиграл, — ответил Флорантен, не осмеливаясь поднять глаза.

— Долго возились! Ну, да это в первый раз. Завтра справитесь быстрее.

Мавар вытащил из кармана двадцать тысяч франков:

— До завтра. Завтра сделаете то же самое. Доброй ночи.

Назавтра Флорантену хватило сорока минут, чтобы опустошить карманы, и в последующие дни он неуклонно улучшал свой результат.

Из механизма игры он усвоил ровно столько, сколько нужно было знать, и пришел к выводу, что для достижения его цели не нужно ни много времени, ни много труда.

Несколько ставок в рулетке на круглые номера, парочка партий в «тридцать и сорок»*, один-два «банко» — и минут за десять, максимум за четверть часа, дело сделано. Деньги он обычно менял на жетоны достоинством в пять, десять и пятьдесят тысяч. Если же ему вдруг везло и его ставка удваивалась, он пропускал ход, и лопатка крупье аннулировала выигрыш на следующем ходе. Точно так же он избавлялся от заведомо выигрышного «банко»: просто говорил «пропускаю», и со следующими картами выигрыш таял. Это было удобно и надежно.

А дальше Флорантену оставалось только сделать несколько шагов в мягкой теплоте ночи.

«Добрый вечер, месье Мавар... Добрый вечер, дружок, вот ваши двадцать тысяч франков... До завтра, месье Мавар...» Воистину, золотое ремесло.

Флорантен усвоил также, что совсем нетрудно тратить на жизнь двадцать тысяч в день, особенно в Монте-Карло. Он поселился в комфортабельном отеле, ел досыта, сменил гардероб и обустроил свой

* «Тридцать и сорок» — одна из самых распространенных карточных игр в игорном бизнесе.

досуг. Его манили все витрины, и везде ему улыбались. Он даже предпринял путешествие на такси, чтобы осмотреть окрестности в пределах десяти километров. Волосы у него обрели живой вид и заблестели, черная прядь надежно прикрывала темно-красный «ноль» надо лбом. Теперь, получив возможность пригласить поужинать любую даму, он обзавелся подружками и даже подумывал жениться.

И ни разу ему даже в голову не пришло присвоить себе хотя бы часть тех денег, которые ему выдавались на проигрыш. Обе суммы, что он получал на руки каждый вечер, казались ему совершенно разной природы. Одна, в двадцать тысяч, была обычным, реальным заработком, полученным в обмен на работу. Другая же, в двести тысяч, была другой весовой категории. Эти деньги не имели никакого отношения ни к работе, ни к повседневным нуждам. Они представляли собой некую мифическую абстракцию: деньги для игры...

Теперь в казино хорошо знали маленького человечка с редкими волосами и с приклеенной косметическим клеем прядью надо лбом. Он напоминал судебного исполнителя, явившегося к кому-то, чтобы описать имущество. Он приходил в казино и молча, не вступая ни с кем в разговоры, менял на жетоны двести тысяч франков, проигрывал их и спокойно удалялся, потирая руки. Он вызывал всеобщее любопытство даже в таком месте, как казино.

но, где всегда хватает своих оригиналов, маньяков и одержимых.

«А, вот и человечек в черном, который приносит неудачу», — шептались игроки. Крупье же давно заметили, что Флорантен, даже когда ему случалось, против обыкновения, сделать удачный ход и выиграть, никогда не давал чаевых. Давать «в пользу персонала» вошло у игроков в привычку, и чаевые давались не из щедрости, а «на счастье». Было также замечено, что с появлением маленького человечка месье Мавар перестал посещать казино.

Так продолжалось двадцать три дня. Однажды месье Флорантен выложил, по обыкновению, жетон в десять тысяч, на который целиком выпало тридцать четыре. На него с таким же успехом могло выпасть тридцать или тридцать три. Но это не имело значения. Флорантен уже повернулся, чтобы уйти, и не услышал, как объявили: «Тридцать четыре». Его остановил крупье:

— Месье, все это ваше, вы выиграли.

— Ну и ладно, оставьте! — машинально ответил Флорантен.

— Это невозможно, месье. У вас максимальная ставка, десять тысяч.

И в руках Флорантена оказались триста пятьдесят тысяч франков.

— Ставок больше нет... «тридцать четыре», — объявил уже крупье рулетки, и Флорантен получил еще триста пятьдесят тысяч. Над столом прошелестело изумленное «О!».

Удивленный не меньше других, Флорантен искал, как бы поскорее спустить выигрыш, и направился к столу, где шла игра в «тридцать-сорок» с максимальной ставкой пятьсот тысяч. Шесть раз подряд он получил по жетону в полмиллиона.

— Конец игры, — объявил банкомет.

«И этот стол не лучше. Надо идти, месье Мавар меня ждет», — подумал Флорантен. У него на руках было почти четыре миллиона, а четыре миллиона так просто не проиграешь.

И с этого момента перед глазами присутствующих развернулось необыкновенное зрелище. Маленький человечек с прилепленной к лысине прядью волос и с красным «нолем» надо лбом как сумасшедший носился от стола к столу, лихорадочно ведя игру против всех правил и научных выкладок, не позволяя себе никаких двойных ставок, и все равно без конца выигрывал. У него был такой несчастный вид, словно он вот-вот покончит с собой. Каждый поставленный жетон оборачивался настоящим дождем жетонов. Все, что он оставлял на сукне, тут же учетверялось. На него обрушился водопад жетонов и денег, и в общий поток вливались новые и новые бурлящие ручейки, и это уже стало приобретать характер наводнения.

Похоже, числа вступили в самый настоящий заговор, и все, что попадало на сукно, тут же само складывалось и умножалось. И посреди этого безумия, как шарик рулетки, вертелся месье Флорантен. Часы летели, жетоны в руках у Флорантена мно-

жились и множились, и ему приходилось все время подзывать менялу, чтобы получить жетоны достоинством в миллион: другие просто уже не уместались в руках и карманах.

С отчаяния он решил пойти ва-банк и поставил по четыре миллиона на каждое из двух табло. В горле у него пересохло, и он отправился за стаканом газировки, на который ушли остатки от двадцати тысяч заработка.

Когда он вернулся, его обступила толпа, и он не мог понять, что случилось. Оказалось, что четыре поставленных миллиона успели превратиться в тридцать два. Карты в «сабо» подошли к концу, банкомет испугался и остановил игру.

Тогда Флорантена провели к большому столу с «железной дорогой»* и усадили на место, зарезервированное для месье Мавара. Был момент, когда ему показалось, что он проиграл, но затем горка жетонов перед ним начала чудесным образом расти. И случилось неслыханное: имея на руках восемь, он запросил третью карту... и вытащил туза**. У банкомета было восемь. Возмущенные игроки покинули стол. Флорантен понятия не имел, что играл против магараджи Пандура, миллиардера герцога Мараскаля и киномагната Костантина Кардаша.

* «Железная дорога» — одна из модификаций игры «баккара».

** Туз стоит одно очко, и игрок с восемью очками на руках с тузом получает выигрыш.

Залы пустели. Игроки, крупные и все остальные выглядели совершенно измотанными. Казино закрывалось. Один Флорантен оставался во власти опьянения чудом. Лоб у него горел, нервы были напряжены до предела. Никогда еще он не испытывал такой радости. Ему хотелось играть дальше.

— Нет, месье, игра окончена.

Флорантен посмотрел на новые, купленные накануне часы. Пять часов утра. В общей сложности он выиграл сорок семь миллионов «с мелочью». И он по-королевски оставил всю «мелочь», сто двенадцать тысяч франков, «в пользу персонала».

С набитыми милостью фортуны карманами он выскочил из казино и помчался в ночной клуб, говоря себе: «Конечно, месье Мавар должен быть там».

Месье Мавар был там. Он неподвижно сидел на диванчике, живот, как всегда, на ляжках, рядом, как всегда, бесцветная златовласка, на этот раз в изумрудах. Они были одними из последних посетителей. Две другие пары, изнуренные бессонницей, танцевали в свете аквариума.

Флорантен влетел в зал, чуть не растянувшись на ковровой дорожке.

— Посмотрите, месье Мавар! Посмотрите, сколько я выиграл!

Он ликовал, он сиял, он задыхался от восторга, выгружая из карманов на стол груды денег и жетонов.

Толстяк с темными глазами даже не пошевелился.

— Я этого ждал. Я был уверен, что это случится. Я знал, что игра вас не увлекает, — произнесла гора жира, слегка отодвигаясь от подруги. — И посмотрите, как интересно получилось! Этот человек сказал мне, что ему всегда не везет. И я послал его проигрывать за меня, заставил перебить мое невезение. Потому что если каждый день, как я, играть на выигрыш, то обязательно начнешь проигрывать. И я подумал, что если все время играть на проигрыш, то не может быть, чтобы в один прекрасный день не начало фантастически везти. Двести тысяч умножить на двадцать три дня — это около пяти миллионов ставки, а выигрыш... сами видите, около пятидесяти. Я полностью отыгрался.

Флорантен его не слушал. Он думал: «Сколько же он должен мне теперь отвалить? Процентом пять, не меньше... А может, и все десять...»

— Спасибо, дружок, доброй ночи. Я вас больше не задерживаю, — сказал Мавар, заворачивая выигрыш в столовую салфетку.

— А как же, месье Мавар... — нерешительно начал Флорантен.

Толстяк бросил на него удивленный взгляд:

— В чем дело?

Он спокойно завязывал концы салфетки. Флорантена вдруг бросило в жар.

— Но мой заработок, месье Мавар, мои двадцать тысяч?

— Э-э, нет, мой милый, — ответил Мавар. — Я платил вам за проигрыш, а не за выигрыш. Благодарю вас. Я в вас больше не нуждаюсь.

Месье Флорантен вышел, понутив голову, и вздрогнул от предрассветного холодка. Все опьянение удачей как рукой сняло, и он почувствовал себя глубоко несчастным.

От прошлого заработка оставалось еще несколько банкнот, и он зашел в последнее работавшее быстро выпить чашечку кофе со сливками. В быстро после закрытия казино собирались крупье, ошивались водители, бродяги, цветочницы и неудачливые игроки. Все они уставились на Флорантена, и по быстро прокатился шепоток. Допить кофе он так и не смог.

История Монте-Карло полна трагедий, и случаи, когда те, кто в последний раз попытал счастья, вскрывает себе вены в ванной, пускает пулю в лоб или бросается в море, считаются делом обычным. Но никто так и не понял, с чего это вдруг покончил с собой маленький человечек с похожей на ноль отметиной на лбу, которого нашли несколько часов спустя у подножия скалы. Он был единственным игроком, совершившим самоубийство, потому что выиграл.

1950

Такая большая любовь

Андре Бернсайму

Театральная слава обманчива, она исчезает вместе с теми огнями, что ее озаряли. Легенда не бывает благосклонна к актеру, даже если он знаменит, и его имя исчезает из памяти сразу после того, как ветер сорвет с тумбы последнюю афишу, на которой оно напечатано.

Так случилось и с Элизой Ламбер, божественной Ламбер, как ее называли, обладавшей несравненным мастерством жеста и неподражаемой манерой читать стихи... Что теперь о ней известно, хотя многие и упоминают ее имя? А ведь она в течение двадцати лет заставляла целые залы замирать, смеяться и плакать вместе с собой. Принцы ходили у нее в друзьях, королевы — в соперницах. Она возбуждала бурю страстей, которые не в состоянии была удовлетворить, ибо принадлежала к эпохе, когда скандал еще не стал неизменным атрибутом известности. Играя драмы на сцене, она вовсе не стремилась переносить их в собственную жизнь.

Тем не менее в зиму после Всемирной выставки, когда почти каждый вечер Анри Нодэ стали видеть в гримуборной Элизы Ламбер, никто, кроме них двоих, даже представить себе не мог, как плохо все это кончится. Ей было сорок четыре, ему двадцать шесть. Он находился в самом начале пути к успеху, она подходила к закату своей красоты. Она не могла играть в его спектаклях, потому что он писал только фарсы и водевили, а значит, ей предстояло стать просто жертвой.

В жизни комические актеры — люди, как правило, невеселые, ибо для них юмор — всего лишь один из способов выражения горечи жизни. Нодэ, высокий молодой человек с длинными светлыми усами, обладатель тщательно завязанных галстуков и прекрасных манер, относился к такому виду пессимистов. Он никогда не смеялся сам, но безжалостно высмеивал других. У него был врожденный нюх на смешное. Когда он проводил репетиции, то всегда держал в руке хронометр и время от времени прерывал актеров:

— Здесь вы остановитесь на пятнадцать секунд, чтобы дать залу отсмеяться... Продолжайте.

Первые его две пьесы продержались целый сезон. Он вошел в моду, его окружала лесть, его забрасывали приглашениями, и он их принимал, как другие принимают приглашения отправиться на прогулку в поле, на природу. Только у него на полях была своя жатва: чужая глупость.

Все дамы, которым нечем было заняться, наперебой старались его утешить, посвятить ему свою

праздность и доказать, что, для того чтобы полноценно наслаждаться красотой Вселенной, ему недостает только большой любви. Он проживал те немногие годы жизни, когда внешний облик соответствует тому, что приписывают молва и известность. Следовательно, ему все было дозволено.

И Элизе тоже все было дозволено. Пока. И это «пока» представляло собой очень короткий отрезок времени. Никто не давал ей сорока четырех лет, но возраст есть возраст. Вопреки годам она сохранила сияние молодости, что удается только при условии успеха и везения. У генералов-победителей необыкновенно гибкая походка, они и в семьдесят лет избегают по лестнице через четыре ступеньки. Государственные люди — министры, например, — до глубокой старости могут запросто не спать по несколько ночей. То же самое и комедианты.

Ежедневные аплодисменты, цветы и восхищенные взгляды почитателей позволили Элизе Ламбер сохранить бесконечную прелесть и обаяние. Она была красива и одевалась всегда с продуманной изысканностью, но здесь ею руководило не пустое стремление выделиться. Просто она хорошо знала, что актриса должна быть заметной. Когда она проходила по улице, мальчишки-разносчики из кондитерской, с корзинами на головах, останавливались, округляли глаза и восхищенно свистели ей вслед. Это был самый верный признак того, что она все еще «божественная Ламбер», остальные похвалы в счет не шли.

Но на сколько еще лет? На сколько ролей? На сколько счастливых ночей?

В ту зиму, выходя на сцену, она каждый раз задавала себе вопрос: «А он сегодня придет?» И по вечерам, когда умолкали овации и опускался занавес, она входила к себе в гримерную и на секунду прислонялась к стене. Опустив руки и закрыв глаза, она вслушивалась, как биение сердца стихает вместе с шумами театра. Из подъездов выходили зрители, машинисты собирали на сцене декорации, расходились по домам гардеробщицы. Огромный корабль из бархата, искусственного мрамора и позолоты погружался в тишину и темноту... и жизнь, которой Элиза Ламбер жила в течение трех часов на сцене, волнами отливала от нее, как море отливает от берега. Она открыла глаза... Анри Нодэ был здесь. Его высокая фигура не вязалась с мехами, розами, венецианскими флаконами и фальшивыми диадемами, которые в беспорядке заполняли гримерную. Он вертел в длинных пальцах монокль и покачивал туфлей на узкой ноге.

Сидя за столиком и разгримировываясь — у нее были красивые плечи, и она не упускала возможности их показать, — Элиза разглядывала в зеркале лицо молодого драматурга и спрашивала себя, может ли она принять такой подарок судьбы.

«Он родился в тот год, когда я дебютировала. Слишком дорогое подношение, я не имею на него права».

У артистического выхода дожидался фиакр. Нодэ проводил ее до самой двери, и тут между ними на

миг возникло неловкое молчание, которое очень удивило бы всех, кто в Париже шептался об их интрижке. Он ожидал приглашения, она ожидала признания, но губы их отказывались говорить. Оба они боялись: она — разрушительных последствий страсти, он — показаться смешным в своем чувстве. Оба застыли на пороге желанного, как застывают, не решаясь нырнуть в слишком высокую волну или закружиться в вихре вальса там, где уже нелепо задыхаются от тесноты множество пар. И каждый вечер, выходя из фиакра, Анри Нодэ на несколько секунд задерживал ее руку в своей, а она не шла дальше робкого, тихого «спасибо».

Вот тогда-то и вмешался господин де Тантоуэ, сыграв роль «близкого друга». Эти «близкие друзья» часто женят тех, кто даже не знает, что помолвлен, и объявляют о чем-то разводе раньше, чем те, кого они разводят, узнают о собственных намерениях. В любви таких «близких друзей» надо остерегаться, ибо им мало нас трактовать, они норовят давать нам установки, и в результате они помимо нашей воли заставляют нас делать то, что сами для нас и придумали.

Господин де Тантоуэ разменял шестой десяток, у него были серые глаза и причесанные на прямой пробор седые волосы. Он носил серые рединготы и занимался судостроением.

В течение многих лет Элиза Ламбер была роскошной составляющей его жизни, причем роскошной по-настоящему, то есть со всех точек зрения

бесполезной. Этот властный человек питал к актрисе чувство, которое иначе и не объяснишь, как тягой к тому, что представляло полную противоположность его характеру и было чуждо его понятиям. Он состоял в застарелых воздыхателях и давно уже позабыл о своих воздыханиях. Теперь он утвердился в скромной роли надежного советника, конфиденанта и великодушного обожателя, который всегда под рукой. Что давало ему ощущение сопричастности феерическому миру искусства и сцены.

Как-то утром он зашел к молодому драматургу в маленькую частную гостиницу на улице Райнуар, где тот квартировал.

— Дорогой Нодэ, — сказал господин де Тантоуэ, — мы с вами мало знакомы, но вам известно, какая давняя дружба связывает меня с Элизой. Эта дружба меня сюда и привела. Интерес, который вы проявляете к ней, ни для кого не секрет, а тот интерес, который она проявляет к вам, увя, и того менее. Вас покорило — а кого бы не покорило? — ее обаяние, тем более ореол успеха, что сияет над ее головой, очень привлекателен для вашей карьеры. Талант тянется к таланту, и ее трогает — а кого бы не тронула? — ваша победная молодость. Вы собираетесь совершить дурное дело. Ведь вы станете ее последней любовью, и то, что для вас будет удовольствием, для нее обернется драмой. Законы возраста еще никому не удавалось обойти. Вы еще пребываете в пору завоеваний, а Элиза входит в пору потерь. Пройдет несколько месяцев, может быть,

несколько недель, и вы ее оставите, и я, хорошо ее зная, не уверен, что она перенесет этот удар. Если вы хотите повести себя достойно, то должны прекратить эту игру, где ставки слишком неравные.

Анри Нодэ, в домашнем бархатном халате цвета граната, молча попыхивал сигарой, хотя мог бы, конечно, ответить: «Месье, когда я впервые увидел игру Элизы Ламбер, мне было шестнадцать. Я вышел из театра в таком восторге, с таким ощущением произошедшего чуда, какого никогда больше не испытывал. Это Элизе я обязан пробудившимся во мне желанием писать для сцены, это благодаря ей я стал потом знаменит. Тогда я поклялся себе, что когда-нибудь ее завоюю... И вот прошло десять лет, и я вхож в ее примерную и провожаю ее по вечерам».

Но он ничего не сказал.

— Я вижу по вашим глазам, дорогой Нодэ,— продолжал судовладелец,— что вы сомневаетесь в бескорыстности моей позиции. Однако что бы вы ни думали, но я никогда не питал к нашей дорогой Элизе никаких чувств, кроме чистейшей дружбы. И скорее всего, не смогу питать, потому что послезавтра уезжаю в Америку. Я перевел туда все свои дела и планирую пробыть там долго. Если и вернусь, то очень не скоро, если вообще вернусь. Если бы не это обстоятельство, я никогда не отважился бы на разговор с вами. Я уверен, что вы человек благородный и поймете меня. Поверьте: вы выбрали дурной путь, не ходите по нему дальше.

Анри Нодэ проводил гостя, пожелав ему счастливого пути. Как только дверь за ним закрылась, он пожал плечами: «Я знаком с комедийным персонажем по имени “благородный отец”, но мне никогда не попадался “благородный друг”...»

Демарш господина де Тантоуэ привел совсем не к тому результату, которого тот ожидал. Вместо того чтобы держаться от Элизы подальше, Нодэ прикинул ее возраст и решил, что если хочет осуществить мечту своей юности, то должен поторопиться. Он убедился, что надо настаивать на своих желаниях, и в тот же вечер понял, что эти желания разделяют. Элиза только того и ждала.

Все случилось так, как должно было случиться, то есть актриса поначалу робко, а потом со всем отчаянием страсти полюбила своего молодого почитателя. И как только она убедила себя, что счастье продлится вечно, Нодэ ее бросил.

Она разом утратила все свое долгое волшебное очарование. Слезы, пролитые летом, смыли с ее лица былую свежесть, и ни грим, ни румяна, ни свет рамп не смогли ее вернуть. Мальчишки-разносчики перестали оборачиваться на нее на улице. В первой же пьесе, сыгранной по осени, она не имела успеха. Почувствовав, что ее светильник угас, она вскоре ушла из театра.

Сразу после разрыва она поклялась больше никогда не видеться с Анри Нодэ. Об этом она ему написала и велела передать на словах. Очень довольный таким запретом, освобождавшим его со-

весть, Нодэ сделал все, чтобы она свое слово сдержала.

Удивительное дело: если двое любят друг друга, то судьба то и дело переплетает и соединяет их пути, зачастую без всякой причины. Но когда они расстаются, та же сила, что когда-то толкала их друг к другу, начинает их загадочным образом разъединять. Ни разу за двадцать последующих лет Элиза и Нодэ не встретились ни на улице, ни на вернисажах, ни на приемах, ни на похоронах, ни разу не позвонили один и тот же фиакр. И вдруг на банкете в честь одного из старых актеров они оказались рядом. Анри Нодэ сделал именно ту карьеру, которую ему предрекали. Красота его изрядно поблекла, он отяжелел от работы, успеха и бесконечных званных обедов. Усы стали короче, на лбу появились залысины, из гардероба исчезли яркие галстуки. Он стал более многословен, понимая, что в перерывах между блюдами от него ждут какой-нибудь острой шутки или едкого замечания.

Элиза Ламбер превратилась в совершенно седую пожилую даму, сохранившую бесконечное очарование во взгляде и улыбке. Все в ней говорило о том, что когда-то она была прехорошенькой и очень хорошо это помнит. Она знала, что Нодэ будет рад, и сразу заговорила на тему, которую им давно следовало обсудить.

— Вы заставили меня страдать, Анри,— сказала она,— и долгое время я вас ненавидела. Но теперь все то, в чем моей вины было больше, чем ва-

шей, сгладились, и в памяти остались только те прекрасные мгновения, которые вы мне подарили. Я со страстью следила за всем, что вы делаете, и радовалась вместе с вами любой вашей удаче... У вас действительно огромный талант.

Одни похвалы, ни единого слова упрека, но и ни единого слова прощения... Голос Элизы звучал для Нодэ старой, давно забытой музыкой, которая вмиг возвращает в прошлое. Теперь Нодэ сам подошел к порою заката, и внезапное воспоминание о молодости его взволновало.

«Мне теперь столько же лет, сколько было ей, когда мы любили друг друга», — подумал он. Слушая голос женщины, которую когда-то жестоко ранил, он проникался к ней огромной нежностью.

— Мне будет приятно видеть вас... время от времени, — сказала она с улыбкой. — Теперь вам больше нечего бояться. И у вас, наверное, есть много о чем мне рассказать...

— Да, мне тоже было бы очень приятно, — ответил он.

— А почему бы вам не прийти ко мне на чашечку чая на будущей неделе?

— С удовольствием. Вы живете все там же?

— Я никуда не переезжала. Давайте в четверг?

— Хорошо, во вторник.

В следующий вторник полил дождь, который затопил весь город, переполнил водостоки и размыл дороги. Анри Нодэ явился мокрый, хоть выжимай.

— Мой бедный друг! — вскричала Элиза Ламбер. — Вы пришли, несмотря на ужасную погоду.

И вы не нашли фиакра! Как это мило с вашей стороны, поистине мило... Но ваш пиджак промок насквозь. Вам нельзя оставаться в сырой одежде, вы можете заболеть!

Она хлопнула в ладоши.

— Мариетт, Мариетт! — крикнула она служанку. — Возьми у месье Нодэ пиджак и как следует просуши. А ему принеси мой синий домашний халат. Думаю, он будет впору. Ой, ваши ботинки, мой бедный друг! Мариетт, принеси еще домашние тапочки или меховые грелки для ног. Что найдешь...

Она по-матерински хлопотала вокруг него. Ради него она дала бы себя убить. Ее очень беспокоило, не схватил ли он насморк. Она была так счастлива, что он пришел...

Завернувшись в пушистый халат, Нодэ уселся в уголке у камина, того самого камина, возле которого он сидел двадцать лет назад, забавляясь моноклем и покачивая туфлей.

Едва они завели разговор о прошлом, как раздался звонок в дверь. Мариетт была занята: она сушила утюгом промокший пиджак. Элиза сама пошла открывать.

Голоса вошедшего Нодэ не узнал и услышал только, как Элиза сказала:

— О! Какой сюрприз! Входите, Пьер, и посмотрите, кто у меня сидит. Когда вы приехали?

И вошел господин де Тантоуэ. Накануне вечером он вернулся из Америки, чтобы доживать последние годы жизни на родине, и свой первый ви-

зит нанес «дорогой Элизе». Он сделал пару шагов по гостиной, увидел Нодэ в халате, уютно сидевшего у огня с самым что ни на есть интимным и домашним видом, и был потрясен.

Господин де Тантоуэ вскричал:

— Вы? Месье, вы здесь! Сколько же я передумал о том, что натворил! Слава богу, вы тогда меня не послушали. Должен принести вам извинения. Сам же я никогда себе не прощу... Я бы ни за что не осмелился появиться у вас.

Он прошел мимо пожилой дамы, схватился за голову и выбежал, причитая:

— Такая большая любовь! И подумать только, ведь я чуть было не разрушил такую большую любовь!

1955

Огненное облако

Люси Форе

— Это был четверг, месье!

Старая дама грустно покачала головой:

— Да, четверг...

На Мартинике те, кто пережил катастрофу, никогда не говорили: «Это случилось в тысяча девятьсот втором году» или: «Это случилось восьмого мая». Говорили просто: «Это случилось в четверг», словно после этого никакой день уже не имел права называться четвергом.

Мы побывали в Сен-Пьере через тридцать шесть лет после бедствия. Неужели это и есть древняя столица Антильских островов? Неужели на месте маленького прибрежного поселка когда-то был цветущий город с тридцатью тысячами населения, с богатыми домами и торговыми представительствами? Неужели здесь возвышался кафедральный собор, стоял театр, а на низких склонах горы были разбиты многоуровневые парки?

Половина города исчезла под серой массой лавы, а остальное похоронила под собой разросшаяся тропическая растительность.

Редкие каменные дома, которые удалось восстановить, несли на стенах следы пожара и сами напоминали руины.

Все здесь стало однообразно серым: серый песок, в котором торчали никому не нужные шлюпбалки, а рядом с ними старые береговые пушки; серый прогнивший деревянный мол. Старый серый колесный пароход когда-то обслуживал побережье, а теперь ржавел на якоре. И дневной свет под низким небом тоже приобрел серый оттенок лавы.

В центре просторной площади, где не отбрасывало тени ни одно дерево, возвышался огромный бронзовый фонтан с двумя пустыми бассейнами: остаток былой роскоши города. Возле него играли трое голых черных ребятишек, а неподалеку старые метиски в длинных платьях и выпцветших мадрасах* вели неспешную беседу перед корзиной с рыбой.

Старую даму, которая явно принадлежала к европейской части населения острова, мы встретили случайно. На ее тронутых сединой волосах красовалась белая шляпка, на шее золотая цепочка, в руке легкая камышовая тросточка, на которую она опиралась.

Она с улыбкой отвечала на вопросы любопытных путешественников, и похоже было, что рассказывать ей нравится.

«Это был четверг... Помню ли я? Всю жизнь, меся... Такое не забудешь. Накануне мы уехали из

* Мадрас — шелковый платок, из которого можно сделать несколько замысловатых головных уборов.

Сен-Пьера. Сказать по правде, извержение началось уже в понедельник, и весь город был в тревоге. Мама уговорила отца уехать на плантацию, куда мы обычно выезжали позже. Я очень расстроилась. Приближались и мое двадцатилетие, и помолвка... Праздник пришлось отменить.

Чтобы меня утешить, отец пригласил моего жениха побыть с нами в Планше до понедельника.

На плантации работал мой кузен Пьер, который тоже ко мне сватался, но я ему отказала. Знаете, в двадцать лет... мало кого волнует, что сделал другому больно. А иногда это даже доставляет удовольствие. Кузена я находила мрачным и грубым. Не то что мой жених...

После обеда моя сестра Клэр уселась за фортепиано. Пьер вернулся в дом, насупившись, и я начала над ним подтрунивать:

— Женись лучше на Клэр, она только того и ждет...

А потом мы с женихом отправились на прогулку в парк... У нас был красивый парк, с большой аллеей королевских пальм. Пьер увидел, как мы целуемся...»

Старушка немного помолчала, опершись на трость.

«На следующее утро я проснулась как раз к отъезду жениха. Пьер поехал его провожать в английской коляске... Я видела, как они вместе уезжали. Но когда коляска выезжала из пальмовой аллеи, я крикнула:

— Вернитесь! Не надо ездить в город!

Воздух был не такой, как всегда, стало трудно дышать. Собаки прибежали домой с испуганными глазами. В небе кружились стаи птиц, слетевших с горных лесов. Был день Вознесения, и мы отправились в деревню к мессе. На площади собралась толпа, и раздавались крики:

— Сен-Пьер в огне! Сен-Пьер горит! Там настоящий огненный дождь, море у берега закипело!

Отец хотел спуститься в город, и мама, удерживая его, упала в обморок. Она не отличалась крепким здоровьем, а по правде говоря, у нее были расстроены нервы. Мы все засуетились вокруг нее.

Около полудня появился мой кузен Пьер. Он пришел пешком, сильно хромя, одежда изорвана, покрасневшее лицо и руки в царапинах. Я увидела его издали и сразу закричала:

— Пьер, Пьер, где Симон?

Он мотнул головой в сторону долины, и мы поняли, что случилась беда.

Уже на выезде лошадь начала нервничать, и Пьер еле удерживал ее, чтобы она не понесла. По мере приближения к городу в воздухе все сильнее пахло серой. Вдруг справа от дороги они увидели, что деревья и тростник вспыхнули, как стружка в печке. Коляска, ехавшая чуть впереди, превратилась в факел. Огромное огненное облако мчалось на них, сжигая все на своем пути. Лошадь обезумела от страха, коляска перевернулась. Пьера отшвырнуло на обочину, и пылающее облако пролетело мимо него, а мой бедный жених зацепился за коляску одеждой и попал в самую середину. Все это дли-

лось не более тридцати секунд. На другой день останки моего жениха нашли неподалеку от дороги».

Старушка вдруг заговорила быстрее, словно хотела поскорее закончить, ничего при этом не упустив.

«Знаете, у этого скопления раскаленного газа есть удивительное свойство: его края очерчены с математической точностью. На поле потом видели быка, у которого одна половина полностью обуглилась, а другая осталась нетронутой... Я заболела, но в двадцать лет от горя не умирают. Мы почти разорились. В Сен-Пьере сгорел и наш дом, склады и конторы моего отца. Я начала бояться кузена. Каждый раз, видев его, я думала: “Ну, почему не он? Почему не он погиб тогда?” Но прошло два года, и я вышла за него замуж.

И с этого времени моя жизнь пошла так же, как жизнь всех белых женщин в этих краях: дом, дети... Знаете, есть вещи, которые не хочется обсуждать с теми, кто тебя окружает. На острове все друг друга знают. А иногда так хочется выговориться... Мой муж умер несколько лет назад. Священник, который его соборовал, велел ему покаяться перед мной перед смертью. Оказалось, что в тот четверг он солгал нам. Он был вне себя от ревности и всю дорогу думал, как бы убить моего жениха, а потом и себя. Лошадь была ни при чем. Она, наоборот, встала на дыбы и не желала идти вперед. Пьер хлестнул ее кнутом изо всех сил, а сам выпрыгнул из коляски. Лошадь же вместе с моим женихом ринулась в самую середину пылающего облака. Вы не находите, что это подло: просить прощения толь-

ко тогда, когда ты умираешь и тебе не вправе отказать?»

Старушка замолчала. Она глядела на гору, и морщины на ее лице стали резче и глубже.

На мертвый Сен-Пьер быстро опускались тусклые сумерки, характерные для низких широт. Небо стало серым, море стало серым.

Старушка, не прощаясь, повернулась и удалилась решительным, твердым шагом, опираясь на свою камышовую трость. Она обогнула бронзовый фонтан с двумя пустыми бассейнами, и тут мы сообразили, что даже не успели спросить, как ее зовут.

Я подошел к какому-то пузатому торговцу, сидевшему, скрестив ноги, возле лотка с напитками. Из-под курчавой седой шевелюры на меня взглянули грустные глаза стареющего мулата.

— Как зовут ту пожилую даму, с которой я разговаривал? Вон, она туда пошла...

— Эту?.. А! Это мадемуазель Аберлот,— сказал он.

— Мадемуазель? — удивился я.

— Да, мадемуазель Аберлот де Планше.

— А как по мужу?

— Она никогда не была замужем,— покачал головой торговец.

— Но она сказала, что у нее девять детей!

— Нет, что вы, нет у нее никаких детей... Это она болтает. Кузен за ней присматривает, но не вечно же держать ее дома. Она сумасшедшая, мадемуазель Аберлот. Похоже, у нее опять наступил четверг...

Гусар из Восточного экспресса

Марсело Эдриху

То, о чем я хочу рассказать, случилось зимой тысяча девятьсот тридцать восьмого года, когда весь мир уже охватила лихорадка, потом искажившая его до неузнаваемости. Предвоенная тревога сродни мигрени или любовному недугу, и смутная тоска сквозит в любом самом обыденном занятии, которыми довольствуются люди.

Константин Кардаш, продюсер, одинаково знаменитый и своими провалами, и фильмами, титры которых еще живут в нашей памяти, в ту зиму искал сюжет. Сюжет ему был нужен значительный, полный чувства. Словом, какая-нибудь незаурядная история...

— I want a romance*, — повторял Кардаш, перебрав, не читая, штук двадцать бессмертных произведений, от «Принцессы Клевской» до «Пармской обители».

* Мне хочется романтики (англ.).

Пушкин, Бальзак, Томас Манн — все это было отмечено одним движением руки.

— Хочу романтики. Люди напуганы, им надо дать мечту.

Лысый череп в коричневых пятнах, маслянистые черные глаза без ресниц, огромное тело, бездонный желудок — Кардаш колесил по Европе, которую трясло от топота сапог, воплей диктаторов и криков на всяких сборищах, в погоне за призраком идеи, за «романтизмом», с которым можно было бы связать надежды на удачу. Кочуя из отеля в отель, от Мейфэра* до Елисейских Полей, от Лидо до набережной Круазет, он накануне Рождества оказался в Вене. В красной с золотом бухточке бара отеля «Саше» он смотрелся выброшенным на бархатистый пляж китом. Уплетая печенье и пирожки со стоявшего перед ним огромного блюда, Константин Кардаш уговаривал приятеля-мадьяра немедленно ехать с ним в Будапешт.

Неужели он ничего вокруг не замечал? Не видел новых хозяев Австрии: авторитарных штатских с планами завоеваний и лощеных, высокомерных военных? Не чувствовал притворного раболепия, которое их окружает? Не распознал семян ненависти, разрушения и смерти, уже начавших всходить среди мягких банкетов и бронзовых украшений? Аншлюс** уже девять месяцев как начался.

* Мейфэр — фешенебельный район лондонского Уэст-Энда, известен дорогими магазинами и гостиницами.

** Аншлюс — аннексия Австрии гитлеровской Германией.

— Я плохо помню Венгрию, — говорил Кардаш с набитым ртом. — Мне довелось там побывать в тысяча девятьсот двадцатом, когда я скрывался и мне приходилось побираться. Я был слишком голоден, а потому ничего не помню. Но знаю, что ваша страна — это страна... романтики. Там-то я и найду мою историю любви. Матиас, поехали в Будапешт, вы будете моим гидом...

— Боюсь, вам придется разочароваться, — ответил венгр спокойным, певучим голосом. — Моя страна такая же, как все, и Будапешт похож на все столицы. В нем есть и свои памятники старины, и новые здания, есть дешевые кафе и ночные рестораны. Цыганский оркестр — еще не приключение... Но если вы так настаиваете, Костя, то поехали! Иллюзии свои вы подрастеряете, но не раскаетесь, это точно.

По венским улицам, распевая, маршировали нацистские войска, и перед печальными глазами прохожих мелькали нарукавные повязки со свастикой.

«Арлберг ориент экспресс» отправлялся из Вены в восемь вечера. Через пять минут после отправления Кардаш, раскачиваясь огромным телом в переходах между вагонами, двинулся в вагон-ресторан. Он просидел там, по своему обыкновению, до самого закрытия, трижды заказав себе все меню по порядку.

Восточный экспресс накануне вышел из Парижа и послезавтра должен был прибыть в Константинополь. На этом участке пути он снижал скорость,

чтобы пассажиры могли спокойно выспаться и прибыть в Будапешт на рассвете. Поезд не спеша въехал в лесную полосу, где стволы деревьев убежали в бесконечность, как трубы огромного органа. Время от времени леса прерывались сверкающими в лунном свете заснеженными долинами, и пассажиры, в уютных ящиках купе из красного дерева, стекла и никеля, катили сквозь мир, где цвета поменялись местами и земля оказалась светлее неба.

В вагонах стойко держался легкий запах гари, вот уже сто лет сопровождавший любое долгое путешествие в поезде.

В вагоне-ресторане было мало посетителей, и почти все они относились к тем, кого дела вынудили оказаться в праздничную ночь в полупустом поезде. Разговоры за столиками звучали несвязно и глухо. Одиночки вяло знакомились друг с другом, обмениваясь банальностями, поскольку у каждого в сознании горела красная лампочка: подозрение и страх доноса.

И вдруг все взгляды, как один, обратились к входящей в ресторан женщине в трауре. Выглядела она лет на тридцать, не больше, и была чудо как хороша. Короткая вуаль из черного крепа спадала на шею, оттеняя ясную чистоту лица и подчеркивая великолепную линию подбородка и нежные, чуть тронутые помадой губы. Легкая белая рука с ногтями без лака отвела вуаль со щеки. Белокурые волосы, стянутые узлом на затылке, выдавали, какой роскошной волной они упадут, если их распустить. Но зато глаза никому ничего не обещали. Огромные,

льдисто-голубые, они смотрели в ночь поверх голов пассажиров и если и встречались с другими глазами, то, казалось, все равно ничего не видели, кроме ночи за окном.

— Какая красавица эта вдовушка, — сказал Кардаш своему компаньону.

— А с чего вы взяли, что она вдова? — спросил венгр.

— Это же ясно. По кому, как не по мужу, ей носить траур?

И он принялся, не переставая жевать, поглядывая то в окно, то на незнакомку, набрасывать детали сентиментального сценария.

Каждый из присутствующих в вагоне мужчин тайне надеялся на удобный случай, чтобы заговорить с прекрасной незнакомкой в трауре. Например, упадет салфетка, опрокинется бутылка или они случайно встретят ее в коридоре. И все украдкой оценивали благородную грудь и тонкие щиколотки. Но никто не чувствовал в себе смелости заговорить первым по своей воле, а не по несчастливой случайности. Никто не отваживался сделать то, что принято делать, если хочешь с кем-то познакомиться: подойти и произнести несколько слов. Путешественница, защищенная своей красотой и одиночеством, казалось, сама сожалела, что попала сюда.

— Мне с женщинами никогда не везло, разве что в своем режиссерском кругу, — сказал Кардаш.

Он не питал надежд и прекрасно знал, что его толстую руку, даже если она поднесет сигарету в золотом портсигаре, все равно оттолкнут с сухим «спасибо», даже без улыбки.

Остановка при пересечении границы не дала никакой пищи для удовлетворения любопытства пассажиров и никакой возможности для исполнения их тайных помыслов. Девушка предъявила таможенникам паспорт, они его бегло пролистали, поставили штамп и вернули. Никто так и не услышал ее голоса и не узнал, на каком языке она говорит.

И поезд снова неспешно двинулся сквозь леса и равнины, под желтым лунным светом.

— Однако мы уже в Венгрии, — заметил Константин Кардаш.

Его огромные ноздри раздувались, словно он хотел уловить новый запах, большие глаза пристально разглядывали пустынный заснеженный пейзаж. Прошло несколько минут, и он спросил:

— Матиас, а что, у вас в Венгрии все еще принято ездить на лошадях?

Посреди белой равнины он заметил двух всадников, скачущих к поезду. Их силуэты быстро увеличивались, и лунный свет маленькими звездочками вспыхивал на конских сбруях. Потом всадники исчезли: может, отстали или сменили направление. Но вдруг в последнем окне вагона внезапно появились две лошадиные головы: удила в пене, шеи вытянуты от напряжения, гривы развеваются, в прекрасных карих глазах, напуганных стуком колес, светятся огни поезда.

Вилки в руках пассажиров зависли над тарелками. За лошадиными головами показались фигуры всадников, пригнувшихся к шеям коней. Тот, что

скакал совсем рядом с вагоном-рестораном, был молодой гусар, второй — солдат, скорее всего ординарец. Поравнявшись с вагоном, офицер заглянул в окно, кого-то высматривая. Серебряные аксельбанты на скаку бились о каракулевый кивер. Он был так близко к вагону, что даже сквозь шум поезда можно было различить топот конских копыт.

И тут белокурая красавица приподнялась на сиденье, постучала пальцами в стекло и крикнула: «Степан!» С той стороны окна ей ответила широкая, сияющая счастьем белозубая улыбка, и офицер выкрикнул какое-то имя, но никто не расслышал какое. Потом он чуть замедлил аллюр, сравнившись скоростью с поездом. Когда конь оказался напротив задней двери вагона, гусар бросил поводья ординарцу, высвободился из стремян, перекинул ногу через шею коня и, ухватившись руками за кожаные поручни, спрыгнул на подножку. В следующий миг он уже вошел в вагон, и за ним ворвался ночной холод.

Невысокого роста, ладно скроенный, широкоплечий и узкобедрый, с короткими каштановыми усами и гордым профилем, гусар легким шагом двинулся между столиками. Девушка вскочила с места и ринулась к нему. Он крикнул:

— Елизавета!

И белокурая красавица отозвалась:

— Степан!

Раскинув руки, они бросились друг к другу, как бросаются к надежному пристанищу или в рай. И таким естественным в их порыве был поцелуй:

бесконечный, страстный, до потери дыхания... Траурная вуаль сползла и зацепилась за серебряную эполету; грудь вдавилась в пурпурный мундир с кожаной портупеей, ножка в тонком шелковом чулке прижалась к мокрому от снега черному сапогу.

Не заботясь о том, что все на них смотрят, слившись воедино, они были поглощены только собой, мир для них не существовал. Они бы вечно неслись так в ночи, сплетя пальцы и соединив губы.

Наконец, на исходе дыхания и молчаливого признания в любви, они разжали руки и оторвались друг от друга. У присутствующих одновременно вырвались двадцать вздохов. А за окном вагона скакали галопом два коня, которыми правил ординарец.

Гусар отступил на шаг, выпрямился, и пассажиры вздрогнули, услышав звон его шпор. Он поднес руку к киверу, салютуя своей любви, как салютуют родине. Затем, похорошевший, гордый победой, он направился к двери.

Ординарец удерживал коня на уровне подножки. Офицер ухватился за гриву, вскочил в седло, принял поводья, еще раз козырнул, перепрыгнул через ограду путей и ускакал в белое поле.

В вагоне белокурая красавица вернулась на место, и тогда вилки снова опустились в тарелки. Все молчали, боясь спугнуть чудо. И каждый спрашивал себя, кто эти влюбленные и какие надежды, какие смертельные чары и чьи судьбы были поставлены на карту в этом вырванном у времени и пространства поцелуе. Сколько недель или месяцев стоит за ним? И подарит ли им будущее еще один такой поцелуй?

Красный доломан растворился в ночи. Черная вуаль снова окружила лицо несравненной чистоты..

Первым осмелился заговорить Кардаш:

— И вы утверждаете, Матиас, что ваша страна такая же, как все?

Он поднялся с места, огромный, толстый, монументальный и на этот раз вполне уверенный, что нашел свой романтический сюжет. Решившись довести дело до конца, он шагнул к женщине в трауре.

Десятью годами позже в Париже, ночью тридцать первого декабря, перед входом в кинотеатр нерешительно мялся, дрожа от холода, какой-то человек в изношенном платье, без пальто. Светящееся табло гласило: «Гусар из Восточного экспресса».

Человек вытреб из кармана все деньги, пересчитал и, чуть поколебавшись, решился все же купить билет. Голос у него звучал робко: во-первых, он не слишком владел языком, а во-вторых, только что потратил последние деньги.

Одинокие люди в рождественскую ночь — явление довольно редкое, и их одиночество всегда вызывает угрызения совести. Этот худой иностранец с залысинами на лбу и впалыми щеками был отмечен печатью изгоя и бродяги.

Он вошел в теплый зал и, рассыпаясь в извинениях, втиснул свое убожество между спокойно сидящими семействами и обнимающимися парочками.

Фильм начался. На экране сквозь метель мчался поезд. Рядом с дорогой скакало галопом, с саб-

лями наголо, войско гусар. Затем картинка сменилась, и возник интерьер вагона-ресторана. Прекрасная блондинка сидела в одиночестве, задумавшись, с бокалом шампанского.

Из середины зала раздался крик:

— Елизавета!

Зрители, отвлеченные от зрелища в такой трепетный момент, возмущенно повернули головы, а в это время атлетически сложенный герой уже вскопчил в вагон и шел к героине.

— Извините, месье... Прошу прощения, мадам...

Человек с иностранным акцентом, только что пробравшийся на место через весь ряд, поднялся, чтобы выйти.

— Сядь! — крикнули сзади.

Его спина загораживала пухлые накрашенные губы, которые искали друг друга и сливались в поцелуе, заполняя экран умело подсвеченной любовной лихорадкой.

— Нет... Я не могу остаться... Извините, месье... Прошу прощения, мадам, — бормотал мешающий всем посетитель.

Ему наконец снова удалось преодолеть все препятствующие движению колени. Служительницы заметили, что, когда он появился в дверях, на нем лица не было. Но, уходя, он им сказал:

— Я еще вернусь, вернусь...

Он вышел на бульвар и поднял глаза к черному небу, чтобы никто не увидел его слез.

Прежняя любовь

Памяти Пьера Тюрю-Данжана

Вот уже почти десять лет мамаша Леже повторяла мужу:

— Папаша Леже, ты уж давно самый старый в деревне, придет и твой черед умереть.

И каждый раз папаша Леже отвечал, выбивая трубку о подставку под котлом:

— И это будет справедливо, женушка, я зажил-ся. Буду ждать тебя там, на косогоре.

На косогоре в деревне находилось кладбище, и дорога туда заворачивала как раз мимо их дома, а потому похоронные процессии, хочешь не хочешь, проходили перед их дверями.

Папаша Леже давно миновал тот возраст, когда люди обычно умирают. Он был единственным в деревне, кто помнил придорожный крест на перекрестке у Четырех Прудов еще без раскинувшегося над ним кизилового дерева. Хотя, может, об этом ему рассказывал отец. Однако память Анатоля Леже тоже была так стара, что в ней давно перемешались

его собственные воспоминания с воспоминаниями отца. Зато он всегда с уверенностью утверждал, что мальчишкой рвал кизилловые ягоды. Больше никто не видел ягод на этом полуживом дереве, увитом плющом.

Папаша Леже всю жизнь проработал на одной и той же ферме, сначала как младший работник, потом как старший, а потом как главный. Перед ним прошли три поколения старых хозяев, и он ушел с фермы только тогда, когда появились новые хозяева.

Теперь он не выходил из дома, и ему больше ничего в жизни не хотелось. Последние десять лет жена одевала и раздевала его, два раза в неделю брила и водила за руку, когда ему надо было сделать хотя бы два шага.

Целыми днями он сидел в единственной комнате в доме на соломенном стуле возле очага, который горел и зимой и летом.

В тот июльский день мамаша Леже собралась полоть огород. Вдруг у нее перед глазами замелькали какие-то черные птицы, в ушах зазвенело, и ей пришлось опереться на грабли, чтобы не упасть.

«Должно быть, это от жары», — сказала она себе.

Она присела в тени. Но черные птицы все кружили и кружили перед глазами. Ей стало душно. Она вернулась в дом и собралась было погладить рубашку папаша Леже. Спрыснула ткань водой, и тут перед глазами у нее все поплыло.

— А скажи-ка, женушка, не пришло ли время мне побриться? — спросил папаша Леже.

— Вечером побреемся, мне что-то нехорошо.

Она задыхалась, ей казалось, что шея вот-вот лопнет.

Ближе к вечеру соседка, испугавшись ее побавровевшего лица, побежала за врачом.

Врач нашел мамашу Леже на скамеечке. Она безуспешно пыталась расстегнуть корсет.

— Я никогда ничем не болела... Никогда... Это пройдет...— шептала она.

Врач попытался сделать ей кровопускание, но черная, густая кровь сразу сворачивалась и не желала вытекать.

— Матушка Леже, я никогда не скрываю правды. Если хотите сделать какие-нибудь распоряжения, то не теряйте времени.

Поскольку она не понимала, а ему не хотелось объяснять, что, мол, в таких случаях не врача зовут, а нотариуса и кюре, он мягко сказал:

— Моя дорогая, бедная матушка Леже, вы умираете.

Как только эти слова услышал папаша Леже, у него затряслись руки, а мысли о бритье сразу вылетели из головы.

Он женился на красавице Мари, когда был еще старшим работником. Об их свадьбе много судачили, потому что Мари была моложе его на шестнадцать лет.

День за днем он наблюдал, как Мари старится рядом с ним, но всегда ее опережал. И к тому времени, как лицо Мари покрылось красноватыми пятнами, сквозь редеющие волосы на голове стала

просвечивать кожа, а в животе, как она сама говорила, «завелась водянка», Анатолий Леже уже давно был слеп.

Далекие воспоминания были более яркими, и образ стареющей Мари стерся из памяти. Когда папаша Леже думал о ней, то видел ее двадцатилетней. И никак не мог понять, почему всемилостивый Господь поразил такую красивую девушку. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы сообразить, что ей сейчас... девяносто три минус шестнадцать... До результата расчетов он не добрался, но руки перестали трястись, и он впал в дрему, позабыв, что его прекрасная Мари умирает.

Старую Мари уложили в постель. Губы у нее посинели, огромный живот вздымал перину. Сквозь зернистый черный туман она видела, как подошел кюре, а с ним мальчик из хора с колокольчиком в руке. Как врачу не удалось пустить ей кровь, так и кюре не удалось вытянуть из нее ни слова. На все вопросы кюре она только хрипела с полукрытым ртом. Его слова долетали до нее, как какое-то смутное шипение. На лицо священника и стихарь мальчика падал черный дождь.

К вечеру хрип прекратился. Мари Леже показалось, что силы возвращаются к ней, и она услышала низкий голос, который говорил:

— Мамаша Леже, вы умираете...

Она не знала, чей это голос и где она его уже слышала. Но сердце ее забило в тревоге, и черные хлопья снова закружились в глазах. Она позвала:

— Папаша Леже!.. Папаша Леже!

Папаша Леже удивлялся, почему Мари так долго не приходит, чтобы его раздеть, а потом заснул, как был, с трубкой в руке.

Крик жены его разбудил, но не до конца.

Мари Леже бредила. Она поднималась на косогор, лежа в постели, но все-таки как бы шла. Большая черная птица долбила ей грудь, у птицы было страшное дьявольское лицо и клюв как у попугая, и клюв этот смеялся. Мамаша Леже чувствовала себя очень большой, просто огромной... И все время шел дождь...

Она остановилась у кизилового дерева над крестом у Четырех Прудов, откуда начинался поворот на кладбище. Там черная птица ослабила удары, а ноги мамаша Леже стали маленькими-маленькими и отдалились от нее.

— Гроза отломала от кизила ветку,— сказала она.

— Он, как мы с тобой, женушка, тоже стареет, но держится молодцом.

Голос мужа вернул мамашу Леже с косогора обратно в постель. В открытое окно глядела июльская ночь. Луна освещала в углу у камина сидящего на соломенном стуле папашу Леже с торчащими белыми усами.

Черная птица снова начала долбить в грудь. На этот раз у нее было злобное лицо пастуха Фердинанда. Вот почему Мари было так больно! Пастух Фердинанд повсюду преследовал ее и как-то раз увязался за ней даже в прачечную. У него был остановившийся взгляд и сатанинский смех. Однажды,

после того как он попытался повалить ее в овраге, она пожаловалась Анатолю. Пастух Фердинанд был высокий и сильный, но Анатоль — еще выше и сильнее, да к тому же красивее. Она его никогда не обманывала. И Анатоль во дворе фермы отхлестал наглеца кнутом. Потом пастух Фердинанд состарился, и однажды в деревне зазвонил колокол. «По ком это звонит колокол?» — спросил папаша Леже. «По пастуху Фердинанду...»

Папаша Леже имел зуб на пастуха Фердинанда, но Мари взяла его за руку и повела в церковь на погребение.

— Мой дорогой, теперь ты самый старый в деревне, придет и твой черед умирать.

Становилось свежо. Папаша Леже решил, что уже утро, и не понимал, как это ему удалось одеться. И, как делал это каждое утро, вытащил из кармана брюк кисет из свиного пузыря и стал медленно набивать трубку. А потом в очередной раз ответил:

— И это будет справедливо, я зажился. Буду ждать тебя на косогоре.

Пробили часы на церкви. Мамаша Леже их не слышала, у нее и так в ушах звонили колокола. Но папаша Леже по привычке тихонько считал удары. Три... четыре... Он остановился на семи, а часы проббили одиннадцать. Тогда папаша Леже встревожился. Не может в одиннадцать часов утра быть так свежо. Неужели он проснулся среди ночи?

И тут он услышал:

— Анатоль, Анатоль!

Так жена называла его в первые годы после свадьбы. И он вдруг понял, что жизнь прошла. Печаль охватила его, и руки так задрожали, что он едва не выронил трубку.

А Мари в это время поднималась на косогор, чтобы лечь возле своего папаша Леже: ведь он сказал, что будет ее там ждать. Но у решетки ее ждал не он, а пастух Фердинанд.

— Анатоль!

Бежать не получалось: ноги стали вдруг тяжелыми-тяжелыми. Она рванулась всем телом, но что-то крепко держало ее за ноги, как дрозда в силке. Фердинанд приближался. На лице играла злобная усмешка, и снизу ей были видны волосы у него в ноздрях. Рука Фердинанда росла, становясь чудовищно огромной, и давила на грудь мамаша Леже... Вдруг ноги ее снова стали легкими, и она побежала, но от этого невыносимо больно забилося сердце. За спиной раздавался стук сабо. Обернувшись, она увидела, как в свете луны пастух мчится к дому.

— Анатоль, закрой окно! — крикнула она.

— Тебе холодно, женушка? — отозвался папаша Леже. — Ты же знаешь, что я ничего не вижу. Мне нужен поводырь.

Тревога его все росла. Неужели Мари в самом деле умирает и не помнит, что он слепой?

Надо что-нибудь для нее сделать. Он вытряхнул трубку, сунул ее в карман и встал со стула, да так и застыл, не решаясь шагнуть вперед.

Когда мамаша Леже увидела, что муж стоит рядом со стулом, бред ее вспыхнул гневом. Леже ей соврал: он и не думал поджидать ее на косогоре.

«Матушка Леже, вы умираете...» Она умирает, а он тут расселся! Если бы он отправился вслед за другими стариками их деревни, она была бы горда и счастлива. Но он на косогор не собирался. А еще говорил, что никогда ее не покинет!

Ей хотелось, чтобы Анатолий ушел первым. Иначе черная птица и Фердинанд никогда не оставят ее в покое. Если бы только она могла подтолкнуть его за плечи...

— Иди,— сказала она.— Я буду говорить куда.

Папаша Леже послушался. Он наклонил вперед свое длинное тело и, вытянув руки и шаркая ногами, понес в лунном свете на другой конец комнаты собственную ночь.

— Впереди что-нибудь есть? — спрашивал он.

— Иди прямо.

Руки папаша Леже во что-то уперлись.

— Женушка, я, кажется, возле стола.

— Иди влево... так... дальше... мой дорогой.

Умиравшая следила за каждым движением старика. Она теряла последние силы. А черная птица долбила и долбила...

Папаша Леже остановился, шаря перед собой руками:

— Еще далеко?

Совсем рядом, в шаге от него, звякнуло оконное стекло.

— Иди, не бойся!

Слепой ощупал стекло в обеих рамах и тут же сильно ударился лбом о раму окна. На секунду он застыл, оглушенный, не помня, как здесь очутился.

— А теперь куда идти? — спросил он.

— На косогор, — ответила мамаша Леже.

Тогда папаша Леже заметался: хотел вернуться обратно на место и ушиб ногу об угол стола, отпрянул, долго блуждал, ощупывая руками стены и мебель. В конце концов нашел камин, потом свой стул и уселся, совершенно измученный.

В тишине было слышно только, как раскачивается маятник напольных часов. Теперь папаша Леже знал, что его женушка больше никогда не поведет его за руку. И знал, что самые прекрасные образы Мари, которые сохранились в его памяти — Мари на дороге в тот осенний вечер, когда они бежали наперегонки и он ее впервые поцеловал, Мари в свадебной фате, Мари у копны сена в первые месяцы беременности, когда еще ничего не было заметно, — недолго будут с ним оставаться и тоже уйдут в вечный сон.

«Матушка Леже...» Она заснула или потеряла сознание?.. У нее было такое чувство, что она всплывает со дна озера. «Да доктор, я умираю. А кто теперь будет брить моего Леже? Чужую руку он не вынесет. А кто приготовит ему рагу?»

Толстая перина, обшитая красным кумачом, поблескивала в лунном свете и топорщилась над ее животом, как во время беременности.

— Анатоль, дай мне шитье, — попросила она.

Анатоль не ответил. Он заснул, привалившись к окну. В его возрасте трудно держаться...

Да нет, вот он здесь, стоит рядом и говорит:

— А где твое шитье? Веди меня, ты же знаешь...

— А косогор? Он что, забыл? За столом ему всегда подавали первому. В церковь он входил первым. Всегда и везде она следовала за ним и тем была счастлива. Она заставит его и умереть тоже первым.

— Иди, впереди ничего нет.

Папаша Леже снова сильно ударился ногой и перевернул скамейку.

Церковные часы пробили полночь. Папаша Леже остановился, чтобы сосчитать.

— Но ты же не можешь ничего видеть, уже глубокая ночь. И как ты будешь командовать?

— Я все вижу, луна ярко светит... Все, ты пришел... слышишь? Перед тобой буфет, открой его. Там, внизу, слева...

Старик наклонялся медленно, рывками.

«И правда видит», — подумал он, нащупав пальцами корзину для шитья. Поднялся он с еще большим трудом.

— Держись стены... Иди, иди, не бойся.

Папаша Леже думал, что постель совсем в другом направлении, но он все-таки пошел. Руки у него были заняты корзинкой. Совсем близко он услышал тиканье часов и решил их обойти, а вместо этого налетел на них со всего размаху.

Старые часы с высоким и тонким корпусом закачались на неверных ножках. Одна из них, источенная жучком, видимо, обломилась, потому что папаша Леже почувствовал, как часы наклонились и прижались к его плечу. Тогда он бросил корзинку и стал воевать с часами. И тут звон, который не работал уже много лет, вдруг проснулся. Гиря бы-

стро заскользила вниз, застучали обезумевшие шестеренки, а колокольчик начал вызванивать все часы подряд.

Папаша Леже пригнулся, сраженный не столько усталостью, сколько всем этим шумом. У него разболелась голова, лоб горел. В конце концов, разбились, так разбились, и пусть падают, куда хотят. Им тоже уже пришло время.

Часы остались стоять, как были, скривившись в сторону источенной червем ножки, но не так сильно, как казалось слепому. Он уже и сам с трудом держался на ногах. Штукатурка отшелушивалась от стены под его руками, потом он понял, что материал сменился, и узнал деревянную дверь. Значит, он обошел комнату кругом и вернулся к камину.

А матушке Леже казалось, что кровать ходит под ней ходуном, а то и вовсе переворачивается. Оказавшись внизу, она начала задыхаться. Потом кровать вернулась в прежнее положение, дав матушке Леже короткую передышку. Ее хватило, чтобы разглядеть на стене цветной картон календаря, висевший на одном гвозде с веткой самшита.

— А знаешь, папочка Леже, вчера была наша золотая свадьба!

Да нет, это было не вчера, а восемь лет назад. Но память папаши Леже настолько окаменела, застряв в прошлом, что он ответил, как и восемь лет назад:

— Пусть уж лучше никто об этом не узнает, жenuшка. Теперь, когда умер наш сорванец, нам нечего больше друг другу пожелать.

Сорванец... Сын... Мамаша Леже как раз купила у лавочника две копченые селедки, когда почтальонша принесла телеграмму... Как подумаешь, что мальчик прошел всю войну и за всю войну заболел только раз, воспалением легких... Он погиб в сорок девять лет, далеко от дома: на него обрушились плотницкие леса.

Матушка Леже застонала под тяжестью всех этих балок, что давили на грудь. Вот уж точно, нет справедливости на земле и нет жалости у Бога. А цена, которую они запросили за plombированный вагон! Мальчик был здоров, зачем plombированный вагон? Бедные не могут заплатить за такое. И вот его нет на косогоре, и с этим приходится мириться.

— Папочка Леже, дай мне аттестат мальчика.

Свою траурную вуаль из черного крепа она держала в шкафу: понадобится, чтобы проводить папашу Леже, когда наверх его понесут на руках шестеро милосердных братьев, одетых как архидиаконы.

— Что ты хочешь: вуаль или аттестат?

— Аттестат. Он лежит на каминной полке, как раз у тебя над головой. Не бойся, подними голову.

Ух ты! Ну нет, папаша Леже ни за что вот так не встанет. Уж угол у камина он знает как свои пять пальцев. Это его территория. Здесь ему знакомы все размеры, все выступы. А выступ каминной полки находится как раз над его головой.

Почему женушка хочет, чтобы он резко поднялся?

«Все это неправильно». Была уже рама окна, была скамейка, были часы...

«Она что, действительно не видела или посылала его нарочно?» — спросил он себя, осторожно вставая на ноги.

Пальцы нашарили на каминной полке небольшую тонкую рамку, в которую был вставлен аттестат сына. Он вспомнил, что рамку мальчик сделал сам. А потом Мари приклеила в уголке фотографию brave пехотинца со светлыми усами.

Старик Леже на ощупь добрался до кровати.

— Держи, Мари, — сказал он. — Вот наш сорванец.

Он думал, что она взяла фото, но услышал, как разбилось стекло упавшей на пол рамки.

«Наверное, хотела, чтобы я принес вуаль», — подумал он.

Шкаф стоял рядом с кроватью. Папаша Леже быстро его отыскал, вспомнив, как шел только что. Он помнил, что дверца легко срывалась с петель, и не стал открывать ее полностью. Руки искали по полкам и нашарили стопку простыней, а дальше, ближе к стене, — детский чепчик и передничек.

Он продолжил поиски и нащупал какую-то аккуратно сложенную легкую ткань. Мамаша Леже без умолку говорила, и в бессвязном потоке слов он различил:

— Косогор... Пора туда отправляться, папочка... Почему ты не хочешь меня там ждать...

Потом пошли какие-то неразличимые, булькающие звуки.

«Мари Муше», — сказал он себе и понял, что вдруг вспомнил прежнюю фамилию своей женош-

ки. Он стоял возле кровати, упершись коленями в ее бортик.

Руки сами вспомнили былую ласку, и он хотел погладить лоб Мари, но наткнулся пальцами на рот, из которого вытекало что-то горячее и липкое. Он машинально вытер пальцы о вуаль, которую считал черной. Потом вернулся на свой стул возле камина, выронив по дороге вуаль.

«На косогор... На косогор...» Он и правда всегда обещал ждать ее там! Может, и часы, и окно, и скамейка должны были ему об этом напомнить. Если уж Мари что взбредет в голову... Бедная Мари, такая красивая! Что он будет делать без нее? Наверное, его отправят в окружную богадельню и похоронят потом на чужом кладбище, как похоронили сорванца.

— Мари, ты мой единственный свет,— прошептал он.

Больше он ни о чем не думал. У него разболелась голова, и надо было поспать. Он слушал, как дышит Мари. В этом слабом свидетельстве того, что они еще вместе, сосредоточились для него последние крупницы сознания.

Мари резко, со свистом вздохнула и замолкла. Старый Анатоль дышал вместе с ней, его грудь поднималась в том же лихорадочном ритме. Свист на миг прервался, потом коротко повторился, и дыхание стало еле слышным.

А потом наступила тишина, и он понял, что его Мари умерла... Он снова увидел ту осеннюю доро-

гу, на которой они дурачились, споря, кто кого перегонит.

— Я иду быстрее вас, Мари! Я приду раньше...

Тогда он поцеловал ее. А может, это было по дороге на косогор...

Ему показалось, что он встал, но на самом деле он не двинулся с места.

Наутро соседи в открытое окно увидели на кровати мамашу Леже с закатившимися глазами.

Напольные часы остановились ровно в полночь и совсем покосились. В комнате царил страшный беспорядок. Можно было подумать, что тут шел бой. Повсюду были разбросаны катушки с нитками, а на полу валялась свадебная фата.

Возле камина, опустив голову и положив руки на колени, неподвижно сидел на своем стуле папаша Леже. Когда его тронули за плечо, тело его рухнуло на пол. Он уже остыл. На лбу у него виднелась маленькая ранка, а небритая борода продолжала расти...

На другой день их несли на кладбище. Мужа, как и положено, несли первым.

1941

Госпожа майор

Мишелю Друату

На дорожке бульвара неподвижно стояла дама. Седые волосы с голубоватым отливом, норковое манто, желтые уличные туфли из плотной, но тонкой кожи — все в ней дышало нездешней элегантностью.

А за ее спиной, в витрине большого магазина, ныряли в заросшие травой туннели электрические поезда, верблюды волхвов презрительно поднимали и опускали длинные ресницы, пожарный, почти не касаясь ступенек, взлетал вверх по пожарной лестнице.

Но даму с красивым и решительным лицом витрина не интересовала. Ее вниманием завладел уличный торговец, который, поставив прямо на землю потертый чемодан, продавал детские «пузырялки».

— Игрушка для маленьких и больших, развлечение круглый год! Игрушка артистическая, не шумная, не грязная... и недорогая...

Серый тротуар, серое небо; зимний день шел на убыль, но уличные фонари и витрины еще не за-

сияли в полную силу. Даже мыльные пузыри, которые в качестве демонстрации через соломинку выдувал торговец, получались серыми.

— Первому покупателю — карманная расческа в подарок!

Продавец, худой, неопределенного возраста человек, был без пальто. Вместо пальто на нем красовалась старая, тесная в груди коричневая куртка с мятыми отворотами и продольными складками. Непонятно, откуда брался в такой тесной одежде весь тот воздух, что выдувал торговец через соломинку, производя на свет радужные пузыри всех размеров. Они летели и гроздьями, похожими на куриные яичники, и цепочками, напоминавшими бусы из искусственного жемчуга. А некоторые получались такими большими, что в них целиком отражались и волхвы, и пожарная лестница, и снующие из туннеля в туннель поезда. Они лопались, так и не успев превратиться в настоящие воздушные шары.

— Артистическая игрушка... Поторопимся, поторопимся, на всех не хватит...

«Пузырялок» оставалось еще много: штопанный веревочками чемодан был заполнен примерно на две трети.

Некоторые прохожие замедляли шаг, провожая глазами улетающую перламутровую цепочку, и шли дальше. И только дама в норковом манто застыла на месте, пристально глядя на продавца, но не выражая желания купить игрушку. В конце концов

торговец так смутился, что дунул неправильно, и не успевшая стать гроздью пузырей пена повисла под козырьком его каскетки.

Страхнув пену с бровей, слишком густых и темных на таком худом лице, он принялся протирать глаза грязным носовым платком, ворча:

— Вот черт, что за паскудство!

Потом торговец снова взглянул на неподвижно стоящую даму в красивой шубе и вдруг вскрикнул:

— Госпожа майор! Нет! Это вы, госпожа майор? Не может быть! Быть того не может!

Дама улыбнулась под вуалеткой. Улыбка вышла слишком белозубой, заокеанской, как и акцент, с которым ее излишне громкий для такой встречи голос богатой женщины произнес:

— А я тоже стою и говорю себе: «Да ведь это Марсо!»

— Да, госпожа майор, он самый. Вот уж, правда, никак не ожидал! Не может быть!

— Так вот кем вы стали, Марсо!

— Как видите, госпожа майор... Не больно блестяще... Не больно много чести... Но... Ох! Если бы мне кто сказал... Сколько же лет прошло? Да лет двадцать... Ой, что я говорю! Больше! Двадцать три года! Как сейчас вижу...

И оба они увидели один и тот же пейзаж, в одно и то же время, и пережили заново один и тот же страх, только по-разному. Оба увидели Нормандию, только он — с самой земли, лежа среди остальных бойцов и глядя в облака, она же — спускаясь но-

чью на парашюте, а потом — стараясь как можно быстрее добраться до леса, до «зеленки», где сигнализировали ветрозащитные лампы.

Именно так «госпожа майор», хорошо знающая свое дело красивая и сильная молодая женщина, десантировалась во Францию, чтобы организовать подпольный госпиталь для сбитых американских летчиков. А Марсо принимал этот десант. Он не отличался ни статью, ни высоким ростом, зато обладал решительным характером, и у него под началом была территория от Конша до Бомон-де-Роже и дальше до Эврё и Бернея. Все называли его «командир», а выведенных из строя неприятельских экипажей у него насчитывалось больше, чем пальцев на обеих руках...

На витрине пожарный в тысячный раз забирался на лестницу под презрительным верблюдьим взглядом.

— А знаете, Марсо, пойдемте-ка пропустим по стаканчику.

— О нет, госпожа майор! Мне нельзя в таком виде, с такой женщиной, как вы!

— Какое это имеет значение? Пойдемте. Вы мне все расскажете.

Чемоданчик закрыт и затянут веревкой. Марсо и «госпожа майор» вошли в бистро на углу соседней улицы.

— Стаканчик белого, как тогда? — сказала «госпожа майор» со своим мягким американским акцентом.

— С удовольствием, стаканчик белого... О-ля-ля! Если бы мне кто сказал...

Стаканчик, два стаканчика, три стаканчика... Мюскаде оказался, пожалуй, крепковат, но у «госпожи майора» желудок был здоровый и гораздо более сытый, чем желудок Марсо.

Его впалые щеки залились непривычным румянцем, кончики пальцев с грязными ногтями стало покалывать. И он заговорил. Заговорил о военных временах, о годах страха, бед и притеснений. Но иногда его одолевал смех.

— А помните, госпожа майор, как толстяк Лубер прилетел с окороком и тремя пол-литрами, и сбросил все это на край лужи? Не в упрек вам будь сказано, госпожа майор, но аппетит у вас был дай боже! У нас говорили: «И на что нам сдалась эта америкоска... Вот уж точно! Пилотам будет чем заняться. И потом, баба... — прошу прощения, госпожа майор, — баба всегда шороха наведет». Долго ждать не пришлось. И восьмью дней не прошло, как вы всех прибрали к рукам!

А этот-то, этот, помните? А в то утро... А та знаменитая ночь... А как позвонили в фельджандармерию, а сами пока у этих мерзавцев сперли велосипеды... А как поставили поперек путей грузовую платформу и подперли ее сваленными деревьями... Там еще шел состав с боеприпасами. Вот это был салют! А в день освобождения Бомона...

— Ну и надрались мы тогда, госпожа майор! Вот был выпивон!

— А как ваша жена?

Щеки Марсо вдруг вспыхнули еще ярче.

— А это, госпожа майор, совсем другая история. Я бы не хотел ее касаться.

«Ну да, просто что-нибудь надо было сказать на эту тему... А ваша семейная ферма? Ведь Марсо был из богатой семьи, по крайней мере зажиточной. Пока не пришли немцы и все не захватили, семья возила на рынок и яйца, и птицу, и бруски масла в двуколках с круглым поднимающимся верхом. Как же получилось, что ему приходится торговать в Париже игрушками?»

— Такова жизнь, госпожа майор. Такова неустрашенная жизнь.

— А я-то думала, вы станете мэром, депутатом...

— Ага, как же! Знали бы вы, каково это — стать мэром!..

— Но ведь, в конце концов, вам должны были дать пенсию, медали...

— Ничего, госпожа майор, ничего мне не дали...

Поскольку «госпожа майор» обладала добрым сердцем и хранила верность воспоминаниям, чему немало способствовал пятый стаканчик, она возмущенно воскликнула:

— Как, ни креста, ни медали? Ладно. Я добьюсь, чтобы вам дали американские награды. У нас полно моих соотечественников, которым вы помогли выжить. Я напишу в Вашингтон...

По тону, которым она это произнесла, сбросив с плеч норковое манто, можно было подумать, что она собирается обратиться прямо к президенту.

— Мое правительство наградит вас орденами, и тогда ваше просто обязано будет о вас подумать.

— Никто никому ничем не обязан, госпожа майор, слишком поздно. Да и кому это нужно? Как подумаю о том, что с тех пор прошло больше лет, чем мне было тогда... Просто не верится. Да, наверное, я заслужил медаль, и хорошо было бы ее получить. Знаете, все это из-за жены... и из-за того, кто занял мое место. Был один парень, по-моему, вы его не знали. Вот он медали получил... Не будем говорить о том, что случилось потом. Когда переживешь все, что довелось пережить, и к тому же поработаешь рядом с вами...

В глазах, в голосе и в сердце Марсо засияло счастье, настоящее на риске, тревогах и боевой дружбе. Он снова обрел жизнь и молодость и получил сказочную награду, узнав, что эта женщина, несмотря ни на что, уцелела. Была в его жизни любовь, в которой он никогда бы не признался: любовь к женщине с каштановыми волосами и широкой улыбкой, с властным голосом и такими нежными руками, когда она ухаживала за ранеными.

— Я никогда не решался у вас спросить, госпожа майор... Сколько вам тогда было лет?

— Тридцать девять.

— Правда? Никогда бы не дал. Да и теперь никогда бы не дал ваших лет...

— Вы галантны, Марсо.

За этими словами последовал легкий вздох. «Госпожа майор» и сама знала, что, даже сняв лифчик,

не выглядит на свои шестьдесят два: из-под седых, с голубоватым отливом волос смотрит по-прежнему свежее лицо, руки все так же проворны, а ноги стройны. И это навело ее на мысль, что надо бы переодеться перед встречей с друзьями, которая у нее назначена на сегодня. Она взглянула на часы.

— Боже мой! Уже восемь часов? Марсо, оставьте мне ваш адрес. Я к вам наведаюсь.

— О, госпожа майор, это невозможно.

— Почему?

— Я живу в настоящей халупе. Не годится, чтобы такая женщина, как вы... Мне будет очень стыдно.

— Да ну вас, Марсо, не будьте свиньей. Ведь мы боевые товарищи!

Боевые товарищи! В этой фразе для Марсо прозвучали два самых прекрасных на свете слова: «товарищ» и «бой».

«Госпожа майор» ждала, открыв записную книжку, с золоченым карандашиком в руке. И уличный торговец решился:

— Ладно: Десфурно Этьен... Вы ведь помните, Марсо — это было военное имя. Тупик Трюшо, пять. Он начинается с улицы Муфтар. Но, видите ли, я прихожу туда только ночевать. Это даже не комната, а угол в гараже...

Марсо запнулся, потому что «госпожа майор» протянула ему свой адрес, напечатанный на первой строке визитной карточки: авеню Фош, семь-бис. Он вежливо и почтительно улыбнулся и взял ви-

зитку не как источник полезной информации, а как священную реликвию.

«Госпожа майор» открыла сумочку крокодиловой кожи и достала оттуда ассигнацию, которая вызвала замешательство у обоих. Но в следующую секунду, когда глаза их встретились, замешательство исчезло. Марсо подумал... и «госпожа майор» поняла, что именно он подумал... Нет, не сейчас, не здесь и не в такой момент, когда у Марсо осталась только одна непреложная ценность: его честь. «Госпожа майор» постучала длинными ногтями по столу: «Мадемуазель!»

— Не надо, госпожа майор... — сказал Марсо, запустив руку в карман.

— Нет уж, Марсо, сейчас моя очередь. И потом, вы должны подчиняться своему командиру.

— Ну, если это приказ...

Официантка принесла сдачу, замок на сумочке щелкнул, норковое манто вернулось на место, и «госпожа майор» встала. Своими прекрасными руками, которые так заботливо ухаживали за ранеными, она притянула Марсо за плечи и поцеловала в обе щеки. А он бестолково пытался стащить с себя каскетку, которую забыл снять.

— До свидания, Марсо.

— До свидания, госпожа майор. Я был... Мне было...

Он так и не смог ничего сказать. Для него это стало больше, чем счастье. Да и можно ли назвать счастьем тот миг, когда вновь обретаешь смысл жизни?

Дама в норковой шубке вышла из кафе, а Десфурно Этьен так и остался стоять перед недопитым стаканчиком белого. Перед его глазами радужными мыльными пузырями вспыхивало прошлое, радость и надежда, мужество и предательство, дружба и разочарование.

— Такие моменты достаются не всем, — прошептал он, пока официантка вытирала столик, больше для порядка, чем по необходимости.

Волосы с голубым отливом, рыжее норковое манто, начищенные туфли, миссис Хорнби, почетный майор американских спецслужб, выбравшая для жительства Париж, как самый любимый в мире город, решительно постучала в запотевшее окно. Марсо не соврал: этот район действительно поражал унынием, грязью и ужасающими запахами. Но миссис Хорнби была довольна. Да и прогулка по окраине по первому январскому холодку так бодрит. К тому же у миссис Хорнби в сумочке лежала телеграмма из Вашингтона, гласившая, что Десфурно Этьену, по прозвищу Марсо, присвоены награды, согласно сделанному ей представлению. Дело сделано... и ради этого стоило пройти с осклизлыми стенами, натыкаясь на тележки старьевщиков. Наверное, именно такие тележки разносили кучу разных инфекций, и дети из хороших семей, разъезжая в прежние времена в открытых ландо по Елисейским Полям или по Люксембургскому саду, имели возможность вдоволь наддышаться этой заразой.

Наконец из-за двери появилась привратница, а может, консьержка или хозяйка меблированных комнат. Она покачивалась на огромных ногах, и из домашних туфель выпирали жирные щиколотки.

— Десфурно? Да, он здесь жил, но теперь уже нет.

— А вы не знаете, куда он переехал? Он не оставил нового адреса?

Хозяйка взглянула удивленно и неприязненно:

— Но... мадам... он умер.

— Что вы такое говорите! — воскликнула «госпожа майор». — Этьен Десфурно, его еще во время войны звали Марсо?

— Я не знаю, как его там где-то звали, но другого Десфурно здесь не было.

— Но не прошло и трех недель, как мы с ним делись. Как раз перед праздниками...

— Что поделаешь, мадам. Точно, перед праздниками. И как раз прошло три недели. Он вернулся однажды вечером и даже не поздоровался. Сразу закрылся в своем гараже и в ту же ночь повесился. Никто не знает почему.

1966

Содержание

Повелители просторов (<i>Перевод О. Егоровой</i>)	5
Сигнал «Гончие, вперед!»	7
Дом с привидениями	44
Мурто	58
Ночной патруль	67
Всадник	74
Белокурая девушка	85
Апоплексический удар	95
Поезд 12 ноября, или Ночной обзор (<i>Перевод Л. Ефимова</i>)	107
Особняк Мондесов (<i>Перевод Л. Ефимова</i>)	147
Счастье одних (<i>Перевод С. Васильевой</i>)	223
Каникулы господина Залкина	225
Стеклянный гроб	249
Ваша однодневная супруга	267
Торговец чудесами	289
Черный принц	310
Несчастье других (<i>Перевод О. Егоровой</i>)	325
Невезение	327
Такая большая любовь	345
Огненное облако	357
Гусар из Восточного экспресса	363
Прежняя любовь	373
Госпожа майор	388

Литературно-художественное издание

Морис Дрюон

ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Ответственный редактор *О. Рейнгверц*
Редактор *О. Александрова*
Художественный редактор *С. Лях*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *И. Варламова*
Корректоры *М. Ахметова, В. Дроздова*

ООО «Издательский дом «Домино».
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60.
Тел./факс: (812) 272-99-39. E-mail: dominospb@hotmail.ru

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

*По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

*По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.*
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

Подписано в печать 29.07.2010.
Формат 84x108¹/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0.
Тираж 10800 экз. Заказ № 6125

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-45000-8



9 785699 450008 >